ISSN 0130-6405

91 5 ИСКУССТВО КИНО

ИСКУССТВО КИНО 5

Режиссер и оператор Андрис Слапиньш.
Убит (1949—1991)

Андрис. Снимай меня.
Голос. Сволочи! В него попали.
Андрис. Прямо в сердце. Жаль... Жаль...
Из фонограммы документального фильма «Крестный путь. Послесловие»

Оператор Гвидо Звайгзне.
Умер от ран (1958—1991)

Голос. Помогите, Гвидо ранен.
Гвидо. Не оставляйте меня тут. Мне нужно выбраться отсюда. Кажется, не так страшно. Пуля прошла насквозь или...
Из фонограммы документального фильма «Крестный путь. Послесловие»

Из последних фоторабот А. Слапиньша. Рига. Январь 91-го

В январе 1991 года в Прибалтике трагически закончилась «перестройка» — последний этап беспримерной социальной утопии, последняя вспышка исторического мышления, устремленного в будущее наперекор, во зло материи настоящего и ее императивам. Люди в форме, стрелявшие от имени народной власти в безоружный народ, уничтожили последние иллюзии. Перестал существовать

политический Центр во главе с Президентом — несбыточная надежда на новый большой скачок через настоящее: из тоталитарного прошлого в демократическое будущее. А то, что уклончиво именовалось национальными амбициями, оказалось единственной реальной альтернативой фантомной власти «нашего исторического выбора».

Рига. Январь 91-го

«Зима тревоги нашей» вернула нас в настоящее, которое оказалось слишком суровым и драматичным. Но такова реальность. Вот только как жить в этой реальности по законам жизни, а не смерти, согласованных действий, а не гражданской войны — чтобы к жертвам перестройки, последним жертвам гранитных истуканов не прибавились новые имена — жертвы нашего совпадения со временем, возвращения в него!

Ежемесячный журнал
Союза
кинематографистов СССР
Учредитель: СК СССР и
трудовой коллектив
журнала «Искусство кино»
Выходит с января
1931 года

Главный редактор
Щербаков К. А.

Редколлегия
Абдрашитов В. Ю.
Бланк Б. Л.
Вайсфельд И. В.
Гелейн И. И.
Гельман А. И.
Герасимов А. Н.
Герман А. Ю.
Голдовская М. Е.
Гребнев А. Б.
Григорьев Е. А.
Гукасян Ф. Г.
Гульченко В. В.
(первый зам.
главного редактора)
Гурченко Л. М.
Дмитриев В. Ю.
Донец Л. С.
Ибрагимбеков Р. И.
Игнатьева Н. А.
(зам. главного
редактора)
Караганов А. В.
Карахан Л. М.
Левин Е. С.
Мащенко Н. П.
Медведев А. Н.
Мурса Л. Г.
Норштейн Ю. Б.
Рубанова И. И.
Савицкий Н. В.
Саканян Е. С.
Синельников В. Л.
Стишова Е. М.
Сулькин М. С.
(ответственный
секретарь)
Толстых В. И.
Уралов О. В.
Фомин В. И.
Франк Г. В.
Шенгелая Э. Н.
Шепотинник П. Г.
Шинарбаев Е. Б.

ИСКУССТВО КИНО

5 91

Содержание

Вопросы и мысли

3 **Александр Гельман.** Дожить бы до смерти

Мир души

5 **И. Покровский.** Перуново заклятье

Свободная тема

11 **Игорь Виноградов.** Лик, лицо и личина народа

Сюжеты и факты

23 Имперский сценарий — действие первое

Интервью „ИК“

31 **Мераб Мамардашвили.** Жизнь шпиона

Кинематограф 90-х.

Необязательные заметки

40 **Рахман Бадалов.** Время в форме факта
45 **Елена Стишова.** Мы как оккупанты

Разборы и размышления

Начать сначала:
49 **Сергей Тримбач.** В тени саркофагов
51 **Владимир Войтенко.** Хата
54 **Роман Корогодский.** Сны и явь переходной эпохи
57 **Николай Слободян.** Женщины Мурата
59 **Зинаида Фурманова.** Так и живем? Живем! Живем...

Повторный киносеанс

62 **Александр Шпагин.** Из плена

Сюжеты и факты

64 **С. П. Мельгунов.** Золотой немецкий ключ большевиков

Необязательные заметки

73 **Г. Померанц.** Один шаг

„ИК". Избранная проза

76 **Юз Алешковский.** Руру (Русская рулетка)
99 **Низаметдин Ахметов.** Камушки для кумалака бабушки Шамсии

Мемуары и публикации

119 **Григорий Рошаль.** Рассказы о годах
132 И. В. Сталин: краткий курс истории советского театра
141 **Анатолий Латышев.** И еще один тост «вождя народов»

За рубежом

На фестивальных орбитах

143 **Е. Левин.** Несентиментальное путешествие
147 **Наталья Сиривля.** От перемены участи к перемене сознания
151 **Виктор Гульченко.** Что тот народ, что этот...
156 **Константин Щербаков.** Неделя спокойного фильма

Необязательные заметки

159 **П. Шепотинник.** Картинки из жизни «Ударника»
160 **Анкета «ИК»**

Интервью «ИК»

163 **Йос Стеллинг:** «В Голландии любят странных людей»
167 **Досье «ИК»**
169 **Фильмография**

Диалог с читателем

175 «Можно ли вам верить?»

In this issue:

Optional notes by Alexander Gelman **(p. 3)**
I. Pokrovsky. "Perun's Oath" **(p. 5)**
Igor Vinogradov about cinema as the mirror of our social reality **(p. 11)**
History of arrest of members of "Carabakh" committee **(p. 23)**
Interview with Soviet philosopher Merab Mamardashvili **(p. 31)**
Rakhman Badalov about social and political situation in Azerbaijan **(p. 40)**
Yelena Stishova. We As Occupants **(p. 46)**
Ukranian documentary cinema today **(pp. 48, 49, 51, 54, 57, 59)**
Review of the film "The Feelings" **(p. 62)**
S. P. Melgunov. "The Golden Key of Bolsheviks" **(p. 64)**
Grigory Pomerants about reborn Germany **(p. 73)**
Yuz Aleshkovsky. Ru-Ru **(p. 76)**
New author — Nizametdin Akhmetov **(p. 99)**
Grigory Roshal. Autobiographical notes **(p. 119)**
Stalin and Art. New Facts **(pp. 132, 141)**
Gdansk-90 **(p. 143)**
Sofia-90 **(p. 147)**
San-Sebastian-90 **(p. 151)**
Soloturn-91 **(p. 156)**
Festival of European cinema unknown in the USSR **(p. 159)**
Interview with Dutch film director Jos Stelling **(p. 163)**
Filmography **(p. 169)**
Correspondence **(p. 175)**

© Журнал
«Искусство кино», 1991

Художественный редактор
Мишунина Л. В.
Корректор Элькина Г. Г.

Адрес редакции:
125319 Москва, А-319
ул. Усиевича, 9.
Телефон 151-02-72
Сдано в набор 28.02.91.
Подп. к печати 10.04.91.
Формат бумаги 70×100 1/16
Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Печ. л. 11,25,
усл. печ. л. 15,65, уч-изд. л. 17,6,
усл. кр.-отт. 17,91
Тираж 5ъ 000 экз. Заказ 371.
Цена 1 руб. 30 коп.
Ордена Трудового
Красного Знамени
Чеховский полиграфический
комбинат
Государственного комитета СССР
по печати
142300, г. Чехов Московской области

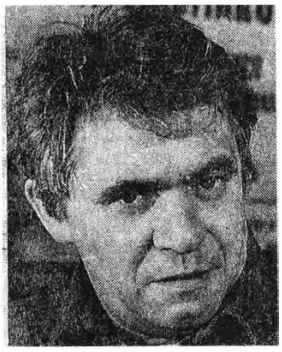
Издание Союза
кинематографистов СССР

Фото и адреса актеров
редакция не высылает

Редакция благодарит режиссера Юриса Подниекса и кинокритика Людмилу Нукневич за помощь в подготовке фоторазворотов.

Александр Гельман

Дожить бы до смерти



Готовы ли наши вожди, наши руководители к разрешению тех противоречий, которые выдвинула перед ними сегодня жизнь, история? Готовы ли они разрешить эти проблемы таким образом, чтобы это было на пользу живому человеку, главная задача которого — прожить до конца и как можно полноценнее отпущенные ему природой или богом недолгие годы?

Самые тяжкие конфликты, которые должны быть улажены,— это конфликты, связанные с дальнейшей судьбой Союза ССР. Имея в виду именно эти конфликты, я задаю свой вопрос. Я спрашиваю, способны ли наши власти, способны ли наши президенты и председатели, включая главного Президента, разрешить все это неисчислимое количество межнациональных, межгосударственных труднейших, запутаннейших вопросов? Я спрашиваю, наличествуют ли у наших руководителей те качества и мысли, которые в состоянии содействовать гуманному решению этой необычайно трудной задачи?

Я не могу взять на себя роль судьи последней инстанции. Я не могу с определенностью сказать, как будут действовать наши руководители завтра. Я могу только анализировать, как они действовали вчера, в течение последних лет. Я могу сказать со всей определенностью, что в нашей стране руководители всех уровней в те годы не в состоянии были надежно обеспечить достижение той цели, о которой я веду речь, а именно — не губить, не убивать людей в процессе проводимых перемен и преобразований.

Мы знаем, что после апреля 1985 года погибли сотни людей. Нас не покидает тревожное предощущение новых человеческих жертв.

Чего же не хватает нашим вождям и вожакам? Почему их управленческая деятельность приводит к таким тяжелым последствиям? Я думаю, что им недостает одного качества и одной идеи — они на деле, практически, то есть тогда, когда принимают те или иные решения, не ставят превыше всего жизнь живого человека. Они много говорят о важности человеческого фактора, о гуманизме, однако, судя по их действиям, существует ряд ценностей, которые им представляются более важными, более существенными, чем единственная коротенькая жизнь человека. Таких надчеловеческих ценностей набирается целый перечень. Одни полагают выше и важнее жизни человека судьбу социализма или даже судьбу марксизма. Другие ставят выше интересы целостности и мощи державы. Еще другие превыше всего полагают национальный суверенитет. Для многих нет ничего дороже победы своей партии или группы в политических битвах за власть. И так далее и тому подобное. И все эти приоритеты сводятся к тому, что человек со своей коротенькой жизнью отходит на второй, на третий план, а там, в тени более «высоких» целей, его уже не так и жалко. Тем более что когда он мертвый, его можно причислить к «подлым врагам» или «славным героям» Родины, то есть перевести в иной ряд понятий, где уже не люди главенствуют, а некие принципы и идеологии, во имя которых они якобы должны жить и умирать.

В этом вся беда — жизнь человека все еще не ставится нашими руководителями превыше всего.

Я не хочу сказать, что вопросы государственности, державности, партийности или

вопросы национального суверенитета лишены человеческого содержания и значения. Это не надуманные, не искусственные феномены и ценности. Речь идет о другом — об иерархии значимости, о том, что чему должно быть подчинено, что от чего должно зависеть. В политике, в управлении именно эти вопросы — что сначала, что потом, что первостепенно, что второстепенно — являются самыми важными, всеопределяющими. И именно в этом контексте философия управления в нашем обществе на деле почти не изменилась. По-прежнему человек рассматривается как средство достижения цели. Только если раньше, до начала перестройки, была на всех одна цель — обеспечить КПСС безоговорочную диктаторскую роль в обществе и на этой основе гарантировать нищенскую стабильность, то сегодня таких обесчеловечивающих целей стало больше. Однако это только видимость некоего выбора, свободы, ибо почти все эти новые политические, социальные, национальные цели подчиняют себе человека, ставят человека перед лицом смертельных опасностей. Мы видим, как вдохновители и старых, и новых целей одинаково считают себя в полном праве распоряжаться судьбами и жизнями людей.

Тут законно возникает вопрос — а возможны ли вообще такого рода коренные перемены, какие происходят сейчас в нашем обществе, без человеческих жертв? А если невозможны, то оправданно ли, справедливо ли предъявлять такого рода претензии руководителям, вожакам, которые добиваются общезначимых целей и встречают в этой борьбе сопротивление?

Это очень старые вопросы, на которые, думается, нельзя больше отвечать по-старому. Старый ответ гласит, что жертвы в борьбе за народное счастье неизбежны и оправданны, а посему, как ни прискорбно, как ни печально, мы должны с этим примириться. Это воззрение и является философским и психологическим оправданием использования людей в качестве средства достижения цели. Не вдаваясь сейчас в дискуссию о том, справедливо ли это правило для прошлого нашей истории, я не вижу никакой обязательности придерживаться этого жестокого закона достижения прогресса в сегодняшней нашей ситуации. Я глубоко убежден, что борьба, которая ведется в нашем обществе, на любом участке и в любом регионе, при всей ее остроте и значимости, может быть щадящей и бескровной. Но это при условии, что наши вожди и вожаки в центре и на местах как следует об этом позаботятся. При условии, что они будут исходить из гуманистической философии, считающей жизнь каждого человека подлинным и неповторимым чудом природы, обережение которой есть высшая цель любой власти, любого начальства.

Конфликты неизбежны, борьба неизбежна, но ожесточение и ненависть в борьбе не являются обязательными. Уровень человечности в ходе общественной борьбы зависит от уровня человечности тех, кто стоит во главе борющихся сторон. Это вполне реалистическое, объективно оправданное и подтверждаемое практикой положение, которое мы вправе принять не только к сведению, но и к руководству. Между тем люди гибнут, но никто за это не несет реальной ответственности. Так было после Тбилиси, после Баку, после Вильнюса, после Риги. Так было и есть во всех остальных инцидентах с человеческими потерями.

Это не только вина властей и вождей, это наша взаимная, даже можно сказать, согласованная вина. Если уж на то пошло, это наш совместный негласный зловещий сговор. А сговор возможен только тогда, когда существует объединяющее чувство. И оно сегодня существует — это чувство неизбежности жертв при глубоких общественных преобразованиях. Мы приучены к жертвенности, как к таблице умножения. Искусство требует жертв. Любовь требует жертв. Перестройка требует жертв. Все требует жертв. Если мы решительно не избавимся от этого навязанного нам чувства неизбежности жертв, то преобразование Союза ССР обойдется в тысячи и тысячи погубленных человеческих жизней. Это может быть и моя жизнь, и ваша, и жизнь ваших детей. Между тем никакой обреченности на такие жертвы, как платы за обновленное общество, не существует. Существует только наша привычка считать, что без жертв история не делается.

И. Покровский

Перуново заклятье

И. А. Покровский (1868—1920) — юрист, профессор римского и гражданского права, преподававший в Дерптском, Киевском, Петербургском и Московском университетах и на Высших женских курсах в Москве; автор книг «Право и факт в римском праве», «История римского права», «Основные проблемы гражданского права» и др.

Публикуемая ниже статья была помещена в сборнике «Из глубины», рядом со статьей А. С. Изгоева «Социализм, культура и большевизм» (см.: «Искусство кино», 1991, № 1) и материалами других авторов. Написанная в 1918 году, эта работа Покровского сегодня не утратила своего значения. С позиций нынешнего современного опыта «Перуново заклятье» получает дополнительное историческое послесловие.

I

Старинная новгородская легенда рассказывает. Когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: «Вот вам, новгородцы, от меня на память». С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на волховском мосту и начинают драться, как бешеные.

Ключевский вспоминает об этой легенде в связи с даваемой им характеристикой древнерусского веча, этого фундамента нашего старого народоправства. «На вече,— говорит он[1],— по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать, на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным образом, посредством драки: осилившая сторона и признавалась большинством... Иногда весь город «раздирался» между боровшимися партиями, и тогда собиралось одновременно два веча... Случалось не раз, раздор кончался тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на большом волховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников».

Так мстил низверженный Перун новгородцам: выходило так, что новгородцы, сбросив его, стали управляться в конечном счете палкой.

Но ограничилась ли месть Перуна одними только новгородцами? Увы, мы знаем теперь, что нет: злое заклятье легло на весь русский народ и на всю до сих пор его историю. Мы знаем, что палочное вечевое народоправство сменилось палочным самодержавием — жезлом Ивана Грозного, дубинкой Петра Великого, шпицрутенами Николая I. Наступившее недавно «освобождение» завершилось «диктатурой пролетариата», и снова повторяется, но уже в огромном всероссийском масштабе нарисованная выше картина старорусского «народоправства». Разве не так же отсутствует теперь правильное обсуждение вопросов и правильное голосование? Разве не так же принимаются решения «скорее по силе криков, чем по большинству голосов»? Разве не так же при разделении на партии «приговор вырабатывается насильственным образом, посредством драки»? Разница, конечно, в том, что вместо сравнительно скромных архаических палок теперь действуют орудия и пулеметы, да вместо маленького волховского моста у нас появилось множество больших внутренних фронтов...

Палка Перуна гуляет. Либо мы сами себя неистово колотим, либо нас неистово колотят, иного способа жить вместе, иного способа осуществлять свое национальное «самоопределение» мы как будто не знаем.

II

Переход от монархии к республике является вообще моментом критическим и опасным. Дело в том, что авторитет монархии и монарха покоится всегда на некотором *иррациональном* основании. Власть монарха в народной психике всегда снабжена в большей или меньшей степени такой или иной сверхразумной санкцией, вследствие чего этой власти повинуются легче и проще, особенно там, где она имеет за себя давность столетий. Власть же демократическая, выборная совершенно лишена подобной иррациональной поддержки; вся она должна опираться исключительно на *рациональные* мотивы и прежде всего на гражданское сознание необходимости порядка и власти вообще. Эти же рациональ-

[1] Курс русской истории, т. 2, с. 83—84.

ные мотивы далеко не всегда оказываются равными по силе прежним, и неудивительно поэтому, если современные социологи отмечают, что демократизация государства приводит сплошь и рядом к ослаблению психологического влияния власти и психологической силы закона. Ибо кто наделяет людей властью, кто издает законы? Наши же представители, то есть в конечном счете мы сами. И вот власть и закон лишаются своего прежнего мистического авторитета. Таким образом,— говорит J. Cruet[2],— та самая идея народного суверенитета, которая дает закону наиболее солидное *юридическое* основание, в то же самое время *психологически* ослабляет его моральный авторитет; ведь в сущности всякий демократический и парламентарный режим есть не что иное, как господство критического духа («le gouvernement de l'esprit critigue»); в этом его самое лучшее и самое худшее...

При таких условиях совершенно понятно, что наш русский революционный переход от монархии к народоправству представлял в этом отношении исключительные опасности. Весь вопрос заключался в том, сумеет ли наш народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке, в деле порядка и повиновения перейти от иррациональной основы к рациональной, сумеет ли он уловить свои подлинные национальные интересы и водворить в своих рядах надлежащую дисциплину.

Мы знаем, что история не была к нему в этом отношении добра — она не дала ему постепенной и достаточной подготовки: умственная темнота и политическая невоспитанность народных масс ни для кого не составляли секрета. Если можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа, да... *на разумное руководительство им со стороны интеллигенции.*

Как же повела себя эта последняя?

III

Уже давно отмечался слабый интерес нашей интеллигенции к вопросам права. Правда, за последнее время положение дела как будто несколько улучшилось, но все же широкие круги русского интеллигентного общества оставались в этом отношении и мало сведущими, и мало чувствительными. И это надо сказать в одинаковой мере об обоих лагерях, издавна борющихся у нас между собой,— лагере идеалистическом и лагере материалистическом.

Интеллигенция первого, *идеалистического,* лагеря страстно и, надо думать, искренне ищет абсолютного добра и абсолютной правды; в этих исканиях она делится на кружки и секты, обнаруживает огромную напряженность нравственного чувства, а часто доходит даже до глубочайшего религиозного пафоса. Но в то же время в деле практического устроения жизни она оказывается какой-то беспомощной, а иногда даже, приходится сказать, и бесчувственной. Ища абсолютной правды, она совсем не обращает внимания на тот мир относительного, в котором мы живем; жаждая абсолютного добра, она плохо следит за тем практическим путем, по которому нам по необходимости приходится идти. Вследствие этого часто случается, что мы, как бы ослепленные нашим внутренним видением, идем напролом, безжалостно сокрушая множество таких ценностей, которые мы сами хотели бы утвердить. Ради «дальнего» мы душим «ближнего», ради свободы мы совершаем бездну насилий. И так получается то, что, погруженные в мечты о насаждении царства Божия на земле, мы совершенно не умеем устроить нашего обыкновенного нынешнего царства. Мечтая об абсолютной правде, мы живем в ужасающей неправде; мечтая о горней чистоте, мы пребываем в невылазной нравственной грязи.

По этой же причине мы свысока и с презрением относимся к праву. Мы целиком в высших областях этики, в мире абсолютного, и нам нет никакого дела до того в высокой степени относительного и несовершенного порядка человеческого общения, которым является право.

Даже более того. Многим кажется, что, оставаясь последовательными, они должны прямо *отрицать* право. Всякий правовой порядок, говорят, покоится на власти и принуждении; он по самой идее своей исключает свободу произволения и потому противоречит основным требованиям нравственности. И вот, как известно, мы, русские, весьма склонны к *анархизму*; ни для одного идейного течения мира мы не дали столько видных теоретиков, как именно для анархизма (Л. Толстой, Бакунин, Кропоткин).

Конечно: мы думаем об обществе святых, а в этом обществе — говорят даже юристы — не будет никакой надобности в праве. Право идет к своему собственному уничтожению, а потому оставим мертвым хоронить мертвых.

Но и для другой стороны, для *материалистического* лагеря нашей интеллигенции, право также не имеет самостоятельной ценности. История человечества двигается не такими или иными идеями о правде и справедливости, а чисто материальными силами — *интересами* общественных групп и классов; право лишь санкционирует созданное борьбою этих интересов фактическое соотношение сил. Оно, таким образом, не имеет в себе ничего творческого; оно только констатирует то, что есть, что создано факторами, лежащими далеко за его пределами. И естественно при таких условиях, что наше внимание склонно по преимуществу обращаться к этим последним факторам. Как бы ни определялись эти факторы ближе, все равно, для права результат получается один и тот же: его игнорируют.

Но и здесь этого мало: за этим игнорированием часто также скрывается более или менее определенное *отрицание*. Мы говорим при этом не об отрицании тех или иных отдельных (хотя бы и очень важных) норм и институтов, как, например, брака или частной собственности, а об отрицательном отношении к самой *идее права* вообще.

В самом деле, если верховным критерием политики является наиболее полное осуществление клас-

[2] La vie du droit et l'impuissance des lois. 1908, p. 219.

совых интересов пролетариата или крестьянства, то с этой точки зрения всякие правовые нормы или гарантии могут оказаться при известных условиях прямо вредными. Это именно тогда, когда эти гарантии (например, гарантии правосудия, недопустимость смертной казни и так далее) связывают действие пролетариата или крестьянства, или ими поставленных властей. Тогда они нежелательны, вредны и тягостны. И вот, таким образом, право оказывается просто некоторым барьером, за которым прячутся, пока приходится обороняться, но который является помехой, как только почувствуют достаточно силы, чтобы перейти в наступление. Поэтому в устах представителей этого лагеря речи о праве имеют всегда неискренний характер: о нем они много вопиют, если находятся в положении побеждаемых, но моментально забывают, если оказываются победителями. То, что они в сущности признают и перед чем в действительности преклоняются, есть исключительно *сила*: прав, поскольку силен. Опыт русской революции с ее «диктатурами», «революционным правосознанием», «правотворчеством снизу» и разными другими тому подобными вещами подтверждает сказанное самым наглядным и ощутимым образом.

IV

Чему же при таком своем общем настроении могла научить интеллигенция народ, особенно в столь критический момент его истории? Могла ли она научить его уважать право, раз она сама его не уважала? Могла ли она дать народу рациональное обоснование для подчинения власти и закону, раз она сама его не ощущала?

Очевидно, нет. Но она могла сделать худшее. Она могла в темные, невежественные массы бросить лозунги, которые способны были уничтожить даже то, что там еще оставалось, разнуздать самые низменные инстинкты и повести к разрушению самых последних, самых элементарных основ общежития. И она это сделала...

Мы далеки от утверждения, будто в этом повинна *вся* русская интеллигенция. Мы знаем, что уже с самого начала революции было немало людей, которые предостерегали против бесцеремонного обращения с правом, которые звали народ к дисциплине и строгому соблюдению порядка и законности, но их голоса были скоро заглушены. «Сила крика» осталась за теми крайними флангами обоих направлений, о которых была только что речь и в которых равнодушие к праву переходило в прямое отрицание.

Нечего говорить об *анархизме*: каковы бы ни были его теоретические основания, его социально-психологические последствия не подлежат сомнению. Если есть учение, которое поистине предполагает святых людей, так это именно анархизм; без этого он неизбежно вырождается в звериное bellum omnium contra omnes[3]. Разрушая последние правовые сдержки, анархизм отдает человеческое общежитие на волю индивидуального эгоизма и эгоистических аппетитов. Не вникая в глубину учения, где все-таки содержатся кое-какие против этого коррективы, невежественный ум усваивает из него только его упрощенные, боевые лозунги и усматривает в них только одно — освобождение своего эгоизма от всяких ограничений. Неизбежным последствием этого во взбаламученной народной психике является широчайший разгул всяческих преступлений. Ибо ни жизнь, ни имущество ближнего не гарантированы: на все я могу смотреть исключительно как на средство для удовлетворения моих интересов. Единственно, что еще меня может сдержать и ввести в известные границы,— это встречная палка.

Не меньшую отраву в умы вносило и другое крайнее учение — *материалистический социализм*. Утверждая, что право и нравственность суть только «идеологические надстройки», оно этим самым уничтожало всякое нормативное значение их, устраняло их, как инстанцию, стоящую над интересами и имеющую право их судить. Какой-либо иной оценки, кроме оценки с точки зрения классового интереса, нет и быть не может. Поэтому борьба за свой классовый интерес всегда и всякими средствами законна. Всякий интерес моего класса есть законный интерес, ибо вне области интересов и над нею нет никакой высшей решающей инстанции; с другой стороны, всякое средство для защиты этого интереса дозволено, ибо что, кроме его технической непригодности для этой цели, может заставить нас от него отказаться? Можно было опасаться заранее, какой рефлекс дадут все подобные учения в той же темной и до крайности взбудораженной народной душе; действительность превзошла, однако, самые мрачные опасения.

«Материалистическое понимание истории» претворилось в грубейшее материалистическое понимание жизни. Все высшие проявления человеческого духа — совесть, честь, потребность в истине, правде и так далее — исчезли под напором самых элементарных похотей тела. «Экономика» теории превратилась на практике в кошмарный разгул ничем не сдерживаемых звериных инстинктов, в оргию убийств, издевательств и грабежей. Пренебрежение к «идеологическим надстройкам» выросло в чудовищную враждебность ко всему, что носит на себе печать интеллигентности и культурности.

Классовый эгоизм совершенно вытравил представление о государстве и народе, как целом. «Пролетариат», как особый класс, границы которого, впрочем, так и остались неясными, выделил себя из общего тела народа и занял по отношению ко всему остальному нетерпимое, воинствующее положение. Классовая борьба вылилась в самую озлобленную ненависть ко всему, что «не с нами». Нет народа, а есть только мы, «пролетариат»; все другие либо вовсе не должны существовать, либо должны нам беспрекословно служить. Так обрисовалась знаменитая отныне в истории «диктатура пролетариата»: озлобление и ненависть составляют ее душу, разрушение — ее стихию, всеобщее рабство — ее результат. [...]

[3] Война всех против всех (лат.).— Ред.

Когда этот дух безудержного классового эгоизма, вызванный общей социалистической проповедью, стал приносить свои грозные плоды, часть самой социалистической интеллигенции пришла в смущение и стала звать назад — к идее отечества, к поддержанию порядка, к дисциплине в труде. Но народ уже ее не слушал. Не слушал, тем более что другая часть того же социалистического лагеря продолжала свое черное дело. Возбуждая массы и в свою очередь возбуждаемая ими, эта часть поднялась до истинного пафоса человеконенавистничества, до истерического исступления. Быть может, в некоторые «светлые промежутки» у отдельных вожаков большевизма и мелькала мысль о необходимости остановиться и начать делать хоть какую-нибудь положительную работу (в такие минуты мы слышим даже от них по адресу пролетариата призывы к труду и дисциплине), но на этом пути положительного строительства они роковым образом были обречены на неудачу. Тут-то и обнаруживалось, что уже не они ведут за собой массы, а массы гонят их. Они имеют успех, пока зовут к разрушению, экспроприациям, конфискациям и так далее, но решительно утрачивают всякую власть, когда осмеливаются погладить против шерсти: недвусмысленное рычание по их собственному адресу являлось ответом на их призыв к порядку. И они оставляли свои попытки и бросались снова на старый путь социального неистовства, озлобленного науськивания и бессудных расправ.

Так продолжается и поныне. Вместо того чтобы способствовать нравственному оздоровлению народа, его систематически продолжают развращать. Вместо того чтобы призывать к всенародному объединению во имя общего спасения от внешнего ига, народ прямо или косвенно отдают под это иго, лишь бы только довести до конца свою чудовищную формулу «мир на фронте, война в тылу». Но мира «на фронте» все же нет, а «война в тылу» превратилась во всеобщее русское побоище. Большую бессмыслицу и больший народный позор едва ли видала когда-нибудь история...

Вот к чему привело «учительство» нашей социалистической интеллигенции! В великий героический момент призванная провести свой народ через все исторические искушения и опасности, она сама ввергла его в пропасть и выдала его врагам. Обязанная помочь народу в деле творческого устроения нового свободного уклада, она вместо этого вызвала всенародную гражданскую войну и анархию. Как зарвавшийся биржевой игрок, увлекшись погоней за еще невиданным на земле социальным строем, она проиграла тот дар свободы, который народ уже имел. Вместо благородного величия освободившегося гения она явила миру низость взбунтовавшегося раба, а русский народ выставила в виде опьяневшего Калибана на позор всему миру и всем векам.

V

Велик грех, велико должно быть и искупление. За месяцами греха должны последовать долгие десятилетия покаяния и трудной работы для воссоздания рассыпавшегося отечества.

Интеллигенция должна, прежде всего, сознать и почувствовать всю ответственность за каждое слово, с которым она идет к народу. Не буду говорить о необходимости безусловной честности и искренности в проповедовании своих идей; но и при этом условии мы должны помнить, что сплошь и рядом высказанная мысль вызывает в коллективной психологии масс совсем иные эффекты, чем те, которые вытекали бы из объективного содержания самой этой мысли. Всякое умственное общение есть двухсторонний процесс, зависящий от свойств и особенностей психического аппарата обеих сторон, и если мы хотим добиться правильного понимания нашей мысли, мы должны считаться с особенностями аппарата воспринимающего. В противном случае могут получиться самые прискорбные побочные психологические рефлексы и ужасающие искажения, как это случилось ныне с такими понятиями, как демократия, социализм, буржуазия и так далее. Мы должны помнить вообще, что коллективная психология есть нечто в высшей степени сложное, полное явлений иррациональных и капризных: иной раз легко вызвать в ней бурю, но трудно эту бурю потом утишить.

Однако первое, что должна сделать наша интеллигенция,— это честно и тщательно пересмотреть свой собственный идейный багаж. Она должна признаться, что в нынешних тяжелых испытаниях она оказалась несостоятельной даже с точки зрения своей интеллигентности, то есть с точки зрения своих знаний и своего понимания. Она оказалась полузнающей, а иногда и вовсе не знающей того, за разрешение чего она так смело бралась. Надо, таким образом, прежде, нежели учить других, тщательнее поучиться самим.

И прежде всего, полагаю, надо изменить свое отношение к *идее права*.

В частности, *материалистическому* лагерю нашей интеллигенции надо подумать о следующем. Утверждая, что пролетариат или крестьянство вправе добиваться осуществления своих классовых интересов только потому, что это суть его интересы, вы ставите этим самым защищаемые вами интересы этически на одну доску с интересами прямо противоположными. Интерес капиталистов или помещиков при такой постановке вопроса этически так же законен, как интерес рабочего: там класс и здесь класс, и если тот класс вправе бороться за свои интересы, то не менее вправе делать то же самое и этот. Не признавая над интересами и классами никакой высшей этической инстанции, вы разрешение подобного столкновения интересов предоставляете исключительно борьбе, то есть факту, силе. А при таких условиях и ваш противник может сказать: если так, то мы еще посмотрим, кто кого — вы ли меня или я вас. Другими словами, вы сами своим учением оправдываете борьбу против вас, вливаете в душу противника нравственную энергию, сознание своей правоты.

В действительности вы, конечно, такой этической равноправности капиталиста или землевладельца не допускаете; вы считаете требования рабочего или крестьянского класса более правильными, более заслуживающими признания и одобрения. Почему? Какие бы основания ни выдвигались

при этом, все равно вы должны признать, что прибегая к этим основаниям, вы оставляете вашу голую теорию интересов, как таковых, и подвергаете мысленно борьбу за них некоторой высшей этической оценке. Над борющимися интересами вы невольно мыслите какую-то высшую надклассовую инстанцию, которая одно одобряет, другое отвергает — независимо от того, что из них побеждает в фактической борьбе. Перебирая мысленно претензии противников, вы невольно про одни из них думаете: этого он *вправе* требовать, а про другие: этого он *не вправе*.

Вы, таким образом, сами против своей воли оперируете понятиями «*право*» и «*неправо*». Да иначе, конечно, и быть не может. Ведь не всякий свой интерес вы лично признаете правым и подлежащим осуществлению; некоторые ваши интересы вы сами отвергнете, как недопустимые по тем или иным основаниям. Но то же самое нужно сказать и относительно интересов целых общественных групп или классов. Ведь и у этих последних могут быть такие интересы, которые придется признать недопустимыми, например, интерес в привилегированном, эксплуататорском положении по отношению к другим группам. Если до сих пор в этом были повинны классы капиталистов или помещиков, то в будущем могут возникнуть такие же эксплуататорские поползновения в классе промышленных рабочих по отношению к землевладельцам или, наоборот, в классе квалифицированных рабочих по отношению к неквалифицированным, или наоборот и так далее. До тех пор, пока род человеческий будет несовершенным, всяческие конфликты на этой почве неизбежны, и потому даже по отношению к целым группам, классам, обществам необходимо твердо помнить известное правило: *не на все то, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право*. Критерий права доминирует, таким образом, над критерием интереса и составляет такое понятие, без которого мы не можем ни мыслить, ни действовать.

Как бы мы ни определяли затем этот критерий права ближе, в чем бы мы ни усматривали основной принцип этого последнего, во всяком случае мы уже оказываемся в плоскости известного рода *этических* оценок, в плоскости суждений о *должном*. А в этой плоскости никакие материалистические концепции истории не могут иметь для нас обязательного значения; то, что было и что есть, принципиально не указ для того, что должно быть.

Ввиду всего сказанного, более тщательное отношение к праву, большее уважение к нему делается для всякого искренне мыслящего обязательным. Недовольство существующим правопорядком нисколько не оправдывает небрежения к праву вообще: если нынешние оценки правового и неправового ошибочны, то тем необходимее разработка и выяснение новых, верных. Как бы ни рисовался нам будущий желательный социальный строй, он прежде всего должен быть оправдан, как строй правый и справедливый; без этого он будет ощущаться всеми, даже теми, для кого он выгоден, как голое насилие. Если дифференциация труда не исчезнет, то не исчезнет в обществе и известное деление на группы с особыми интересами каждой, и если мы не хотим, чтобы сожительство этих групп представляло из себя непрерывную междоусобную войну, мы должны регулировать их сотрудничество на известных справедливых, правовых основаниях. А для этого мы должны решить, что право и что неправо.

Но если, таким образом, для материалистического лагеря нашей интеллигенции делается необходимым проникнуться в известной степени идеализмом, то, наоборот, для другого, *идеалистического*, лагеря обязательно большее внимание к земному и относительному. А это непременно приведет его опять-таки не к чему иному, как к тому же праву.

Конечно, право есть порядок внешний и условный, но это не значит, что оно есть нечто, по существу для человеческого общения ненужное. Нам незачем, полагаем, выступать с опровержением анархизма: это учение держится не силой своих аргументов, а силой возбуждаемого им настроения. Укажем только на то, что если бы даже все люди действительно руководились в своей жизни нравственными побуждениями, то и тогда для совместной жизни им нельзя было бы обойтись без известных внешних, условных правил. Ведь нравственность, как известно, есть нечто такое, что держится только силой внутреннего, индивидуального убеждения: если я, в силу всего своего миропонимания, признаю известное поведение для себя обязательным, то я должен так поступить. хотя бы другие думали иначе; если бы я поступил так, как считают нужным другие, то я в угоду им отрекся бы от своего внутреннего нравственного завета, в угоду миру поклонился бы идолу. Вследствие этого нравственные требования могут быть весьма различны и непримиримы. Людям же как-никак нужно жить вместе, а для этого нужно создать такой условный порядок взаимных отношений, при котором каждой личности была бы гарантирована в одинаковой мере возможность ее физического и духовного существования, возможность нравственного совершенствования.

По этой причине неверно часто встречающееся (даже у юристов) утверждение, будто право само ведет к своему упразднению, будто в обществе людей нравственных, святых оно станет совершенно излишним: люди могут быть святыми, но каждый по-своему, а для их сожительства необходимо нечто общее.

Кроме того, если бы даже мы представили себе святых людей одной веры, людей, безгранично любящих друг друга одною любовью, то и тогда без известных, чисто внешних и условных, правил общежития им все же не обойтись, по крайней мере, до тех пор, пока они будут оставаться людьми и будут жить в обыкновенных условиях земного существования. Ведь всякое общежитие есть непременное сотрудничество, а всякое сотрудничество предполагает известное упорядоченное приложение сил и организацию. Пусть в каком-нибудь тесном обществе все члены его любят друг друга и готовы всячески помогать друг другу, но если им нужно сделать совместными усилиями какую-нибудь общую работу, им необходима упорядоченная организация труда, иначе самоотверженные, но несогласованные усилия всех израсходуются бесплодно. Если им нужно поднять бревно, то нужно, чтобы все взялись за него одновременно и чтобы кто-нибудь затем скомандовал «раз!» и т. д. Право дает такую необходимую организацию, и в этом качестве оно не утратит своей необходимости для всякого человеческого общежития [...]

Таким образом, более внимательное размышление должно убедить наших идеалистов в том, что отрицание права или небрежение к нему отнюдь не вытекает из существа их идеалистического мировоззрения; оно объясняется, напротив, лишь их собственной недостаточной внимательностью к некоторым сторонам этого последнего. Когда же эта ошибка будет исправлена, они сами увидят, как много ценного и важного для правового устроения жизни они с своей точки зрения смогут сказать.

VI

Правовая и государственная организация создается, как известно, коллективной, соборной в широком смысле слова, психической деятельностью народа. Есть народы, которым это созидание дается относительно легко и просто — разумная самоорганизация как будто у них в крови; и есть народы, которым оно дается с большим трудом, путем тяжких и мучительных испытаний. Мы, русские, по-видимому, принадлежим к этому последнему типу. Сколько тяжелых и постыдных страниц вписали мы в свою историю исключительно благодаря нашему неумению разумно столковаться друг с другом, благодаря нашей роковой наклонности «раздираться на партии»! В настоящий момент мы вписываем, быть может, страницу самую постыдную.

Собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство и наш народ, растерзали не только на «самоопределившиеся» территориальные куски, но и на «самоопределяющиеся» социальные классы. Собственными руками своими мы разрушили нашу оборону — армию и флот, наш административный, производительный и транспортный аппарат и так далее,— словом, все, без чего в нынешних условиях не может жить ни один народ. Мы все разрушили, но, по-видимому, еще не насытились. Каждый день приносит все новые и новые конвульсии в этом направлении, и кажется, что мы остановимся только тогда, когда от русского народа будет перед нами только разорванный и охладевший труп.

Но этому не хочется верить. Не хочется верить, что то, что мы сейчас переживаем, есть действительная смерть русского народа и русского государства, что это подлинный конец, могила.

В тоске оглядываемся кругом: где же спаситель? И какой-то голос подсказывает: он там, в том же русском народе, ныне столь яростно рвущем себя на клочки; он там — в его здравом инстинкте и здравом смысле, ныне столь затуманенном и извращенном налетевшими на него крикливыми лозунгами. Он там, ибо сам народ еще не сказал *своего* слова: за него пока говорили другие. Оторопев от внезапности совершившегося переворота, он пока молчал, ждал и думал, и тут-то налетели на него эти другие, перевернули его мысли, разбудили в нем зверя.

В то время как он всегда мечтал об устроении жизни по правде, по-божески, ему стали говорить о том, что вся правда и весь Бог заключается в блюдении своих материальных классовых интересов и что помимо этих интересов никакой правды, никакой справедливости нет.

В то время как он с большим трудом собирал себя в истории в единое великое целое, инстинктом чуя, что только при этом условии он будет в состоянии развернуть все богатство своих духовных сил, ему стали внушать безграничное «самоопределение» частей, то есть разрыв до самоуничтожения.

В то время как он жаждал мира вообще, ему стали усиленно внушать «войну в тылу», стали всеми мерами растравлять в его душе дух злобы, корысти и разрушения. Ему дали попробовать русской братской крови... И вот, отравленный ею, он мечется в каком-то безумном отчаянии из стороны в сторону, от одного убийства или грабежа к другому, а *они* это нравственное отчаяние принимают за социализм!..

В то время как ему нужно было возможно скорее прийти в себя, опомниться и в здравом уме и твердой памяти приняться за приведение осколков государства в порядок, ему впрыскивали все новые и новые дозы яда: то отдельные лица, то целые категории их объявлялись «врагами народа» и «вне закона», что обозначало, конечно, прямое приглашение к новым убийствам и самосудам.

Кошмар пока растет и ширится, но неизбежно должен наступить поворот: народ упорно, несмотря на самые неблагоприятные условия, на протяжении столетий, и притом, в сущности, только благодаря своему здравому смыслу, строивший свое государство, не может пропасть. Он, разумеется, очнется и снова столетиями начнет исправлять то, что было испорчено в столь немногие дни и месяцы. Народ скажет еще свое слово!

Но как будете жить дальше вы, духовные виновники всего этого беспримерного нравственного ужаса? Что будет слышаться вам отовсюду?

Когда вы будете думать об одурманенном и увлеченном вами в пропасть народе, не будете ли вы слышать роковые слова: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих; лучше ему повесить себе камень на шею и броситься в пучину?

Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству, когда вы будете вспоминать об этих массовых избиениях ваших же ближайших братьев-интеллигентов, не будете ли вы слышать вокруг себя: «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?»

Игорь Виноградов

Лик, лицо и личина народа

1

Сегодня становится все очевиднее, что сколь ни опасны кризисные процессы, охватившие нашу экономику и политику, тот опустошающий *духовный кризис*, который стал развиваться в нашем обществе уже давно, но выявил себя особенно резко как раз в последние годы, в ходе нашей так называемой «перестройки», еще опаснее и глубже. Недаром о нем без устали напоминают сегодня чуть ли не с каждой газетной страницы и на каждом телевизионном перекрестке даже и те, кто раньше о духовных проблемах и вспоминать-то толком не вспоминал. И не удивительно. Общее падение нравственного уровня жизни, небывалый рост преступности, наркомании, разгильдяйства, воровства и пьянства, почти полная уже атрофия всякой гражданской, трудовой, производственной и просто бытовой организованности и ответственности, все яростнее захлестывающая страну стихия злобной нетерпимости, раздражения, агрессивности, социальной и национальной ненависти и вражды,— все это достигло ныне такого катастрофического уровня, что даже самому поверхностному наблюдателю не составляет труда понять: именно здесь, в сфере нравственного сознания, в глубинных недрах духовного состояния общества и происходят процессы самые, может быть, важные и значимые из всех, что протекают сегодня в стране. Настолько важные и значимые, что осознание их становится, можно сказать, проблемой проблем нашего сегодняшнего бытия.

Об этой проблеме проблем нашей жизни и пойдет речь в этой статье, в какой-то мере обязанной своим появлением трем фильмам, которые по случайному стечению обстоятельств я посмотрел почти одновременно,— картине С. Говорухина «Так жить нельзя», «Астеническому синдрому» К. Муратовой и фильму П. Лунгина «Такси-блюз».

2

Духовный кризис общества, о котором идет речь, имеет много самых разных весьма наглядных, вполне зримых обнаружений. Но самое обескураживающее среди них — это вовсе еще, может быть, не преступность или наркомания, воровство или проституция. Куда страшнее в своей наглядности то, как зримо и быстро меняется в наших глазах *сам облик нашего общества в целом* — совокупный облик людей, населяющих страну, облик народа. В том числе — и нас, русских. Не случайно эта трагическая метаморфоза все чаще останавливает на себе потрясенное ею внимание художников театра и кино, взгляд которых особо чувствителен к зримым формам и линиям бытия. И не случайно, в частности, что и такие разные, совсем не похожие друг на друга мастера, как С. Говорухин, К. Муратова и П. Лунгин, в своих опять-таки крайне не похожих друг на друга, совсем разных фильмах, посвященных нашей современности, тоже не только не смогли пройти мимо этой пугающей реальности, но не смогли не сделать ее — при всей разности решаемых ими художественно-содержательных задач — и одной из главных, сквозных тем. Более того — особая показательность и значимость этих фильмов, если взять их в качестве своего рода свидетельств, удостоверяющих и фиксирующих эту реальность, состоит в том, что при всей неблизости художнических индивидуальностей их создателей сущностное видение ими этой трагической реальности оказалось как раз удивительно сходным, близким — той близостью, которая уходит, несомненно, своими корнями в самое эту реальность, одну и ту же в своей глубинной природе.

В самом деле, как ни далеки эти фильмы по своему жанру, художественным целям и языку, нетрудно заметить, что каждый из режиссеров, решая свою собственную задачу, так или иначе связывал ее решение тем не менее и с некоей оказавшейся общей для всех троих установкой: создать в фильме зрительный образный ряд, способный быть своего рода обобщенным портретом нашего общества — нас, сегодняшних, живущих в ситуации так называемой «перестройки». Все три фильма слишком очевидно нацелены на такое обобщение, чтобы можно было его не заметить,— тем более что с этим обобщением так или иначе связано и все художественно-содержательное построение каждого из них.

Так, в фильме С. Говорухина эта тема обозначена даже и вербально — болезненным, трудным,

тяжким вопросом, проходящим через всю картину одним из ее лейтмотивов,— т а к ч т о ж е с н а м и п р о и с х о д и т?.. И ответ на этот вопрос, обращенный автором фильма и к себе, и к зрителю, складывается не только из сюжетно-публицистических контрастов и сопоставлений, акцентирующих логику авторской мысли, и не только из собственных размышлений автора-ведущего. Но, может быть, более всего как раз именно из того зрительно-портретного ряда, в который выстраиваются беспрерывно появляющиеся на экране человеческие лица. Ведь именно этот ряд более всего и врезается в память после фильма, хотя что, казалось бы, в этой картине такого, чего бы мы не видели тысячи раз в самой жизни?

Разумеется, при этом я прежде всего имею в виду даже не те или не столько те наглые лица юных подонков, изнасиловавших и зверски убивших молоденькую девочку-школьницу, что ухмыляются нам в лицо со скамьи подсудимых. И даже не то тупое, вообще, кажется, неспособное к выражению каких-либо человеческих чувств, ничего не знающее о них лицо, которое принадлежит другому убийце, спокойно — не наигранно, а действительно спокойно, спокойно каким-то почти животно невменяемым спокойствием — рассказывающему и показывающему в следственном эксперименте: а вот тут она у меня, значит, осела, и я ее, значит, ударил вот сюда три раза... И даже, пожалуй, не это мутное, пропойное и более в этой мутной пропойности привычное лицо старого забулдыги, который, убив по пьянке родителей, потому что они только мешали ему пить, тут же направился в магазин и взял еще пять бутылок водки, чтобы тут же их без помехи выжрать... В конце концов во всяком обществе есть дно, есть отбросы, обретающиеся на самой низшей ступени человеческой животности и падения.

Но вот эти лица, вспомните их,— лица, которые одно за другим возникают перед камерой, медленно скользящей по людям, что бредут вдоль обшарпанных домов и проломанных заборов, толпятся у магазина, бессмысленно стоят, прислонившись к заплеванному прилавку грязного пивного ларька, к тому же заколоченного,— вспомните эти изможденные, сморщенные лица, эти фигуры заморышей, этих щуплых, сгорбленных работяжек, этих странных представителей какого-то странного, мелкого, вырождающегося народца — что, это тоже все исключение, какое-то другое племя и род?..

А вот другая порода, тоже не менее привычная,— молодые, здоровые парни и мужики, толкающиеся по уборным и на переходах ГУМа, спекулирующие всем, чем можно,— эта тьма-тьмущая энергичных, пронырливых деляг, постепенно перерастающая в тьму-тьмущую колоссальной, неохватной одесской толкучки, в этот грандиозный символ страны, превратившейся в страну барахолок и повальной спекуляции... Это что, тоже все подонки, все это тоже не имеет никакого отношения к понятию «народ»? И не имеет к нему отношение та нескончаемая, бесконечно извивающаяся очередь, что состоит из вполне обычных рабочих, трудовых людей, подвергнутых обычному унижению постыдного стояния за водкой? Лица униженные, но уже и привыкшие к унижению, покорно готовые к нему, хотя и стыдящиеся как будто бы перед камерой этой своей покорности и готовности, испытывающие как бы даже и неловкость за свое унижение... Но вот многочасовое ожидание заканчивается, наконец, у заветной двери, и какая уж тут камера, неловкость и стыд!.. Ругань, мат, кулаки, рвущиеся рукава пиджаков и рубашек, выхватываемые через головы бутылки, безумные глаза, и уже не лица, а озверевшие хари, рожи, образины... И что́ — это тоже все не народ, а его отбросы и подонки?..

Да, после таких ударов по глазам, после такой пытки для вашей национальной гордости и достоинства уже не экзальтированной публицистической риторикой, а сплошным ужасом и оторопью начинает звучать библейское — так неужели сбудется пророчество и *лицо поколения будет собачье*?.. И уже не воспринимается всего лишь попутной музыкальной заставкой хриплый ор Высоцкого:

Кто ответит мне —
Что за дом такой,
Почему — во тьме,
Как барак чумной?
В дом заходишь как
Все равно в кабак,
А народишко —
Каждый третий — враг...

Кира Муратова работает не на документальном экране. Ее фильм — создание чисто художественное, искусство, ориентированное на эстетическую многомерность и даже изощренность, хотя и не чуждое почти прямой публицистичности. Она лепит свой образ мира и времени средствами сложной метафорической символики, легко переходящей от натуральнейшей бытовщины к условности и даже гротеску, что в целом создает мир сюрреалистских форм и облика, далеких как будто бы от того, что мы видим в фильме С. Говорухина. И все же — что это за мир, образ которого создает К. Муратова? Как видит она его суть и облик, какими образами его передает?

Это отупелая, сонная, спящая на ходу толпа, проваливающаяся в жерло эскалаторного туннеля метро, перепрыгивающая через упавших, ничего не видящая и не понимающая в своем астеническом беспамятстве... Это идиотская бессмыслица школьного педсовета, пялящегося на вас физиономиями каких-то допотопных монстров, изображающих из себя вроде бы вполне обычных мужчин и женщин, и это и в самом деле вполне обычные как будто бы девчонки, бессмысленно и зло издевающиеся над уличным дурачком. Это бесформенная глыба мяса с куриными мозгами, уверенная в своем праве воспитывать и взрослых и детей, и это смазливые мальчики и девочки, отлично знающие все, что требует от них школьная показуха и готовые перевоспитать любого взрослого своим веселым и безоглядным наплевательством на все их взрослые нормы и приличия своим сосредоточенным балдением на шумных вечеринках с роковой тряской и живыми картинами из обнаженных тел, воспроизводящих какую-

нибудь классическую композицию Рембрандта или Веласкеса... Это все то же месиво рук, остервенелых лиц, потных денег, разверстых ртов, все тот же ор, ругань и мат в очередной нашей очереди, на этот раз — за рыбой, и еще один какой-нибудь несчастный интеллигент, способный еще, казалось бы, претендовать в этом абсурдном беспамятстве даже и на роль вменяемого героя, но не способный, в сущности, ни к чему, жалкий во всем — и в своих попытках что-то творить, и в своих отношениях с учениками, и в нелепой своей семейной жизни, и в еще более нелепых против нее бунтах, выражающихся в демонстративно неуемном и жадном пожирании семейных запасов дефицитной икры...

Наконец, «Такси-блюз» П. Лунгина — фильм, который заметно портят, на мой вкус, все эти ставшие как бы непременными для современного «зрительского» кино пьяные дебоши и автомобильные гонки, дежурная эта эротика с дежурным же прямым показом полового акта, это подчеркнутое педалирование экзотической «чернухи», сообщающее фильму налет некой эстетической вторичности. Да и в авторской эмоционально-смысловой аранжировке центрального сюжетного дуэта фильма — взаимоотношений работяги-шофера и интеллигента-саксофониста — тоже слишком уж отчетливо звучат мелодраматические интонации, отнюдь не поражающие художественной смелостью, но восходящие к тому знаменитому карамзинскому «И крестьянки любить умеют», что за два истекших столетия облегчило тяжкий труд художественного мышления сотням, если не тысячам, авторов, потевшим над построением и нравственной интерпретацией сложных социально-психологических коллизий, и даже совсем уже недавно было более чем основательно проэксплуатировано и в «Маленькой Вере», и в «Интердевочке». А теперь вот в мужском, так сказать, варианте — и у П. Лунгина...

Тем не менее сама исходная реальность и даже психологическая репрезентативность обоих этих героев тоже слишком очевидна, чтобы можно было не разглядеть за ними сотни и тысячи таких похожих на них, таких нам по самой жизни знакомых кровных их собратьев. Точно так же, как очевиден и неоспорим в своей исходной жизненной реальности и весь общий психологически-бытовой строй жизни, в который они погружены и которым окружены,— вся эта современная пролетарски-богемная бытовщинка с ее грязнотцой и развратцем, с ее круговой взаимовыручкой по блату и круговым приблатненным амикошонством по знакомству. И потому никак нельзя сказать, чтобы то мрачное обобщение, которое само подсказывается всей реальной психологически-антуражной фактурой этого сквозного сопоставления, на котором строится фильм, выглядело таким уж неожиданным и недостоверным. Да, тот человеческий уровень, на котором обретается типичный современный интеллигентски-богемный бытовой декаданс, столь выразительно представленный в расхристанных метаниях беспутной творческой натуры лунгинского джазмена, вплотную смыкается, в сущности, с человеческим уровнем какого-нибудь полуразвитого трудяги, воспитанного, подобно таксисту Шлыкову, простой и грубой прагматикой нашей повседневной действительности. А потому и во внешнем выражении два эти типа настолько неотличимы один от другого, что опять невольно вспоминаешь леденящее: неужели предсказание сбудется и лицо поколения будет собачье?.. Только на этот раз — как и в фильме К. Муратовой — уже без каких-либо иллюзий на тот счет, что грозное это предостережение имеет в виду одну лишь замороченную, духовно оболваненную массу так называемых простых людей, которых слишком легко зачислить по разряду «детей Шарикова». А современные благополучные профессора и журналисты, врачи и педагоги, музыканты и ученые, инженеры и служащие — они что, все сплошь былые булгаковские Преображенские?..

Увы, как в знаменитой максиме прежних времен, заверявшей, что народ и партия едины, заключалась отнюдь не одна только идеологическая неправда, так и наша сегодняшняя интеллигенция в лице самых различных ее представителей и едва ли не в значительнейшей ее части, обнимаемой знаменитым солженицынским понятием «образованщины», совсем не так далека от народа, как была далека от него, согласно привычным легендам, в стародавние времена. Если, разумеется, говоря о народе, иметь в виду именно и лишь ту его, хотя едва ли меньшую, часть, миллионное дыхание которой так явственно слышится за спиной лунгинского таксиста...

Всем этим «Такси-блюз» тоже вполне оправдывает свою подспудную претензию быть своего рода обобщенным портретом нашего общества — и ничуть не в меньшей мере, чем фильм С. Говорухина или «Астенический синдром» К. Муратовой. Как художественно-свидетельское показание о нашем времени такого же, в сущности, характера и содержания, он тоже вносит свой вклад в создание того изменчивого, многоличного, противоречивого, но в чем-то и единого образа, которым смотрит на нас с экранов этих фильмов лицо нашего общества. А вернее — не лицо, а *личина*, если под личиной понимать, в соответствии с древним словоупотреблением, не только внешнюю, лицемерно и лишь для отвода глаз надеваемую маску, но и ту прирастающую к лицу маску его собственной человеческой искаженности, которая способна преобразить его уже и просто-таки до состояния *образины, хари* — сделать его не лицом, а именно *личиной*. И весь ужас в том и состоит, что хотя та, очевидная в своей человеческой непривлекательности совокупная личина, в которую собираются лица многочисленных персонажей этих фильмов, и не может, конечно, служить портретом действительно *всего* нашего общества, адекватно представлять *все* его духовные уровни и ипостаси, тем не менее личина эта — это тоже *мы*, это тоже *наш* портрет. Ибо никак уже не можем мы не признать сегодня своим, типичным для нас то странное общее выражение, которое и соединяет в некое пугающее, но несомненное образное единство разнообразнейшие лица многочисленных персонажей этих фильмов и которое восходит как бы к некоему общему корню.

3

Какова же природа той духовной болезни, которая столь выразительно засвидетельствовала свое разгорание в организме нашей страны не только повсеместными чудовищными взрывами насилия, жестокости и злобы, но успела уже и сам зримый повседневный облик нашего общества изменить до такой степени, что сплошь и рядом его не назовешь уже, пожалуй, и лицом, но разве лишь личиной?

Вопрос не простой, и чтобы верно ответить на него, нужно понять прежде всего то, что природа этой духовной болезни поистине уникальна, а духовная ситуация, переживаемая сегодня нашей страной, вряд ли когда-либо была знакома какому-нибудь другому народу. И это действительно создает определенные трудности в ее диагностировании,— особенно на Западе, где с большим трудом понимают, что то, что произошло у нас в октябре 1917 года, поистине не имеет аналогий в мировой истории. И что именно это и предопределило собою возникновение той совершенно уникальной кризисной духовной ситуации, в которой мы находимся сейчас.

В самом деле, ведь в 1917 году у нас произошла отнюдь не просто некая, пусть даже самая радикальная, политическая или социальная революция, сходная в принципе с теми, что происходили на Западе. И результатом ее была поэтому отнюдь не только перемена политической системы или отношений собственности. Эта революция обернулась кардинальным изменением и всей структуры духовной жизни страны, крушением самих основ той христианской общественной нравственности, которая плохо ли, хорошо ли, но структурировала собою развитие старой России. Крушение религиозности в народе произошло, как мы знаем, довольно быстро и практически приняло почти всеобщий характер — даже и тогда, когда внешние признаки какой-то религиозности как будто бы и сохранились. Другие духовно-мировоззренческие ориентации в их собственном, действительно структурообразующем для личности человека значении тоже практически утратили свою роль перед лицом и под тотальным прессом той социально-политической веры, которая стала насаждаться новой властью. Эта вера — и сегодня следует признать это — постепенно заменила собою все иные формы верований,— даже и тогда, когда она принималась, казалось бы, чисто формально или даже вызывала сопротивление и политическое противостояние, потому что все равно оттягивала тем самым именно на себя ту духовную энергию, которая предназначалась совсем для другого. Парадоксальная уникальность возникшей ситуации и выразилась, таким образом, в том, что духовное пространство, предназначенное в человеке для того или иного, как говорили в старину, *смысла жизни*, обращенного к неуничтожимым, абсолютным ценностям и целям бытия, заполнила собою абсолютная б е с с м ы с л и ц а некоего коллективного упования на сугубо социальное обустройство жизни — да еще в отдаленном «светлом будущем», требующая пока что лишь жертв и жертв.

Так совершился переход к цивилизации, или, вернее, к псевдоцивилизации, основанной на принципах, прямо противоположных принципам цивилизации христианской или постхристианской, на критериях открыто и агрессивно «классовой», а не общечеловеческой морали, на тотальном верховенстве принципа так называемой «социалистической целесообразности», на отмене всех тех мировоззренческих установок и верований, которые имели-таки место в старом русском обществе, хотя и существовавшем в рамках православно-монархического государства, но развивавшемся в сторону духовного плюрализма и, безусловно, достигшем в этом развитии достаточно высокого уже уровня.

Вот почему сегодня, когда происходит крушение коммунистического тоталитаризма и когда былая социалистическая вера в основной массе народа — и это тоже нужно сегодня признать — уже практически рухнула даже и у тех, кто все еще по привычке пытается опереться в своем жизненном ориентировании и самоопределении на социалистические костыли, мы и оказались в духовной ситуации совершенно уникального характера. Ведь именно потому, что эта вера, насаждавшаяся в советской империи, практически господствовала в ней и так или иначе занимала в душах большинства людей, составляющих советское общество, то самое место, которое предназначено для духовного смыслообразующего ядра человеческой личности,— именно поэтому теперь, когда вера эта развеялась, как дым, «свято» место в душах едва ли не подавляющего большинства населения страны оказалось сегодня в сущности п у с т о. И такое действительно не довелось еще, кажется, пережить ни одному народу, потому что ни у одного народа вера в какой-то порядок общественного устройства не занимала в его менталитете место его общемировоззренческой веры (или каких-то общемировоззренческих его вер) в течение столь долгого периода его существования. Мы единственные, пожалуй, прошли через такой опыт и потому единственные же познали и ту жестокую истину, что для народа, оказавшегося в плену тоталитаризма не только извне, но и изнутри, духовно, невозможен при крушении тоталитарного режима выход ни в какую иную духовную реальность, кроме реальности *духовного вакуума.*

4

Вот это-то состояние внутренней духовной безосновности, потерянности, опустошенности — это, иными словами, состояние *бездуховности,* трансформирующее сам облик человека,— и схватили в своих персонажах, подлинных и вымышленных, С. Говорухин, К. Муратова и П. Лунгин. И в этом и состоит причина той глубинной родственности, что соединяет лица этих персонажей в некое пугающее личинное единство. С. Говорухин, К. Муратова и П. Лунгин подтвердили — художественно и наглядно, зримо

подтвердили — эту глубинную их родственность именно тем особым, почти неуловимым и однако явственным выражением, которое столь зорко подметили они на лицах самых разных своих современников и в котором они столь проницательно уловили едва ли не решающую, типовую портретную черту нынешнего советского человека,— выражение какой-то плоскостности, какой-то как бы внутренней необъемности, которое возникает на любом лице — самом простом и самом как будто бы интеллигентном, самом слабом, безвольном и самом сильном, напористо вроде бы волевом — именно из-за отсутствия в человеке внутренней духовной глубины, из-за внутренней безосновности души, из-за ее несобранности вокруг тех или иных безусловных, неотменимых духовно-нравственных опор, не дающих ей распадаться. Это выражение не сотрешь с лица ничем, и вот почему так отчаянно жутко, что среди десятков и сотен самых обыкновенных как будто бы, отнюдь не специально отобранных человеческих лиц, реальных и сыгранных, так и не возникло, кажется, перед нами ни в каком из этих фильмов ни одного, которое было бы лишено этого пустотного выражения и привлекло бы отсветом внутренней духовной собранности, спокойствия и достоинства... Перед нами мир, лишенный смысла и оправдания, мир, выпавший из измерений Божественного Космоса и не вписывающийся в эти измерения,— мир, утративший Бога, но не обретший, не имеющий в себе и никакой ему замены, хотя бы иллюзорно,— мир абсолютной, ледяной духовной п у с т о т ы. Вот самая суть того общего и главного впечатления, которое остается от фильмов С. Говорухина, К. Муратовой и П. Лунгина — независимо даже от того, понимают ли до конца, как понимают и как объясняют эту суть сами создатели этих фильмов. Потому что если для С. Говорухина то состояние, в котором он застает и видит наше общество, прямо проистекает из всего, что было сделано в нашей стране за семьдесят лет с религией, с церковью, и эта связь прямо и неоднократно прочерчена в самом фильме, то для Лунгина, похоже, такое объяснение не является решающим. Но разве от этого меняется видение и понимание им самой сути той жизни, которую он выворачивает перед нами наизнанку,— ее безбожной уродливости, бессмысленности и пустоты? И разве в фильме Муратовой действительный смысл того сопоставления «серьезного современного кино», с демонстрации которого начинается «Астенический синдром», с реакцией на него той толпы, что сидит, смотрит на экран и устремляется потом из кинотеатра в живую жизнь, превращаясь в какой-то своей части в персонажей муратовской ленты,— разве смысл этого сопоставления в кажущемся и только внешнем контрасте, а не во внутреннем, хотя и парадоксальном сближении?

Ах, современный тупой зритель не способен, видите ли, по достоинству оценить превосходный психологический этюд, блистательно сыгранный талантливой актрисой — почти сорокаминутную истерику, вызванную потрясением от смерти любимого человека! И как ни призывает клубный организатор остаться, поговорить, наконец, о серьезном кино, публика валом валит из зала...

Но простите,— а чем эта истерика, хоть и блистательно сыгранная, так уж сильно могла и должна была поразить нашего бездуховного зрителя по существу? Может быть, высотой и обаянием какой-то подлинной человеческой духовности, неожиданно и трагически обнажающейся вдруг через эту истерику?.. Полноте. Перед нами человеческий мир такой же поразительной духовной пустоты, безопорности, жалкости, тем откровеннее обнажающейся, что истерика отбрасывает всякие тормоза самообмана. И тогда обнаруживается, что за душой, обреченной спасаться лишь в чисто земной прижатости к другой такой же душе, не обретается ничего, что помогло бы ей не рухнуть, не рассыпаться в прах, когда другую душу уносит смерть. Недаром в этой ситуации истерики, когда высвобождаются бессознательные механизмы привычных реакций, навыков, рефлексов, душевных движений и так далее, мы так и не видим у героини ни одного бессознательно-привычного движения доброты, жалости или уважительности к окружающим. Мало того, даже в отчаянном, безумном своем бунте против судьбы и всего мира — даже и в этом чисто отрицательном своем устремлении, которое так понятно в состоянии героини, душа ее обращает свое отчаяние отнюдь не к небу — у героини даже и потребности такой не возникает!.. И разве не показательно, что бунтующее воображение ее так и не осиливает подсказать ей что-нибудь более ужасное, безобразное, кощунственное, дьявольски злобное, чем те пошлые эротические и прочие банальности, которые в нынешней живой жизни — в том числе и в последующих кадрах муратовской ленты — совершаются на каждом шагу и без всяких истерик?..

Это проливает, кстати, определенный свет и на тот факт, тоже зафиксированный так или иначе во всех трех фильмах, что преступность и безнравственность, за которыми нам по старинке все еще романтически чудится часто какая-то особая развращенность и испорченность, присутствие какой-то откровенной сатанинской воли, дьявольской злобы и издевательства, по большей части скрывают в нашем сегодняшнем мире за собою куда менее экзальтированную психологию. Может быть, потому, что черт умнее, чем о нем думают, и самое сильное его оружие, как это превосходно показал в свое время еще Мережковский в своей книге о Гоголе,— *пошлость*. Вспомните и героев Муратовой, и героев Лунгина, демонстрирующих нам образчики бытового, так сказать, разврата, и даже подонков-насильников и убийц из фильма Говорухина,— что в них такого уж демонического? Даже у уголовников — да, наглые, да, тупые, но, в сущности, убогие, жалкие, ничтожные лица — лица не героев и воинов зла, а его тупых, убогих рабов. А что сатанинского в той феминистке из нашумевшего телевизионного репортажа, что под лозунгом «Свободу проституции!» раздавала на Тверской всем желающим бесплатные презервативы, присланные сердобольными американцами? Или в том

благообразном психологе, который с телевизионного же экрана вкрадчиво и ласково просвещал недавно нашу отсталую публику на тот счет, что супружеская измена — вещь относительная: она существует, когда вы о ней сообщаете супругу, а если он о ней не подозревает и она не травмирует его, то ее и нет. И что в таком случае может серьезно мешать вам удовлетворять свое свободное желание партнерства с кем-нибудь другим, если такая естественная потребность у вас вдруг возникает?..

Повторяю — это просто перевернутый, рассыпавшийся, освободившийся от каких-либо абсолютных норм и принципов, даже призрачных, мир — мир души, покинутой духом, потому что дух — это не пустота и не хаос естественных импульсов и потребностей, управляющих волей, а подлинная *твердь* — твердь категорических императивов Веры, Бога, Идеи. Там же, где этого нет, все приобретает относительный характер, все сдвигается с места, перемещается. И то, что раньше было таинством, становится актом физиологии и психологии, таким же простым и «естественным», как удовлетворение жажды или голода, и даже убийство превращается в вещь хотя и неприятную, конечно, но не такую, в сущности, чрезвычайную. чтобы из-за нее слишком уж переживать...

5

К чему, однако, я все это говорю, к чему веду?

Да все к тому же, конечно, традиционному нашему — *что же делать*? Что делать, чтобы избыть нам этот опустошающий, страшный наш кризис духа, преодолеть его, если это еще возможно?.. Ведь ясно же, что пока общество как целое будет продолжать находиться в состоянии тотальной духовной пустоты, тотальной свободы от каких-либо достаточно устойчивых, надежных духовных ориентиров жизнестроения, наша внутригражданская ситуация будет не улучшаться, а ухудшаться. Во всяком случае — оставаться чрезвычайно опасной. По той простой причине, что пребывание в состоянии духовного вакуума неизбежно порождает в человеке мучительнейшее чувство потерянности, внутренней неустойчивости и беспокойства, и он столь же мучительно начинает искать из этого положения выход, стремясь найти хоть какую-то внутреннюю опору, хоть какую-то устойчивую систему ориентации, от которой можно отправляться. А для большинства людей, не привыкших к самостоятельной духовной работе, это означает всегда инстинктивный поиск какой-то близкой ему человеческой общности, к которой можно внутренне примкнуть и через самоотождествление с которой можно духовно самоутвердиться. И здесь возможно стихийное и бурное образование самых разных и самых опасных потоков — от объединения в какие-то ближайшие и примитивные национально-племенные общности, самоопределяющиеся через противостояние чужим по крови, до собирания в разного рода социальные и асоциальные толпы, тоже самоутверждающиеся через ту или иную агрессию вовне. Это — во-первых.

А во-вторых, не приходится сомневаться и в том, что без коренных, качественных сдвигов в духовном состоянии общества, без кристаллизации и упрочения в нем незыблемых нравственных норм, способных служить действительными скрепами человеческого общежития, нас в реально обозримом будущем вряд ли может ожидать что-либо обнадеживающее и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, какие бы указы ни издавал Президент, какие бы новые махинации с финансами ни придумывал фининспектор, ставший главой правительства, и какие бы миллиарды ни вливала в нашу промышленность щедрая заграница.

Какой путь выхода из этой духовной бездны можно считать осуществимым и реальным? Ужесточить борьбу с преступностью, наркоманией, проституцией? Закрыть такие-то и такие-то молодежные программы и газеты, дурно влияющие на юные головы и сердца? Навести соответствующий порядок в печати, ввести какой-нибудь особо строгий закон о нравственности?..

Призывов подобного рода, обращенных к властям предержащим, раздавалось и раздается, как известно, немало, не говоря уже о потоке гневных обличений по адресу нашей неистовствующей на рок-концертах молодежи или других с ее стороны проявлений «бесовства» в политике, искусстве или в быту. Однако в том-то и дело, что духовную болезнь, лежащую в основе всех этих и любых других форм нравственного троглодитства, лечить новым диктатом и принуждением не только бесполезно, но и крайне вредно, опасно. В результате мы можем получить в ответ такие еще более ужасные формы троглодитства, на фоне которых аэробика, так напугавшая когда-то В. Белова, даже и ему покажется, наверное, верхом целомудрия. Такие методы мы уже «проходили», опыта нам не занимать, так что лучше извлечь, наконец, из этого опыта уроки и понять, что излечение убивающей нас духовной болезни если и возможно, то возможно отнюдь не на путях запретов, а, напротив, лишь в рамках действительного узаконения плюралистической свободы.

Но ведь если именно демократический тип организации общества является условием духовного его возрождения, то, с другой стороны, и нормальное функционирование демократических механизмов возможно, в свою очередь, лишь в духовно здоровом обществе. Что такое демократия в обществе одичавшем, больном, мы уже видели и видим на каждом шагу.

Значит, что же,— заколдованный круг?..

Есть немало честных и чистых голов, верящих в особую миссию России, в «русскую идею». В отличие от тех прохиндеев и горлохватов, что образуют ныне уже целую мафию бесстыдных эксплуататоров этой идеи и бесстыдствуют у всех на виду благодаря захваченным постам, эти люди искренне полагают, что в нынешних условиях единственный путь нашего национального возрождения — возвращение России в лоно

Церкви, в лоно Православия. Я и сам совершенно убежден, что если и возможно действительное духовное возрождение русского народа, России, то только таким путем. Но как на него выйти? Думать, что уже сейчас, в сегодняшнем своем состоянии, наша Церковь, не успевшая еще оправиться от последствий семидесятилетнего пребывания под пятой тоталитарного атеистического государства, способна стать той реальной мощной силой, которая за более или менее короткий исторический срок духовно преобразит нацию и тем успеет ее спасти от близящегося национального краха,— думать так было бы, на мой взгляд, слишком большой и непростительной наивностью. Кроме того, не следует забывать, что в условиях такого одичания народа, какое мы имеем, такой давней его отвычки от религиозно-духовной жизни даже самое искреннее стремление этой одичалой нашей народной массы приникнуть к Церкви может обернуться — и, как можно наблюдать, уже оборачивается — зачастую всего лишь еще одним наркотическим опьянением, а не духовным трезвением, становится формой иллюзорного, даже фанатического, а не действительного высвобождения и возрастания духа. Путь религиозного духовного возрождения общества — путь, несомненно, очень долгий и трудный. Слишком долгий и трудный, чтобы можно было думать, что уже и сегодня мы дошли по нему до той черты, за которой начинается действенное избавление общества от всех его духовных бед, создается почва для реальной его экономической, политической, социальной стабилизации.

Положение, таким образом, кажется и в самом деле тупиковым...

6

И оно действительно было бы, наверное, именно таким, если бы не один важный фактор, который, мне кажется, мы в наших анализах ситуации явно недооцениваем. А осознать его тоже могут помочь, в частности, и те три фильма, о которых идет речь в этих заметках.

В самом деле давайте попробуем сделать такое, например, сопоставление — сопоставление, которое выглядит, может быть, несколько неожиданным, но вряд ли покажется слишком уж экстравагантным привыкшему к любым сравнениям читателю журнала «Искусство кино». Давайте попробуем сопоставить обсуждаемые нами фильмы Говорухина, Муратовой и Лунгина с «Амаркордом» Федерико Феллини — фильмом, образный строй которого вполне позволяет, как мне кажется, поставить перед собой такой, например, вопрос: почему те три наших фильма, о которых идет речь, так разительно отличаются по своему общему настроению, по эмоциональному своему колориту от фильма Феллини, хотя, казалось бы, жизненный, человеческий «материал», положенный в основу всех этих картин, по своему достоинству и уровню не так уж и отличается?

Действительно: жизнь итальянского городка, о которой вспоминает Феллини в своем знаменитом «Амаркорде», показана им так, что по глубине и остроте критического пафоса, обращенного к ней, не только, согласитесь, не уступает, но едва ли не превосходит любую из наших картин. Ведь по обобщающему философскому смыслу созданного в нем грандиозного гротеска «Амаркорд» Феллини представляет собой, в сущности, не что иное, как своего рода художественную материализацию той убийственной инвективы, которую обращает к людям Великий Инквизитор у Достоевского, называющий род человеческий родом жалких, бессильных бунтовщиков. Тут все — и убогость семейного быта, и стыденькие радости подрастающего поколения, и представления местных обитателей о роскошной жизни, проплывающей мимо в виде сияющего огнями гигантского лайнера, и даже потуги на зло и насилие, рядящиеся в мундиры провинциального фашизма,— все это настолько ничтожно, жалко, слабосильно и, в сущности, смешно, что и в самом деле полностью укладывается как будто бы в формулу трагического героя Достоевского...

Да, жалкое и ничтожное, в сущности, племя; да, формула Великого Инквизитора. Однако — с одной существеннейшей, принципиальной поправкой.

В той любви, которая толкает Инквизитора и его единомышленников на чудовищный, дьявольский, но по-своему трагический путь великой Лжи и Обмана, призванных облегчить жизнь несчастному и слабому человечеству,— действительной, истинной любви к этому человечеству очень мало, хотя и за эту малую ее долю трагический старик удостаивается поцелуя Христа. В любви его куда больше презрения, чем жалости, высокомерной брезгливости, чем сострадания.

«Амаркорд», напротив, весь напоен светом и теплом истинной любви, хотя возможности человеческого рода и не вызывают у Феллини энтузиазма, он ясно видит всю ничтожность и все бессилие его сделать что-нибудь действительно путное из своей же собственной жизни. Слабое, греховное племя, которое и вправду заслуживало бы, наверное, за вратами смерти лишь той пустоты небытия, о которой говорит и которую предназначает для него Великий Инквизитор. Если бы — не Божественное Милосердие. Но оно — *есть*. И потому тот, кто знает его, кто испытал его на себе, таком же по падшей природе своей слабом и греховном существе, как и все, никогда не бросит камень безоговорочного презрительного осуждения в своих собратьев по человеческому роду, никогда не впадет в гордыню высокомерного отсечения себя от них, отторжения их от себя — вопреки великой святоотеческой христианской максиме, требующей отвержения греха, а не грешника. В той глубокой печали, с которой смотрит Феллини на человеческий род и его жалкие потенции, нет тем не менее никакого безоговорочного и высокомерного обличительства, нет того нахмуренного гнева, от которого веет непримиримостью и отвращением. Он смотрит на своих

героев, этих обычных представителей людского племени, как на слабых, греховных, нередко очень злых, очень испорченных, но, в то же время, в сущности, всего лишь заблудших, несчастных, больных *детей*, прозябающих в своем почти неизлечимом без Божественной помощи духовном инфантилизме. Как Бог Саваоф, он смотрит с высоты этой безграничной и всеобнимающей своей милосердной любви на созданный им, но по свободной своей воле выпавший из измерений его божественного Космоса человеческий мир, и в его взгляде — одно лишь сострадание, печаль и прощение. И — ласковая улыбка надежды, ожидания благодарности всякий раз, когда удается заметить в этих больных и слабых детях хоть малейшее проявление добра, любви друг к другу, сочувствия, нежности, благородства, человеческой теплоты... Это, наверное, высшая из всех возможных для религиозного художника духовная позиция и точка зрения, и ясный, чистый, все обнимающий свет мудрости и любви, которым пронизан этот лирический, смешной и печальный, очень горький, в сущности, для нас, людей, фильм,— прямое ее выражение и следствие.

А теперь скажите, положа руку на сердце, есть ли что-либо похожее на эту позицию и эту точку зрения, что-либо напоминающее этот ясный и ровный, хотя и печальный, свет, эту внутреннюю свободу от каких-либо беспокойных претензий и счетов к несчастному и жалкому этому миру, искажающих чистоту милосердия и сострадания к нему в эмоциональном строе тех трех наших фильмов, о которых идет речь в этой статье?

Да ничего подобного. Вся тональность их — совершенно иного звучания. Это тональность жесткая, требовательная, в сущности — обличительная и хотя и не лишенная сострадательности, но не склонная к излишней ей отданности, к эмоциональной размягченности души, настроенной на всепрощающее милосердие. Все три художника, создавшие в своих фильмах горестный и пугающий облик нашего общества, находятся по отношению к нему отнюдь не в ситуации духовной свободы и личностного беспристрастия. Они все — *внутри* него, все — в страстных спорах, счетах и претензиях к нему, в требовательной и жесткой к нему обращенности. Даже Говорухин, хорошо понимающий, что страну до ее нынешнего состояния довели те преступники, которые семьдесят лет находились у власти, отнюдь не склонен тем не менее к особому снисхождению по отношению к обществу, оказавшемуся как бы жертвой этих преступников,— облик этой жертвы явно вызывает у него не только сострадание и жалость, но и осуждение, отвержение, даже брезгливость. Да и Лунгин, при всей акцентированной сентиментальности, нужной ему для мелодраматического обрамления сюжета, на самом деле весьма несочувственно, я бы сказал даже — с некой холодной пристальностью всматривается в своих героев. Я не говорю уж о фильме Муратовой, о тех самых страшных его кадрах, где мы видим грязных, дрожащих, воющих и уже отчаявшихся даже выть и о чем-то просить, на что-то надеяться несчастных собак, которые смотрят на нас из-за решетки живодерни. В их глаза невозможно смотреть, и тот нестерпимый, выходящий за пределы человеческих возможностей сострадательный ужас, что охватывает нас в эти минуты, специально, с рассчитанной жестокостью длящийся по воле режиссера, неотделим от столь же нестерпимой, страшной ненависти, гнева, отвращения и брезгливости, что вспыхивают в вас в этот момент по отношению к обществу, способному на такую обыденную и узаконенную жестокость к своим меньшим, абсолютно беззащитным перед нами братьям.

В чем же дело? Почему так резко разнятся по всему своему эмоциональному строю, по самому освещению того «человеческого материала», к которому они обращены, «Амаркорд» Феллини и фильмы трех наших режиссеров, хотя «материал» этот как будто бы весьма близкого достоинства и в одинаковой степени не способен радовать сердце? Почему в одном случае общий колорит все-таки мягкий и светлый, а в другом — суровый, жесткий, и представить себе героев Муратовой или Лунгина освещенными хотя бы отсветом той улыбки, с которой смотрит на своих героев Феллини, так же невозможно, как вообразить героев «Амаркорда» на экране, от которого веет неулыбчивой, нахмуренной суровостью, осуждением и даже обличительством?.. Неужели тот же таксист Лунгина, сонно-одурелая или униженно-озлобленная толпа у Муратовой и Говорухина менее достойны хотя бы чуточки смягчающего юмора, чем ничтожно-нелепые провинциальные фашисты или дурацкие аристократы Феллини? Что — просто не хватает нашим режиссерам той высоты религиозного чувства, той его разрешающей и очищающей способности, что так органична для Феллини? Но разве человеческая убогость, жалкость, глубинная душевная искаженность, как бы ни были неприглядны и даже страшны их проявления, способны вызвать чувство сострадания и жалости лишь в истинно религиозных художнических душах?..

Нет, дело тут, очевидно, в чем-то другом. И смысл этого «другого» перестает быть загадкой, как только в какой-то момент вы отдаете себе отчет в том, что хотя по человеческому своему «материалу» персонажи Феллини и наших режиссеров и в самом деле не так уж далеки друг от друга, однако в том-то и дело, что ведь Феллини и наши режиссеры рассказывают нам о совершенно разных вещах, и чувства их имеют совершенно разную, если можно так выразиться, адресованность. А потому и внутренний диалог свой они тоже ведут с совершенно разными, в сущности, адресатами.

В самом деле: Феллини рассказывает об итальянском обществе тридцатых годов и очень внимателен ко всем специфическим чертам и приметам этого общества. Но ведь интересует его совсем не итальянское общество. Вернее, не только и не именно итальянское. И даже не само по себе общество вообще — как некое социальное целое, как тот или иной тип социальной организации. Он всматривается, как уже сказано, в человека вообще, в его природу, в ее возможности,

а потому и обращенность его чувств, их наполненность имеют отнюдь не гражданский, а *экзистенциально-философский* характер, хотя в их формировании и провоцировании участвует — среди других человеческих — множество реалий также и отчетливо выраженного гражданского — и даже именно итальянски-гражданского — толка...

Но ведь К. Муратову, П. Лунгина, С. Говорухина занимает отнюдь не человеческий род вообще, не свойства и возможности человеческой природы в целом. Их интересует именно *общество*. И общество не только совершенно конкретное, но и в совершенно определенном, конкретном состоянии. Их интересует наше, советское — даже, точнее, наше *русское советское общество* на стадии его сегодняшнего существования, а потому и диалог свой они ведут со зрителем, предстающим перед ними в совсем другом качестве, чем зритель у Феллини.

Их позиция в фильмах не экзистенциально-философская, как у Феллини, а всецело *гражданская*, а потому по-гражданski же и требовательная, страстная, адресованная именно к гражданским чувствам зрителя. И прежде всего — к его стыду, к чувству его национально-гражданской гордости, которое не может мучительно не страдать, видя в зеркале кино такое падение, такое униженное и страшное состояние своей страны, сам облик которой сплошь и рядом становится пугающей, вызывающей оторопь л и ч и н о й.

Феллини говорит о *людях* и обращает свою печальную, но и прощающую улыбку к *человеческому роду* в целом.

Наши же режиссеры говорят прежде всего о своем униженном, теряющем свое достоинство н а р о д е, и обращаются тоже прежде всего именно к нему — к людям, его составляющим, к своим с о г р а ж д а н а м. Какие уж тут улыбки! Тут пафос страсти пламенного гражданского призыва и обличения, тут стыд и негодование, тут нелицеприятный разговор со всей нацией, со всем обществом...

И вот это, может быть, и есть самое удивительное в этих картинах. Ибо как в самом деле не поразиться тому, что после стольких лет дискредитации всякой общественности, превращения ее в фарс, в грубое лицедейство, в форму идеологического обслуживания тюремно-казарменного устройства режима у нашего искусства не отбит еще к ней вкус и по-прежнему владеет им традиционный для русской культуры гражданский пафос?! Что это — все еще неизжитая инерция типично интеллигентской русской традиции, отголосок старого русского интеллигентского народничества, давно уже, кажется, обреченного в своем извечном прекраснодушии на умирание?..

Но не слишком ли много живой, неподдельной, острой страсти для всего лишь умозрительно-иллюзорного прекраснодушия, для всего лишь умирающей, всего лишь по инерции живущей традиции?.. Что же касается сугубо интеллигентской как будто бы природы всей этой гражданственности, то вот вам только один повод для сопоставлений и размышлений на этот счет, только одно свидетельство. Зато — принадлежащее такому наблюдателю и знатоку нашей народной жизни, как Анатолий Стреляный, один из самых замечательных наших публицистов, очеркистов-«деревенщиков», статьи и рассказы которого послужат когда-нибудь для наших потомков таким же, я уверен, первозначимым источником реальных и целостных представлений о нашем времени, каким в отношении XIX века являются для нас сегодня, например, «Письма из деревни» Н. Энгельгардта или очерки Глеба Успенского.

Есть у А. Стреляного превосходный цикл очерков «Мирное лето», представляющий собой как бы своего рода очерковую панораму нашей жизни в течение лета 1989 года. И вот в одном из рассказов этого цикла — «Большие дети» — автор повествует о таком своем весьма любопытном и очень значимом наблюдении. «Есть два убеждения,— пишет он,— по поводу которых во время своих поездок последнего времени я не встретил в нашем народе разногласий. Все, как один, согласны, что спекуляция — это плохо. И все считают, что ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕСТЬ.

Что спекуляция — это не плохо и не хорошо, а совершенно необходимо, понимает в стране человек двенадцать... Но это — особый разговор... А вот что ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕСТЬ, с этим действительно согласны, кажется, все без исключения. Чем угнетал съезд народных депутатов, а потом и то, что они видели в Верховном Совете? Тем, что там ничего не делалось и не сделалось? Конечно. Но к этому давно привыкли. К чему, как ни странно, не привыкли, так это к бесстыдству...»

И далее, рассказывая о своих несчетных встречах и разговорах, А. Стреляный свидетельствует: о чем бы ни зашел разговор, как только касался он любого лица, тот или иной поступок или поведение которого отдавали непрямотой, лукавством, фальшью, будь это хитроумное политическое маневрирование Горбачева на съезде, ловкое отмежевание Лигачева от ранее поддержанной им Н. Андреевой или обливание помоями Брежнева каким-нибудь вчерашним его прихлебателем, рефрен всегда следовал один и тот же, неизменный: «Ну, где же твоя совесть? Ну, за кого же ты нас считаешь? Ну, нельзя же так!»

И «это говорят,— замечает А. Стреляный,— и сталинисты, и несталинисты, и те, кому на все наплевать, и те, кому не на все,— до сих пор говорят, их это саднит... Весь народ, все его классы и слои... даже партийные работники, здесь полное единство партии и народа, я говорю это без всякого юмора»...

Тот, кто внимателен к живой жизни, окружающей его, безусловно согласится в этом наблюдении с А. Стреляным. А это значит, что и с тем настроением, которое выразилось в фильмах Говорухина, Муратовой и Лунгина, дело обстоит тоже совсем не так камерно и индивидуально, как могло бы показаться. Вдумайтесь: ведь что же такое и выражает собою этот общий глас народа, если не то, что в нем — вопреки всему, что, казалось бы, должно было народ наш от этого

отвратить,— тоже все еще жива, и остро жива, та самая *гражданская страсть*, и требовательность, и непримиримость, что определили собою, в частности, эмоциональный колорит и таких фильмов, как «Астенический синдром», «Такси-блюз» и «Так жить нельзя»!..

Нет, не интеллигентское прекраснодушие и не простая инерция старой привычки владеют авторами этих фильмов. Непримиримо суровым, жестко требовательным гражданским пафосом своих картин они выразили широчайшее, подлинно народное настроение, глубочайшую черту современного народного сознания, живое и страстное состояние живой народной души...

И вот это и внушает надежду.

7

В каком смысле и почему?

В том, самом прямом, что пока такое настроение в народе живо, у нас действительно остается еще вполне реальный шанс и на наше национальное спасение и возрождение.

Конечно, сам по себе феномен этого общенародного настроения, этой не умершей еще в народе гражданственности,— феномен сложный, генетически противоречивый, и я вполне понимаю А. Стреляного, когда он говорит, что в народном требовании СОВЕСТИ, в упорном ожидании ее от тех, кто стоит у власти, есть загадка. И частичная разгадка этой загадки состоит, несомненно, в том, что в какой-то мере — это и результат многодесятилетнего воспитания народа в духе коллективизма, в духе социалистической гражданственности и тому подобное. Ведь людям столько лет вдалбливали, что именно гражданские добродетели являются высшими человеческими добродетелями! Вот они и привыкли именно этой меркой — меркой гражданской совести — мерить поведение тех, кто это им вдалбливал. И если раньше это было для наших властителей довольно безопасно, потому что в атмосфере закрытого общества идеологически одураченный народ, не знавший, что творится за закрытыми дверями власти, не так уж трудно было дурачить и дальше, то теперь, при свете даже той зачаточной гласности, которая у нас есть, многое стало на виду, и ситуация принципиально изменилась. И наша беда стала парадоксальным образом оборачиваться к нам надеждой на наше спасение, ибо если и сегодня еще в этом упорном нашем требовании СОВЕСТИ мы по-прежнему остаемся во многом еще, как верно замечает А. Стреляный, *большими детьми*, то все же сегодня это уже не только наша слабость.

Ведь почему, собственно, даже в одураченном народе, жившем в ситуации совершенно фальшивой, иллюзорной гражданственности, образовалась все-таки устойчивая вера в то, что ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕСТЬ?

Да потому, что всякая ложь может держаться только на эксплуатации правды, только прикидываясь правдой, и недаром даже самые жестокие тоталитарные режимы так неутомимо заботятся о том, чтобы выглядеть гуманными, честными, справедливыми. Справедливость, честь, совесть!.. Эти великие слова как раз и обозначают ведь те самые простейшие, наипервичные понятия, с признания которых вполне может начинаться приобщение человеческой души к миру фундаментальному *нравственных абсолютов*, и вот почему даже атеист Стреляный, размышляя над тем, почему, когда доходит до дела, все, буквально все одинаково понимают, что значит честь, что значит совесть, замечает:

«Верующий сказал бы: это свидетельствует о том, что существует Бог, что существует он в душе каждого человека, без всякого исключения. Может, так оно и есть...»

Конечно, максима справедливости — это еще не заповедь христианской любви. Но когда она обретает реальность и начинает работать, когда она оживает в душе народа непосредственным, страстным запросом и ожиданием, энергия и сила ее могут способствовать и тому, чтобы в обществе создались, наконец, такие условия, при которых и заповедь любви начнет становиться общественной реальностью. И эта перспектива и возможность вполне реальны именно потому, что в упорном желании народа видеть в своих руководителях людей СОВЕСТИ есть, как опять-таки очень точно и верно подмечает Стреляный, не только что-то беспомощное, детское, но и нечто грозное. Он прав: «С народом шутки плохи. С народом вообще шутить нельзя. В делах чести народ шуток не понимает... Все тут чувствуют и рассуждают по-детски, ничего не хотят знать и понимать, никаких смягчающих обстоятельств»...

И из этого вытекает несколько очень важных следствий.

Во-первых, то, что пока такое народное настроение, такая готовность и жажда народа судить ПО СОВЕСТИ все еще живы, все еще не развеяны и не похоронены развращающим зрелищем продолжающегося и все растущего политического бесстыдства наших «перестроечников», которое может, в конце концов, вызвать уже в обществе и полную атрофию всяких гражданских чувств,— пока это так, все еще остается, повторяю, реальный шанс и на наше гражданское, политическое, экономическое, а в конце концов и духовное возрождение. Ибо остается возможность для тех людей, в которых общество поверит как в людей порядочных, честных, прямых, людей с совестью, получить победную поддержку народа на выборах. А если это произойдет и к власти придут, наконец, люди действительно честные, порядочные, совесть которых освободит, наконец, народ от того удручающего политического бесстыдства, того беспардонного, лживого политиканства, которое сегодня он наблюдает на всех уровнях нашей президентской системы,— если это произойдет, то и доверие между народом и властью возникнет, и гражданский климат в стране начнет улучшаться, и вера в законы будет, и распадение общества приостановится.

Конечно, оно произойдет только тогда, когда осуществится то *духовное* возрождение народа, без которого и народ — еще не народ, а населе-

ние, не национальная человеческая общность, объединенная каким-то духовным единством, а племенная одноязыкая орда, отличающая себя от других разве лишь по крови и языку. Только духовное выздоровление может стать основой действительного, надежного национально-государственного его упрочения и расцвета,— в том числе и гражданского. Эта истина очевидна и неизменна.

Но если при абстрактном к ней подходе может казаться, что коренная и несомненная эта закономерность как бы предполагает и соответствующую *этапность*, то наша реальная сегодняшняя жизнь все очевиднее обнаруживает иную, куда более реальную и, к счастью, обнадеживающую перспективу. Ибо, как я уже сказал, рассчитывать, что в условиях нынешнего экономического, политического и гражданского распада общества именно духовное возрождение народа может и должно приостановить этот процесс, может и должно явиться *началом и стимулом* его гражданского возрождения (в качестве как бы непременного *предварительного* для этого условия) — думать так было бы, конечно же, чистой утопией. Работа по духовному возрождению народа должна, конечно, вестись изначально и непрерывно. Но реальное *осуществление* этой задачи — это никак, конечно, не начало, а именно завершение или, по крайней мере, достаточно далекая стадия предстоящего нам исторического процесса. И вот она уже может оказаться действительно отнюдь не утопической мечтой — именно потому, что есть у нас, к счастью, реальные основания, что гражданское становление общества, хотя бы начальное, может произойти много раньше того, как произойдет духовное возрождение народа, и само может оказаться как раз *условием такого возрождения*.

Это основание — именно в том народном ожидании и требовании верховенства СОВЕСТИ в наших гражданских делах, которое своеобразным отголоском определило собою и внутренний строй таких трех разных фильмов, как «Астенический синдром» К. Муратовой, «Такси-блюз» П. Лунгина и «Так жить нельзя» С. Говорухина. И пока, повторяю еще раз, это ожидание и требование не угасло, еще не все для нас потеряно. Но из этого вытекает, во-вторых, и то важнейшее следствие, что, стало быть, спасение наше возможно лишь при том условии, что это народное ожидание и требование будет удовлетворено, а удовлетворено оно будет лишь в том случае, если наша демократия сумеет не обмануть это ожидание и требование. Вот почему можно сказать, что сегодня все, в конце концов, зависит именно от того, насколько решительно, твердо и бескомпромиссно встанет наша сегодняшняя демократическая общественность на путь совести и правды, научится жить действительно не по лжи, откажется от всякого политиканства, разовьет в себе способность решительно и всенародно очищаться от всех, кто греет около нее руки и обделывает свои корыстные делишки.

Или в народе найдутся такие силы и образуется та необходимая «критическая масса» людей порядочных, честных и совестливых, которая завоюет доверие народа и обеспечит его поддержку политических, экономических и социальных программ демократии или от надежд на наше национальное спасение и возрождение в течение какого-то обозримого исторического будущего нам придется отказаться...

●

Да, духовно национальное спасение и возрождение нашего народа произойдет и обретет действительно надежный, устойчивый характер только тогда, когда в его составе появится достаточное количество личностей, духовный авторитет, деятельность и влияние которых обеспечит то, что совокупное его лицо обретет способность становиться не только в определяющие мгновения его исторической жизни, но и в каждодневной жизни также и подлинным ЛИКОМ — просветленным, ясным.

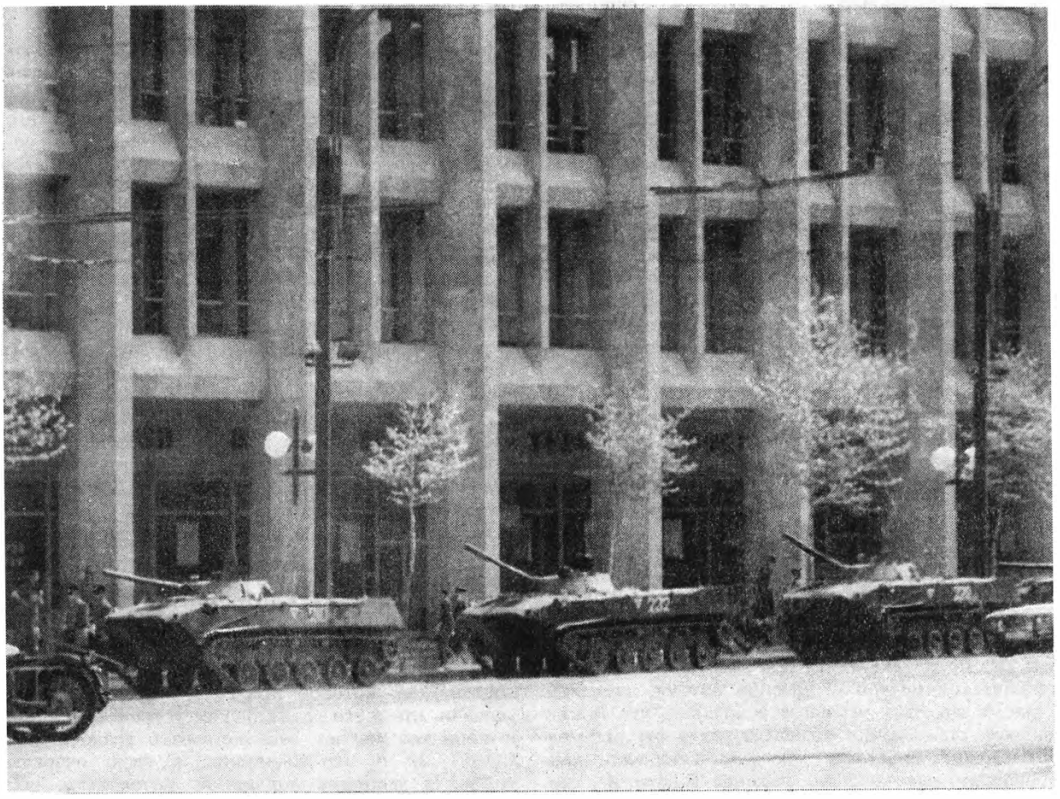
Но ведь чтобы оно обрело такую способность, оно и должно быть именно ЛИЦОМ. Достойным лицом цивилизованного гражданского человеческого общества, выражение которого все больше будет избавляться от гримас.

Обретение такого лица сегодня возможно лишь через обретение обществом того гражданского достоинства, которое придет к нему лишь при условии, что в его гражданском устройстве, делах и порядках начнет господствовать гражданская СОВЕСТЬ. А это возможно, в свою очередь, только в условиях подлинной *демократии*, ибо только демократия с ее гласностью, открытостью и решающей значимостью избирательной воли народа способна обеспечить гражданской совести народа *действительные права*.

Да, чтобы стать такой демократией, нам предстоит пройти путь настолько трудный, что неизвестно еще, как мы с этим справимся. И это особая тема.

Но то, что именно *гражданское демократическое становление России стало сегодня непременным предварительным условием и ее духовно-национального спасения и возрождения* — это истина очевидная, которая является сегодня уже не какой-то логически вычисляемой умозрительностью, а живой очевидностью вполне реального общенародного настроения и требования.

И — живой очевидностью той уже образующейся, уже становящейся вопреки всем трудностям Демократической России, которая не только на многомиллионных митингах или около избирательных урн, но и в каждодневном упрямом упрочении своей отнюдь уже не беспомощной, но все более грозной «детской» неуступчивости и непримиримости в делах гражданской чести начинает формировать свое ГРАЖДАНСКОЕ ЛИЦО...



**Тбилиси.
Апрель 89-го**

Фото Ю. Роста

Имперский сценарий — действие первое

Мы снова собрались. На этот раз заочно. На журнальной полосе.

Андрей Дмитриевич Сахаров, Галина Старовойтова, Леонид Баткин и я, Юрий Рост. Собрались, чтобы восстановить драматические события в Армении в декабре 1988 года, по следам которых мы шли — группа Сахарова как независимая общественная инициатива и я как корреспондент «Литературной газеты».

Андрея Дмитриевича трагически для всех нас (для *всех*) нет. Но остались его воспоминания и он вновь, как тогда в Степанакерте, Ереване, Спитаке — рядом.

Это он был инициатором поездки в самый горячий и напряженный, как это принято теперь говорить, регион. Сахаров хотел сам посмотреть и вдруг (если найдет достаточно людей, сохранивших здравый смысл) помочь развести беду руками. Он собрал людей, мнение которых учитывал. Были первые дни после землетрясения — катастрофы, которая вопреки нормальной логике обострила отношения между демократическими силами в республике и центром.

Под грохот рушащихся зданий в Спитаке и Ленинакане, под треск автоматов и ружей в Карабахе произошло «тихое» событие, которое можно назвать одной из важнейших вех периода «перестройки» — первые политические аресты членов общества «Карабах» — людей, исповедовавших ненасильственный метод борьбы с партийным империализмом. Тогда многие были склонны оценивать это событие как рудимент прошлой политики, однако многие мои спутники увидели в подавлении «Карабаха» ростки ближайшего будущего. Военно-партийный режим в новой, как нам казалось, ситуации застолбил свои права на жизнь. Потом появились новые «столбы» — Тбилиси, Баку, Вильнюс, Рига...

Заметки, которые вы прочтете, частью написаны по свежим следам, частью теперь. Они интересны сегодня, как документ, рассказывающий о начале активного наступления на свободомыслие уже в наше время. И о преодолении, которое стало частью нашей жизни. И понадобится нам в ближайшем будущем.

Юрий Рост. В густом тумане на малой высоте мы летели над железной дорогой, которую во многих местах перегородили осыпи. И грузовые составы, сошедшие с рельс. Потом и железную дорогу стало невозможно различить. Тем не менее, сели благополучно.

Нас заметили только на земле, и испуганный диспетчер попросил пилотов перекатить метров на сто дальше, поскольку мы оказались под хвостом у «Туполева-154» — самолета Генерального секретаря Михаила Горбачева. Но и удалившись на указанное расстояние, мы остались внутри оцепления, охранявшего правительственный лайнер.

Едва мы выбрались из вертолета, как подъехал большой «Икарус». На переднем сиденье сидел Горбачев. Лицо его было озабочено и печально. Он с женой вышли на плиты аэродрома. За ними Николай Рыжков, министры, генералы. Они остановились у трапа и долго не заходили в самолет, обсуждая что-то. Потом все поднялись в Ту-154.

Думаю, что эмоционально это был один из самых тяжелых дней пребывания Горбачева у власти. Тут не было подставных «случайных» прохожих, которых из опасения за свою карьеру готовят дальновидные секретари обкомов во время посещения их региона первым лицом. И возили его не по заранее вымытым и отутюженным улицам, и вопросы, которые задавали, требовали конкретного решения.

На одной из улиц автобус остановился, и неизвестный человек, желая показать степень несчастья, обрушившегося на Ленинакан, попросил толпу раздвинуться. Охрана, глянувшая раньше Горбачева, посоветовала не смотреть, но он посмотрел на тротуар, где рядом со школой были выложены аккуратными рядами десятки детских трупов.

— Он был потрясен,— рассказывал мне фотограф из «Известий» Володя Сварцевич.— Даже растерян. Я видел его во время многих визитов. Обычно он хорошо осваивается и затевает свои беседы. Спорит, апеллирует к зрителям. А тут он был на себя не похож. Он ничего не говорил. Только кивал и слушал.

Галина Старовойтова. Как известно, комитет «Карабах» был арестован 10 декабря 1988 года. Это был знаменательный день — два дня прошло после землетрясения, в Армении был объявлен всенарод-

ный траур, это был день, признанный всемирной общественностью как Всемирный день защиты прав человека, и, наконец, это был последний день пребывания в Армении М. С. Горбачева, прервавшего свой визит в Соединенные Штаты в связи с землетрясением.

Ю. Рост. Военным нарядом были задержаны двадцать два человека, которые устроили демонстрацию у здания Союза писателей, где располагался штаб помощи пострадавшим, организованный обществом «Карабах». Военный комендант привлек демонстрантов к административному задержанию на пять суток. По словам заместителя министра внутренних дел В. Ерина, эти люди — среди них были лидеры «Карабаха» — оскорбляли военнослужащих.

Ерин сообщил корреспонденту ТАСС:

— В свое время активисты «Карабаха», играя на национальных чувствах, а порой и на отдельных просчетах, допущенных прежним руководством республики, снискали определенную популярность в массах. Теперь же, когда на землю Армении пришло огромное людское горе, они своей экстремистской деятельностью окончательно дискредитировали себя. Настала пора использовать и политическую, и административную власть, чтобы остановить этих зарвавшихся авантюристов.

Г. Старовойтова. Арестованы они были в здании Союза писателей, которое в это время стало штабом помощи пострадавшим. Люди приходили к этому дому, несли одежду, продовольствие, спрашивали, чем помочь, пытались выяснить судьбу своих близких. На ступенях все время сидели, стояли люди, несколько десятков человек.

Андрей Дмитриевич Сахаров[1]. Только комитет не забыл о деревнях и стал посылать туда помощь. Характерен рассказ одного из моих сослуживцев. Его сын, студент, вместе со многими товарищами с первых часов трагедии добивался возможности выехать в Армению для участия в спасательных работах, но им отвечали, что там и так слишком много народу (то же самое происходило в Харькове, Киеве и других городах). Они связались с членами комитета в Москве и все же выехали с их помощью. Получилось так, что сын моего сослуживца лично участвовал в спасении трех засыпанных в Спитаке; участники спасательных работ все с горечью говорили, что если бы помощь была организована раньше и правильно, тысячи людей были бы спасены.

Ю. Рост. Комитет «Карабах» работал с первых минут, едва узнали о землетрясении. Организовали штаб в здании Союза писателей и расценивали себя как помощников правительственной комиссии. В условиях паники и неразберихи они взяли на себя функции координаторов да и руками работали неплохо. У них были штабы в Спитаке, Ленинакане. В доступные сельские районы они направляли своих активистов. Комитет формировал команды с техникой и отправлял по 60—70 автобусов с людьми в район бедствия.

Налажен был и вывоз людей, и размещение их по семьям. Тысячи людей записывались в списки желающих принять пострадавших и усыновить детей-сирот.

Слухи в Ереване не прекращались. И комитетчики, пользуясь авторитетом, взяли на себя труд втолковывать людям абсурдность подозрений в искусственных причинах землетрясения, абсурдность домыслов о вывозе детей.

Они же установили контроль над прибывающими группами, обратились к французскому шансонье Шарлю Азнавуру и губернатору Дж. Токмеджяну (армянам по происхождению) с просьбой взять на себя организацию европейского и американского фондов помощи и их целевого использования. Теперь эти средства должны были попасть к армянам, минуя государственное распределение. Надо думать, власти были не очень довольны таким решением.

10 декабря несколько сотен женщин, желающих усыновить детей-сирот, собрались у Дома писателей, где был штаб «Карабаха». Их напугала неверно понятая готовность людей вне Армении, в случае необходимости, приютить детей.

Ашот Манучарян с разрешения коменданта района выступил перед собравшимися и сказал, что мы благодарны всем за порыв, но предполагается всех сирот оставить в Армении, в специальном детском саду. А вопрос об усыновлении будем решать после спасательных работ.

Люди разошлись успокоенные. Но через два часа появились новые. Комендант района приказал их отправить по домам. Манучарян упросил сделать это через полчаса, поскольку люди ждали прибытия автобусов из зоны землетрясения.

Через полчаса комендант района пришел вместе с новым комендантом города генералом Макашовым. Они потребовали: всем немедленно разойтись. А члены комитета занимались организацией спасательных работ.

— Товарищи офицеры, готовы ли вы выполнить свой долг? — торжественно спросил генерал Макашов.

— Готовы.

Взяли под стражу всех членов комитета, которые находились в комнате.

Алексей Акопян в это время был по соседству, сортировал одежду. Он вошел в штабную комнату, когда арестованных выводили под охраной.

— Что? Комитет «Карабах» берут? — спросил он.

— Да, а что тебе надо?

---

[1] Рассказ А. Д. Сахарова представляет собой выдержки из его книги «Горький, Москва, далее везде», которые были любезно предоставлены редакции Е. Г. Боннэр. Полностью книга печатается в журнале «Знамя».

— Я тоже член комитета.

— Тогда и ты иди сюда.

Г. Старовойтова. Все вышли на ступени здания. В это время снаружи подошел Амбарцум Галстян. Он рассказывал мне, что впечатление было величественное. Впереди шел Левон Тер-Петросян, высокий, красивый, с гордо поднятой головой, руки за спину, по бокам два автоматчика.

Ю. Рост. «Что происходит?» — спросил Амбарцум Вазгена Манукяна по-армянски. И Вазген тоже по-армянски, чтобы не поняла охрана, бросил:

— Проваливай отсюда.

Галстян подумал, что к ним применили меру административного задержания.

— Что я буду с ними три дня сидеть. Пусть отдохнут, а я поработаю.

Г. Старовойтова. Через три дня Амбарцум звонил мне, уже находясь в подполье, и рассказывал подробности ареста. Мы в Москве были ошеломлены этим событием и очень волновались, не зная деталей. Так случилось, что многие члены комитета «Карабах» — или мои друзья, или коллеги по работе, этнографы, социологи. Амбарцум Галстян заканчивал аспирантуру в нашем институте. Алику Акопяну я давала отзыв на его диссертацию. Левон Тер-Петросян защищал докторскую в Ленинградском институте востоковедения, с которым я была тесно связана по работе.

Некоторые из них были уже народными депутатами СССР. Ашот Манучарян при аресте показал Макашову свое депутатское удостоверение члена Верховного Совета Армении. Макашов взял это удостоверение и положил себе в карман со словами: «А это, чтобы ты им не бравировал». Но через несколько часов Ашота пришлось все-таки отпустить. Хачика Стомболцяна взяли в правлении общества «Гатутюн» («Милосердие»), где он занимался распределением международной помощи. Его пытались обвинить в коррупции, в том, что он на свое имя получал средства, предназначенные для пострадавших. За границей хорошо знали Стомболцяна, доверяли ему, и часто помощь шла на его имя. У этого «коррумпированного элемента» не было даже теплой одежды, чтобы не замерзнуть в тюрьме, а первое время они сидели в очень холодном Советашенском изоляторе под Ереваном. Кстати, Хачик тоже депутат Верховного Совета.

Ю. Рост. «До ареста,— писал из подполья Манучарян,— мы весьма конструктивно сотрудничали с бывшим руководством комендатуры города во избежание возможных осложнений вследствие отдельных происшествий. Мы призывали население к сдержанности, а если поступали жалобы на действия войск, то представляли их в комендатуру, а там оперативно с этим разбирались. Все это позволяло в той непростой обстановке избежать серьезных инцидентов. Я считал, что положение еще можно спасти, согласился выступить по телевидению и призвать население к спокойствию, оценив происшедшее, как недоразумение, если все задержанные в Доме писателей будут отпущены. Получив соответствующие заверения и придя к согласию, я тепло распрощался с ними и ушел, будучи уверен, что инцидент исчерпан».

На следующий день, 11 декабря, он узнал, что задержанные арестованы. Ему звонили, узнавали подробности. Он согласился встретиться с людьми, чтобы рассказать об обстоятельствах ареста.

У памятника Туманян его ждало около тысячи человек, оцепленных войсками. Манучарян решил их провести через центр города, чтобы дать людям знать о происшедшем. У кинотеатра «Россия» дорогу перекрыли танки, они двинулись к кинотеатру «Гаяне», где заместитель коменданта города сообщил, что с задержанными членами комитета разбирается московская прокуратура, и предупредил, что в случае если толпа не рассеется — ее разгонят. Но толпа не рассеялась. Шествие продолжалось. У железнодорожного моста на демонстрантов напали солдаты. Люди отбежали к скверу и стали бросать в военных камни. Началось побоище.

Г. Старовойтова. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней после землетрясения и народ был еще в шоке, на следующий день после ареста — 11 декабря — в Ереване прошла многотысячная демонстрация протеста. Были там и еще не арестованные члены комитета «Карабах». На демонстрантов пустили танки, солдаты стреляли в толпу, было много раненых. Рядом с площадью проходила железнодорожная насыпь, люди брали оттуда гравий и бросали в тех, кто стрелял, применял дубинки. Один из танков был захвачен народом. Стали избивать солдат. Тогда Амбарцум Галстян вскочил на танк, схватил одного молодого раненого солдата и, закрывая его собой, стал кричать, чтобы их не трогали, что это мальчишки, которые выполняют приказ, и они не виноваты. Этим он как-то успокоил народ и защитил солдата, прижимая его к себе. Аветис Ишханян, депутат Верховного Совета Армении, приезжал в Москву, показывал мне след от пули, оставшийся после этой демонстрации. Он увидел офицера, который прицелился ему в голову, но успел отклониться, и пуля прошла по касательной от виска к затылку. После этих драматических событий пошла волна арестов, и раненые боялись обращаться к врачам. Демонстрация была разогнана, но армяне показали высокую силу сопротивления режиму.

Ю. Рост. Страна узнала о «беспорядках» в Армении из интервью Горбачева. Затем и газеты обвинили комитет «Карабах» во многих грехах, ему не присущих.

«Ложь,— заявлял Манучарян,— что активисты движения не участвуют в спасательных работах в районах землетрясения... Подавляющее большинство активистов находится сейчас в районах бедствия, ни один из них не покинет своего места до окончания спасательных работ. Ложь, что движение организовало какие-либо митинги после 7 декабря. Ложь, что комитет хоть как-то причастен к распространению панических слухов. Они — инерция страха, и комитет, насколько это было в его силах, наводил справки и успокаивал людей. Ложь, что комитет рвется к власти,— есть внутреннее решение: любой

член комитета, принявший какую-либо должность, механически теряет моральное право в нем состоять. Ложь, что комитет против вывоза пострадавших на отдых в санатории и лечебницы страны».

Однако в газетах появились многочисленные комментарии, отражающие только одну, *генеральную* точку зрения. А демонстрация вызвала раздражение у телезрителя, сидящего на диване, еще и потому, что вновь возникла тема Нагорного Карабаха. Вот — бросили свои неотложные дела, приехали бескорыстно помогать армянам, а лидеры неформального движения в час беды вместо того, чтобы откапывать живых и мертвых, разгребать завалы и ловить мародеров, заявляли, что те искренние и немалые усилия, которые предприняла страна,— фарисейство...

А. Д. Сахаров. Поездка Горбачева в район бедствия не прошла гладко. Ему пришлось выслушать много упреков от несчастных, доведенных до последней степени горя и отчаяния людей, которым уже больше нечего было терять. Он, возможно, считал, что трагедия землетрясения снимет карабахский вопрос, но этого, конечно, не произошло. К сожалению, реакция Горбачева была слишком раздраженной (я бы даже сказал — инфантильно-обидчивой) и недостаточно тактичной в этих трагических обстоятельствах. Он раздраженно говорил о каких-то бородачах, но борода в Армении — знак горя. Сразу после его отъезда были арестованы члены комитета «Карабах». Их арест вызвал огромное волнение и возмущение во всей Армении (даже у тех, кто не согласен с их программой).

Г. Старовойтова. После арестов те, кто остались на свободе, не представляли себе всей серьезности положения. Разговаривая с Амбарцумом Галстяном, я поняла, что он думает — арест на три-четыре дня, и мне с трудом удалось убедить его к концу разговора, что телефон наверняка прослушивается и нужно уходить из квартиры. Буквально через двадцать минут после его ухода в квартиру, где жили его старые друзья, далекие от политики люди, ворвались вооруженные солдаты и сделали обыск. Таким образом выяснилось, что мой телефон тоже прослушивается, и, зная мои дружеские связи в Армении, через мой телефон могут выйти на скрывающихся членов комитета, которые будут мне звонить. Я была очень встревожена и, не откладывая, поехала к Андрею Дмитриевичу Сахарову. Он тоже был серьезно обеспокоен всем происходящим, звонил и разговаривал с разными должностными лицами, с Чебриковым, с Александром Яковлевым. Все они давали неопределенные ответы, повторяли одну и ту же формулировку — националисты, экстремисты. Мы договорились с Сахаровым о совместных действиях.

Когда мы прилетели в Ереван, то сразу же попытались добиться разрешения на встречу с арестованными. Но Сурен Арутюнян, секретарь ЦК компартии Армении, такого разрешения не дал. Тогда уже было известно, что и он информировал Горбачева об «экстремистских, националистических устремлениях комитета «Карабах». Естественно, сделал он это, когда почувствовал, что его власть, власть партии, зашаталась. Нас не допустили к арестованным, более того, жене Левона Тер-Петросяна не позволили передать ему теплый свитер, хотя он сидел в камере, где температура была плюс семь. Тогда мы решили устроить встречу Сахарова с теми, кто находился в подполье. Я пошла на разведку. Это была детективная история, которая требует отдельного описания в книге о способах борьбы с инакомыслием в условиях перестройки. Чтобы добраться до явочной квартиры, где был телефон, по которому велись переговоры о встрече, мы долго старались оторваться от многочисленных «хвостов». С большим трудом нам это удалось сделать, и, когда мы наконец попали в эту квартиру, я удивилась, как быстро армяне, раньше столь безалаберные в вопросах конспирации, перестроились. Опасаясь, что их телефон прослушивается, они его выключили, а переговоры вели по телефону соседки-пенсионерки, пожилой одинокой женщины. Ее никак нельзя было заподозрить в связях с Госбезопасностью. И по этому телефону, шнур которого протянули под дверью, говорилось всего несколько слов, например: «выезжаем» или «начинаем в восемь». Я поняла, что Сахарову будет трудно уйти от слежки, все-таки фигура он слишком заметная. На эту встречу мы решили пойти вместе с Леонидом Баткиным. Мы пришли к Андрею Дмитриевичу, рассказали о слежке. Он сказал: «Хорошо, отправляйтесь, я вас жду». Собственно в этот момент мы тоже рисковали быть арестованными. Думаю, только авторитет Сахарова, его имя и наша официальная миссия помешали КГБ это сделать.

А. Д. Сахаров. На заседании Академии в Ереване все говорили о недопустимости ареста членов комитета «Карабах», о том, что их немедленное освобождение во многом будет способствовать снятию напряжения в стране. Очень хорошо и эмоционально выступила Сильва Капутикян, армянская поэтесса. Говорили о необходимости закрытия АЭС, о сейсмической опасности в Ереване. В конце собрания меня провели в заднюю комнату, где я имел возможность встретиться с одним из активных членов комитета «Карабах» Р. Казаряном. Он физик, член-корреспондент Академии, уже немолодой человек. Был арестован вместе со всеми 10 декабря, но затем отпущен с подпиской о невыезде. Через несколько дней после нашего разговора вновь арестован.

Г. Старовойтова. Его освободили, очевидно, из уважения к его возрасту и заслугам, что не помешало его вновь арестовать после того, как он выступил на заседании Академии наук и сказал, что его смущает особое положение и он хотел бы разделить судьбу своих друзей.

А. Д. Сахаров. Казарян особенно убедительно высказался по поводу обвинений в адрес комитета «Карабах», который якобы стремится к захвату власти и отстранению существующих органов власти. «Неужели можно поверить, что мне или другим, имеющим интересную работу и отложившим ее временно в сторону ради интересов нации, может даже прийти в голову мысль добиваться власти?» Баткин и Старовойтова вечером того же дня сумели тайно встретиться с лидерами «Карабаха», находящимися в подполье.

Г. Старовойтова. Мы проделали очень сложный путь, уходя от «хвостов». В одном месте слежка возобновилась, но те, кто сопровождал нас, своей машиной перегородили узкий переулок в Конде, старом районе Еревана. Наконец, мы с Баткиным добрались до нужного места.

Ю. Рост. Я вернулся в Ереван ночью, а утром в гостинице за завтраком застал Сахарова, Галю Старовойтову, Леонида Баткина в окружении молодых людей. Все были оживлены. Что-то важное произошло без меня.

О том, что произошло, рассказала мне Галя Старовойтова. Записываю с ее слов и по ее разрешению.

Гале и Баткину предложили встретиться с Манучаряном. С этого момента был задействован сложный механизм. Баткин, который ранее не был знаком с комитетчиками, остался в номере. Ему не сказали, будут звонить или придут за ним — просто он должен сидеть в номере.

Старовойтова с сопровождающими вышли из гостиницы и пошли по городу. Затем свернули в узкую улицу и обнаружили, что за ними идут три человека. Миновав несколько домов, Галя и ее спутник свернули в подворотню и сразу зашли в подъезд. Когда преследователи вошли во двор, Галя и ее спутники вышли и уперлись — глаза в глаза. После чего те, сделав вид, будто что-то ищут, стали смотреть на окна. Пара вышла чистой, но на следующей улице за ними пристроились другие сопровождающие.

— Это тоже не наши,— сказал спутник.

Проходными дворами они вышли на другую короткую улицу, по обе стороны которой стояли два парня.

— Это уже наши,— сказал спутник Гале, и они вновь нырнули в проходной двор, а затем без хвоста, в сопровождении «своих» зашли в дом и поднялись в квартиру другого активиста. Зная, что телефон прослушивается, один из присутствовавших в квартире спустился на два этажа и дал знать, чтобы гонец отправлялся за Баткиным. Гонцу было дано указание не приводить с собой никого, кроме Леонида Михайловича.

В это время Галя Старовойтова с сопровождающими вышли из промежуточной квартиры и на пустой улице сели в машину с залепленным снегом номером. Они стали ездить по городу, проверяя, нет ли хвоста, затем, убедившись, что нет, пересели в другую машину, куда и подсел Баткин. Машина заехала во двор и остановилась. Слежки не было. После этого выехали на другую улицу и помчались через старый район. В условленном месте ждала машина, которая должна была дать знак. Видимо, за ней был хвост. Потому что, как только поравнялись, встречающий моргнул фарами, и из переулка выскочила «чужая» машина, устремляясь за Галей и Баткиным. Тотчас встречающий выехал на полосу и отрезал преследователей от преследуемых.

Далее, пересев еще раз из машины в машину, они приехали туда, откуда началось путешествие,— в центр города. Без приключений вошли в дом, поднялись на нужный этаж, условно позвонили, и им открыла дверь... женщина, хотя они знали, что Ашот в квартире один.

Потом они увидели двух мужчин и еще одну женщину. Один мужчина вышел к ним: «Гости дорогие! Вы кто? — спросил он Галю. Галя промолчала.— Вы — не армянка...»

— Я русская,— сказала Старовойтова.

— Русские нас поймут. Русские — это не те, кто стрелял в Звартноце, а те, кто помогает нам в нашем горе. Наши друзья. А вы кто? — спросил он Баткина.

— Я еврей.

— О, еврей! Дай я тебя поцелую. Брат! Никуда я вас не отпущу. За стол, хоть на пять минут.

Пришлось сесть за стол с милыми людьми, к которым попали по ошибке. Когда удалось наконец встать, к спутнику Гали подошла жена одного из мужчин и сказала:

— Я вас видела на митинге. Будьте осторожны — мой муж милиционер.

Они вышли на улицу. Оказалось, что Ашот Манучарян ждал их в соседнем доме.

Леонид Баткин. Все шло примерно так, как поведал Рост, только реплика хозяина, звучала более сентенциозно: «Евреи — уже поняли, русские — скоро поймут!»

Действительно, в тот вечер валил снег.

Да так густо, так щедро, будто не с южного ереванского неба. Пастернак описал подобный снегопад с убеленными пешеходами и удивленными растениями, и природа впредь вынуждена довольствоваться подражанием.

В течение целого часа машина, в которой нас везли поначалу, петляла по ночному городу, металась через проходные дворы и переулки. Мы примолкли, поглядывая сквозь заднее стекло и пытаясь разгадать правила игры, но узнавая лишь сугробы и фонари.

Рассказ Юрия Роста о том, как мы с Г. Старовойтовой в декабре 1988 года «спускались в глубокое подполье», не совсем полон и точен. Тут нет вины этого вездесущего и блестящего журналиста. Он записал со слов Гали, а сам эпизод отличался интригой такой же длинной и запутанной, как наша ночная езда.

Ко мне в гостиницу приехал милейший Рафик Казарян, с которым я познакомился накануне благодаря Старовойтовой. Профессор-физик, уже в летах, гораздо старше остальных членов комитета «Карабах», он, возможно, самый импульсивный и открыты среди них. Мы при первой же встрече — по крайней мере, я — почувствовали себя легко и доверительно, как давние друзья. И вот теперь я, сидя в номере, услышал в телефонной трубке вроде бы знакомый голос, назвавшийся «Сашей». (Казарян пояснил потом, что среди всех, кого могла бы знать Старовойтова в Ереване, «Саши» не было, поэтому мы обязаны были догадаться, что это, напротив, Рафик.) Голос обещал приехать «без четверти восемь». Это означало без четверти семь: накануне договорились, что время будем указывать с подвижкой на час, то есть приходить раньше якобы условленного. Но стрелка добралась до начала восьмого, а Казаряна все не было. Галя вышла с кем-то переговорить «на полчаса» — и запропастилась. Снова звонок, и тот же голос, излишне интеллигентный для заговорщика, объяснил, что застрял из-за

снегопада, пришлось повозиться с автомобилем и оставить его, доберется «без четверти девять». Голос добавил, взывая к моей понятливости: «Отсчет времени — прежний». И, слегка поколебавшись, с подозрением: «Надеюсь, вы понимаете, какой это «Саша»...

После этого диалога я лучше понял, почему Рафаэль Казарян был не в силах скрываться в подполье от КГБ. Моя симпатия к нему еще больше укрепилась, но почтение к уровню конспирации «Карабаха» дало трещинку.

Оно, это почтение, однако, вновь сильно возросло после появления немногословного молодого бородача с горящими глазами, который, предложив мне поспешить на некотором расстоянии за ним, предупредил: «Счет времени пошел на минуты». Как назло, в коридоре меня остановил, гостеприимно улыбаясь, работник ЦК, утрясавший бытовые проблемы, связанные с группой Сахарова, и спросил, ждать ли к ужину. И что-то еще уточнял на утро. Я почти побежал потом сквозь снегопад, останавливаясь все же,— снова как назло! — чтобы заглотнуть нитроглицерин. Казарян сперва послушно шел поодаль, потом мы переглянулись, рассмеялись и пошли вместе, безнадежно выпадая из образа.

После таинственных переговоров нашего провожатого на пустынной улице, в двух кварталах от гостиницы с другими как бы случайно встретившимися парнями, такими же чернобородыми и сдержанными, и после того, как мы, переданные одному из парней («Идите за мной, но на расстоянии»), завернули в какой-то двор, где приткнулась машина с потушенными фарами, и я, плюхнувшись на заднее сиденье, с удовлетворением обнаружил там Галю,— мне оставалось лишь, совладав с одышкой, заявить: «Юлиан Семенов дал бы много, чтобы оказаться в такой ситуации».

Но когда спустя час мы попали куда-то не туда, то есть попросту приехали по перепутанному адресу, я опять усомнился, точно ли «Карабах» дорос до итальянских карбонариев. (Все-таки согласитесь, что в нашем отечестве редко свершается что-либо замечательное без характерной и приятной примеси безалаберности, дилетантизма... от всего слишком уж делового и точного нам как-то не по себе.)

Наш проводник постучал в первую попавшуюся соседнюю дверь на этаже и попросил разрешения воспользоваться телефоном.

Далее мы впрямь попали в нужный дом, но комитетчики туда не явились; мы прождали до половины двенадцатого, Казаряна повезли, пока не наступил комендантский час, домой; нас же с Галей усадили в машину, имевшую ночной пропуск, и, только сидя в ней, мы узнали, что едем не в гостиницу, а... к Манучаряну.

Так что встреча с Ашотом состоялась далеко за полночь, в другом месте. Это был немалый риск для «Карабаха» — везти нас на конспиративную квартиру, где Ашот жил у друзей. Что до нас, то разговор о положении дел в Армении и стране стоил того. Молодой школьный учитель оказался заправским политиком, спокойным, приветливым, властным. Он судил очень взвешенно, без тени упрямой узости.

Г. Старовойтова. Говорили мы около часа, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Схема наших рассуждений сводилась к тому, что нужно как-то повлиять на сознание руководства страны, попытаться раскрыть их ошибки, убедить в том, что члены комитета не экстремисты, а наоборот, та сила, которая удерживала народ от экстремистских шагов даже после событий в аэропорту Звартноц, где было избито и покалечено мирное население, после Сумгаита, когда во многом благодаря комитету не была пролита кровь ни азербайджанцев, живущих в Армении, ни русских солдат.

Договорились, что Ашот опишет историю движения, их цели и методы, а мы беремся доставить это в ЦК. Был также разработан план, по которому Ашот должен был, изменив свою внешность, на частных машинах уехать в Тбилиси, а оттуда в Москву, где я должна была его встретить и провести в ЦК. Мы надеялись, что его выслушают, а там уж пусть арестовывают. Мы, конечно, полагали, что они не пойдут на такой скандал. Собирались обращаться во все международные организации. Сахаров нас поддержал. Но Ашота арестовали гораздо раньше.

Л. Баткин. Потом, уже в самолете на обратном пути в Москву, мне пришло кое-что в голову, и я предложил Г. Старовойтовой написать о наших впечатлениях от лидеров комитета и о беседе в подполье — А. Н. Яковлеву. Так мы и сделали тотчас по возвращении. Мы утверждали, что эти люди — демократические интеллигенты, подлинные руководители армянского народа, что нужно не сажать их, а вести политический диалог, причем не может быть и речи о «перестройке» в Армении, о борьбе с «мафией» и прочее без уважительного сотрудничества с «карабахцами». Андрей Дмитриевич охотно передал наше письмо в руки Яковлева, и мы вправе предположить, что А. Н. рассказал о нем Горбачеву.

Тем не менее спустя несколько дней Ашот и остальные были схвачены.

Ю. Рост. Они собрались на явочной квартире. Но кто-то, похоже, оказался недостаточно внимательным и привел за собой хвост. Их всех арестовали 7 января 1989 года.

Для начала их продержали тридцать дней под стражей. Потом перевели в следственный изолятор, где не давали ни газет, ни курева. Зэки спускали им сигареты на веревке, после чего окна заколотили. Потом переправили в московские тюрьмы — в Матросскую Тишину и Бутырку.

Как-то весной на рассвете на крыше дома напротив Бутырки появился мужчина. Он открыл футляр, достал трубу, и тишина московского утра наполнилась звуками знакомой армянской мелодии... С нею начинались все митинги в Ереване.

Г. Старовойтова. Левон Тер-Петросян двадцать восемь дней сидел в одиночке в Советашенском изоляторе. Там он тяжело заболел: опухоль на легких и позвоночнике. После освобождения ему делали сложнейшую шестичасовую операцию.

Работа I Съезда народных депутатов СССР послужила толчком к освобождению. 27 мая, на третий

день работы съезда, мы с Юрией Карякиным, Юрием Ростом и Кареном Симоняном, народным депутатом СССР, поехали в Бутырскую тюрьму, предъявили наши пропуска у входа. Когда начальнику тюрьмы сообщили, кто пришел, он позволил нам пройти в свой кабинет, но не разрешил встретиться с подследственными. Тогда мы потребовали, чтобы нам их просто показали в глазок тюремной камеры, потому что уже полгода с ними не было никаких контактов. Мы слышали, что члены комитета объявляли голодовку, и хотели убедиться в том, что они живы и здоровы. Начальник колебался, и тогда я заявила, что если он сейчас нам этого не позволит, то завтра я скажу об этом с трибуны съезда. Он сказал: «Да, я помню, как вчера вы резко выступали по кандидатуре Лукьянова, вы способны это сделать». Мы прошли. В глазок камеры я увидела Рафаила Казаряна. Вано Сирадегян читал книгу — живой, здоровый. Он и все сидели в камере с уголовниками. А потом я увидела Ашота Манучаряна, он очень исхудал, землистого цвета лицо. Он тоже сидел с уголовниками, один из которых заметил, что в глазок смотрят, и позвал остальных. Я отошла немного от глазка, и Ашот меня узнал, крикнул через дверь: «Галя, привет! Как там все наши?» Я не могла удержаться и, несмотря на обещание не разговаривать, крикнула: «Ничего, все нормально. С вами скоро должно быть все в порядке». В это время мы обращались к Сухареву и Горбачеву, собрали сотни подписей депутатов за освобождение. В перерывах работы съезда мы собирали большие группы депутатов вокруг Сухарева и требовали освобождения членов комитета. Одним из пунктов предвыборной программы Сахарова было требование освободить членов комитета «Карабах».

В это время следователи убеждали арестованных, что весь мир о них забыл и никто их не спасет. Во время допроса Ашота Манучаряна следователь случайно выложил на стол номер «Московских новостей» с предвыборной программой Сахарова. Ашот поймал глазами эту строчку и сказал: «Как все забыли? А вот Сахаров пишет». Следователь чертыхнулся — вся его психологическая обработка пошла насмарку. А вечером Ашот по старой испытанной системе «перестучал» новость в стенку всем товарищам.

Дошли до камеры Амбарцума Галстяна, он голодал шестнадцать дней, потерял двадцать килограммов. Его посадили в камеру с психически неуравновешенным типом, убийцей, который задушил двоих человек. Тот ходил по камере, плакал, кричал. Амбарцум на ночь заматывал шею толстым свитером, боясь, что ночью сосед его задушит. Лицо этого психа как раз и показалось в глазке. Я его попросила позвать Амбо. Семенов, начальник тюрьмы, стал дергать меня за руку и говорить: «Пошли, пошли». Амбарцум увидел меня с той стороны и сильно налег на дверь. Он все еще был силен, бывший самбист. «Галя, сколько нам еще тут сидеть?» Я ему говорю: «Ну потерпи еще немножко...»

Через два дня их выпустили. Никаких обвинений предъявлено не было. «Ввиду изменившихся обстоятельств» — такая была формулировка.

Л. Баткин. Это было так давно! — в 1988 году, весной 1989 года, короче, сто лет тому назад.

И раз уж довелось вспомнить поездку в Армению, весь тот потрясающий декабрь, драматический кусочек и моей жизни, которым я был всецело обязан Сахаровым,— то позволю себе признаться, что это определенным образом ностальгическое личное воспоминание. Вот так... И это — несмотря на ужас Спитака, все напряжение, и чувство бессилия, и БТР ночью напротив гостиницы, и хозяйничанье в Ереване генерала Макашова (ну да! того самого, который позже, и пр., и т. д.), и аресты тех, с кем были связаны надежды порядочных людей. И вот вопреки всему мы были тогда невероятно окрылены, не знали уныния. Мы ощущали дело так, что, как порой ни тяжко, страна находится в целом на восходящем историческом витке — притом впервые за нашу жизнь.

Патрули спрашивали пропуска на площади, да, но это были «патрули еще». А это все же иное, чем «патрули уже» — 1991 года.

Тогда было трудно, и теперь трудно, тогда было тревожно, и теперь тревожно, однако время окрасилось в другой цвет. У времени не три стендалевских цвета, а много больше, и вот история выбрала на своей палитре для нас некий новый и отчасти незнакомый колер.

«Перестройка» давно закончилась. Андрей Дмитриевич умер, кончиной своей довольно точно обозначив исторический перевал. Бывшие члены комитета «Карабах» теперь взвалили на свои плечи государственную ответственность. А нам, российской оппозиции, пожалуй, легче. Но тоже гораздо ответственней, чем тогда, в страшном армянском декабре.

Карабкаться пешеходу на гору проще, чем спускаться с горы, не так ли?

Впрочем, не первый спуск, главное же — был не последний подъем. Ничего.

Г. Старовойтова. Дело против комитета «Карабах» и сопутствовавшие акции были «первой пробой пера» реакционных сил, имперского курса. И вопрос, которым сейчас задается весь мир, мы, люди, причастные в какой-либо мере к армянским событиям, задавали еще тогда,— кто отдал приказ?

Сделано это было под влиянием дезинформации или Горбачев сам готов был вернуться к репрессивным методам? Во всяком случае, уже тогда мы узнали, что наш лидер может действовать в условиях неточной или неполной информированности под влиянием эмоций, что он не понимает сущности национальных проблем и национальных чувств и даже не пытается вникать в детали, разбираться. Мы узнали, что Президент страны способен использовать шок от великой народной беды — землетрясения, унесшего жизни тысяч человек. Всех в Армении потрясло его прощальное интервью в аэропорту, когда он излил свой гнев на головы «бородачей-чернорубашечников».

Сегодня многое понятнее. И, конечно, не в том было дело, что Горбачеву не понравились черные рубашки и бороды. Просто тогда в Армении первый раз на территории империи всерьез пошатнулась власть партократии. Национально-демократическое движение в Армении достигло по тем временам небывалого

размаха и силы. Но об этом мало знали и знают до сих пор. Движение не было ограничено карабахской проблемой, а было устремлено на преобразование структур власти, на избавление от монопольной власти партии. Вот что послужило красной тряпкой для Центра. Прошла независимая ноябрьская сессия Верховного Совета Армении, которая приняла ряд беспрецедентных в то время решений о приоритете республиканского законодательства над союзным.

Степень недоверия народа к центральной власти достигла апогея после землетрясения и разгрома национально-демократического движения. Возник грустный анекдот. Армянское радио спрашивают: «Как Горбачев намерен решать национальный вопрос в несейсмических зонах?» Как — мы уже знаем.

Армения была первым, к сожалению, плохо усвоенным уроком для тех, кто думал, что перестройка и курс на новое мышление гарантируют от подспудного развития, мимикрии репрессивных структур и имперского мышления. Ведь именно тогда, после освобождения инакомыслящих брежневской поры, у нас появились новые политические заключенные эпохи перестройки. Необходимо было сразу же начать изучение стратегии и тактики центральной, стремящейся к сохранению империи власти. Ведь помимо примитивных, жестких репрессивных мер были предприняты и политические, идеологические демарши, различные варианты «экономических разоблачений», техника которых доведена сегодня в борьбе с российским парламентом почти до совершенства. Это был первый звонок, который мы обязаны были услышать. Теперь в европейских республиках центр повторяет многие методы, опробованные в Армении, а потом и в Тбилиси, в Баку. И опять с хладнокровным цинизмом темные дела вершатся в подходящий момент. На этот раз отвлекающим событием должно было стать начало военных действий в Персидском заливе. Очевидно, переворот в прибалтийских республиках планировался на 15 января, но произошли неуправляемые Центром события, связанные с повышением цен правительством Казимеры Прунскене. Решено было использовать удобную ситуацию, реальное народное недовольство. Переворот пока не удался. Неожиданной была столь бурная реакция народа, полумиллионные митинги в Москве и Ленинграде, мощная как официальная, так и общественная реакция Запада. Свою роль сыграла и смелая,принципиальная позиция Бориса Ельцина, как бы его теперь ни шельмовали.

Военная машина замерла на полпути. Но надолго ли?

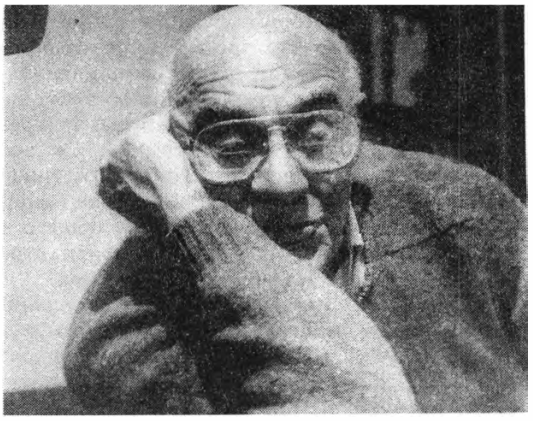
...На днях мне показали список из 186 неблагонадежных народных депутатов СССР. Я, конечно, вхожу в этот перечень. В примечании к каждой фамилии значатся причины «неблагонадежности». В частности, против фамилии народного депутата академика Рыжова стоит цитата из его предвыборной программы: «Бороться против монополии партократии за подлинную власть Советов». У других и цитат нет, просто сказано: «Рабочий, который победил на выборах секретаря райкома партии». Это достаточное основание, чтобы попасть в «черный» список. Обо мне сказано, что я ратую за отмену Конституции СССР и победила на выборах в Армении четырех членов партии, поддерживаю националистические, сепаратистские устремления в республиках. Составлен список сотрудниками секретариата Верховного Совета СССР, но пока неизвестно, по чьему указанию и как этот список будет использоваться. По крайней мере я знаю, если посадят в Бутырку — там персонал знакомый.

Материалы подготовили
Лев Карахан и Андрей Титов

Мераб Мамардашвили

Жизнь шпиона

Интервью ведет Анн Шевалье



Интервью состоялось 20 августа 1990 года в бурлящем Тбилиси через несколько дней после принятия в Грузии нового избирательного закона. Мы встретились в квартире Мераба Мамардашвили, а во дворе шли строительные работы, было так шумно, что несколько раз нам пришлось прерывать разговор.

Анн Шевалье. Не могли бы вы сначала рассказать, где преподаете, на какие темы читаете лекции, и, может быть, в более широком смысле о своих сегодняшних исследовательских интересах?

Мераб Мамардашвили. В Москву езжу, как я говорю — на «гастроли», потому что живу и работаю в Тбилиси. Езжу по приглашению друзей и тех, кто проявляет интерес к моим работам, например, в Институте кинематографии и Институте философии. В Тбилиси я преподавал в Театральном институте и в университете. Темы же возникают по воле случая. Недавно я предложил прочесть лекцию о Марселе Прусте. Роман «В поисках утраченного времени» не переведен на грузинский язык, поэтому курс «Топологии пути познания» я вел по-русски, что многим пришлось не по вкусу. Меня увлекает тема перекрестков, схождения взглядов, в которых угадывается судьба. Пруст, по-моему,— образец истинного писателя. Пространство постижения и пространство мысли в его творчестве могут служить материалом теории сознания.

Всю жизнь я посвятил проблемам сознания. Сегодня же мой профессиональный интерес совпадает со жгучими злободневными темами, волнующими людей, поэтому меня чаще приглашают в Россию, где обожают говорить о духовности, душе, внутренней жизни, внутренней свободе... После двадцатилетнего перерыва я вновь в центре внимания!

А. Шевалье. Разве грузины меньше интересуются этими вопросами?

М. Мамардашвили. Да, гораздо меньше. Нет такого жгучего интереса. Ведь грузины полагают, возможно ошибочно, что наделены душой, и не страдают типично русской болезнью приятия только тайно или явно страдающей души. Если есть страдание, есть и душа. Значит, она существует. Грузины иначе смотрят на вещи, они — южане, весельчаки и бонвиваны. Может быть, сейчас все изменится. Но исторически существует отличие от русского страдания, впрочем, вполне достойного уважения и все же немного самовлюбленного. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что все грузины бонвиваны. Все не так просто. *(М. М. курит трубку, зажигает спичку и подносит к моей сигарете.)* В магазинах пропали спички. Русская чума приходит и к нам, скоро не будет самого элементарного.

А. Шевалье. Как вы определяете свое философское кредо?

М. Мамардашвили. Существует только весьма общее определение, которое объясняет одновременно все и ничего. Я — мета-

Это интервью Мераб Мамардашвили дал французской журналистке за несколько месяцев до своей скоропостижной смерти от сердечного приступа по дороге из Москвы в Тбилиси. Анн Шевалье любезно предоставила редакции право осуществить мемориальную публикацию подготовленного ею материала.

физик. В прошлом область моих занятий описывалась наукой, называвшейся метафизикой. Для меня это бытие, сознание, познание, онтология и так далее. Но в более модерновом ключе я бы сказал, что моя позиция соответствует подходу к сознанию и языку, открытому и сформулированному еще в XIX веке с одной стороны Марксом, а с другой Ницше, Фрейдом и позднее феноменологией, Витгенштейном... Этот поворот невозможно персонифицировать. Но именно он меня и интересует в отношении онтологической и классической постановки проблемы бытия и сознания. Однако исходным пунктом моей философии и моих исследований по сути своей является классическая и вполне картезианская точка зрения, то есть философия начала нового времени, философия «cogito».

А. Шевалье. Почему русские сегодня так интересуются проблемой сознания?

М. Мамардашвили. Это касается не одних только русских. Ситуация чрезвычайно общая, которую я назвал бы посттоталитарной. Но русским присущ дополнительный специфический нюанс, связанный со старой русской традицией, восходящей к исторической интерпретации христианства. Русскому православию свойственна некая подавленность, почти эмбриональное состояние духа, благость... Это — своего рода болезнь подавленной духовности, находящей удовольствие в своем эмбриональном состоянии, всегда более богатом, чем состояние, уже облеченное в форму. Исторически так сложилось, что русская культура всегда избегала форм, и в этом смысле она ближе хаосу, чем бытию.

Это очень интересно, так как всегда присутствуют метафизические аспекты, лежащие в глубине исторических, политических, экономических, социальных событий и реально соответствующие первоначальному, основному выбору, который делает каждый человек. Индивид совершает метафизический выбор, не выходящий на поверхность, на поверхности заметно исключительно эмпирическое поведение. Кстати, в социологии и политике такой выбор не принимается во внимание, там действуют поверхностные рационалистические схемы, в которых важны цель и средства для ее достижения. В сущности же в основе всегда лежит волевое усилие, осуществляется выбор между свободой и несвободой, поскольку несвобода — тоже результат выбора. Рабство выбирают свободно, то есть пользуясь свободой, данной каждому человеку. Использование свободы по определению является человеческим феноменом. Если человек — раб, значит таков его выбор, он сам так решил; конечно, не мысленно, не рационально, не так, будто, сидя за столом, принял решение стать рабом или свободным человеком.

А. Шевалье. Идет ли сейчас эволюция? Происходит ли переход от выбора несвободы к выбору свободы?

М. Мамардашвили. Да. В этом суть борьбы. Сегодня мы расстаемся со специфически русской почвой и можем подойти к проблеме, не ставя русского акцента. В настоящее время борьба идет независимо от того, насколько мы ее осознаем. Можно не сознавать этого, но дело движется. Советское пространство, на котором доминирует русская нация,— но само это пространство намного шире поняти нации — пытается приобщиться к великому приключению нового времени, к борьбе за освобождение человека в европейском понимании этого термина, как это провозглашено Американской конституцией или Французской декларацией прав человека. Эта борьба не имеет ничего общего с национализмом, но она может найти свое выражение в национальных движениях.

Речь идет о реальной свободе гражданина, о правах человека, о создании самоуправляющегося и в этом смысле свободного общества. Речь идет об упразднении добуржуазных привилегий. Слово «буржуа» употребляется сегодня несообразно своему первоначальному смыслу и означает «капиталист». В действительности оно произошло от немецкого слова «бюргер», что означает горожанин. Через приведенное понятие можно обозначить городские демократии, иначе говоря, основу европейской демократии и культуры. Это предприимчивые городские демократии, не предполагающие серьезных кризисов. Не следует мыслить только современными образами и представлять себе такие города, как Нью-Йорк или Мехико с многомиллионным населением и всеми вытекающими проблемами урбанизации. Флоренция тоже была городом, городской цивилизацией. Вот это и есть Европа.

А. Шевалье. Как вы считаете, способен ли СССР пойти по этому пути?

М. Мамардашвили. В этом и заключается проблема. Для Грузии, но и для России. Приобщиться, влиться во всеобщую борьбу, бушевавшую в Европе. Сама Европа — результат этой борьбы. Можно сказать, что с XIV века было покончено с теократическими иллюзиями и теократическим государством, которому была присуща сакрализация социальной и экономической материи. Тут мы вступаем в новое время, то есть в период оформления советского государства,

секуляризации. Именно здесь и кроется проблема, потому что с метафизической или философской точки зрения тоталитарные общества и государства всегда означают регресс, возврат к доцивилизованному и добуржуазному состоянию. Корпоративизм, привилегии, общественные сословия восстанавливаются в своих правах. Что такое, например, класс или раса в большевистском понимании этих терминов? Это сословие, как у вас говорили,— третье сословие.

Что же мы наблюдаем в поле социальной или человеческой деятельности? Мы несвободны. Это означает, что если я захочу сделать что-то, поле моей деятельности еще до начала самой деятельности уже структурировано чем-то, не имеющим ничего общего ни с сутью, ни с направлением деятельности. Ее поле определяется структурой личных отношений. Когда я говорю о личных отношениях, я имею в виду не бытовой смысл этого выражения, но понятие, указывающее на определенную форму общественной жизни. Эти отношения не имеют ничего общего с той работой, которую предстоит выполнить. Некое лицо занимает тот или иной пост, потому что является членом корпорации, секты, класса и так далее, а не благодаря компетентности в конкретном вопросе.

На чем же в самом деле зиждится компетенция и профессионализм? Устраняется структурность поля, и оно становится нейтральным и представляет равные для всех возможности, чтобы люди могли сориентироваться, осмыслив суть предстоящей работы, а не в зависимости от чего-то внешнего по отношению к этой сути. Это нейтральное поле и называется демократией, то есть демократия — отрицательное понятие; истина, хорошо известная в философии, к несчастью, забыта социологией и политическими науками. Но философы не разучились оперировать такими понятиями, как демократия. Кант и все образованные философы,— ведь достаточно философов, не блещущих образованностью,— знали, что понятие демократии или просвещения — отрицательное понятие, то есть не дающее позитивного определения предмета, отрицательное в том смысле, в каком говорили об отрицательной метафизике по отношению к Богу. Считалось, что понятие Бога не формализуется. Вот и демократия существует постольку, поскольку не поддается формализации и не застывает. Я упомянул нейтральное поле демократии. Необходимо отсутствие некоторых понятий, например, привилегий, априорных структур в сфере труда и распределении ролей в обществе. Это отсутствие и есть демократия.

Если вы погрузитесь в запутанную советскую жизнь, то, во-первых, вы не выплывете живым, а, во-вторых, вам придется констатировать, что вы погрязли в структурах независимо от того, как вы понимаете свое место в мире и смысл задач, которые вам предстоит решать. И это доходит до абсурда. Вы олицетворяете классическое состояние, в котором чисто экспериментально реализуется великий закон духовной жизни и жизни вообще, сформулированный святым апостолом Павлом. Помните, он повторил уже заявленную Сократом мысль: «Желаю одного, а делаю другое. Желаю добра, а творю зло». Эта ситуация — один из эпизодов человеческого бытия. Но представьте себе, что вся жизнь складывается из таких эпизодов, как это происходит сейчас. Собственно, я абстрактно описал ведущуюся в нашей стране борьбу.

Здесь я хочу обратить ваше внимание на философский метод, и уверяю вас, что абстрактные формулировки философии намного ближе реальной действительности, чем реалистические, эмпирические формулировки. Почему мне не позволяют делать мою работу, как я ее понимаю? Может оказаться, что невозможно даже попасть туда, где я могу выполнить свою работу. Место это, может быть, уже занято кем-то другим, чуждым самой сути работы.

Демократия — также свобода труда, а не обязанность трудиться, как это сформулировано в социалистических и коммунистических утопиях. Свобода труда — это возможность делать свою работу так, как ты ее понимаешь. Именно поэтому здесь нет места труду. Социализм полностью его уничтожил как феномен, уничтожил на уровне результатов деятельности. Посмотрите во двор, где бессмысленно дергается машина. Каждый раз одно и то же, переделывается одна и та же операция. Ломают асфальт, производят какие-то работы. Заново кладут асфальт, а через два месяца опять его ломают... Это разрушение сказывается либо на результатах, либо на производительности труда: на желании работать, на дисциплине труда. В итоге наступает бедность.

Уничтожение труда харктеризует социализм. Социализм — враг труда. Также существует и другое определение: социализм это бедность, так как только труд обеспечивает богатство. Труд был уничтожен, поэтому мы бедны. И если существует желание выйти из этой плачевной ситуации, то уже во всяком случае не с помощью пропаганды. А путем восстановления и структурирования свободного труда. Свободный труд — это и есть гражданское общество.

А. Шевалье. Подразумевает ли рождение гражданского общества проведение чистки кадров?

М. Мамардашвили. Это недопустимо. Используя термин «чистка», становишься на путь большевиков 17-го года. Они вообразили, что достаточно знать, кто и где должен находиться, иметь в своем распоряжении кадры и размещать их там, где сочтут необходимым. Все та же этика распределения, а не производства. Предположим, я понимаю, что нужно делать, назначаю X и Y на такие-то посты, и все приходит в движение. Нет, дело обстоит совсем не так. Абстрактно известно, что нельзя назначать кадры; такие попытки уже предпринимались, и советский опыт наглядно показал метафизическую и духовную абсурдность этой авантюры, противоречащей природе феномена, называемого человеком.

Меня это интересовало с детства, потому что я подозревал о существовании онтологических законов бытия, а не экономических, политических и юридических законов. Определенная часть бытия абсолютно неизбежна, ее не обойти. Попытки были. Человек, особенно когда он становится коммунистом или социалистом, пытается в своих желаниях воспарить над подобными законами, он либо не подозревает об их существовании, либо действует согласно антизаконам по аналогии с антивеществом.

Вот что мы видим вокруг себя, в наших грязных домах, пустых магазинах и в наших людях, лица которых сведены звериным оскалом. Насилие, садизм и отсутствие законности копились десятилетиями и не находили выхода, поскольку существовала монополия государства на насилие и беззаконие. Теперь, когда монополия нарушена или нейтрализована, вся мерзость прет наружу из самых темных уголков человеческого «я». Если мы и спали в течение семидесяти лет, то отнюдь не невинным сном праведника, пробуждающегося во всей своей красе и чистоте. Во сне мы переродились, выродились. Ведь можно проснуться и насекомым, как один из персонажей Кафки. Вот что происходит в настоящий момент в Москве, Ленинграде, Тбилиси...

Снять одних и поставить на их место других — это не ответ. Откуда мы возьмем других? Может быть, отыщем на Марсе? На деле люди, возможно, пробуждаются от спячки и уже превратились в насекомых. Сколько же невидимых изменений произошло в прошлом с советским человеком? Советский человек — продукт таких невидимых изменений, деградации и прогрессирующей деформации. И очень трудно разорвать цепь этих изменений. Возможно, они уже стали необратимыми. Следует мыслить именно в таких категориях, подразумевая витающий в воздухе отрицательный ответ, чтобы все же прийти к чему-то, чтобы зародилась хоть капля надежды. Если не мыслить такими категориями, ничего не получится.

А. Шевалье. Вы когда-то говорили об инфантилизме, характеризующем не только молодежь, но и старшие поколения. Связано ли это явление с тем, о чем вы только что рассуждали?

М. Мамардашвили. Это одно и то же. Когда я говорю о регрессе, я подразумеваю возвращение к детству. Это трагедия. В этом глубокий смысл того, что сейчас происходит. Я вам уже говорил о традиционно отрицательном отношении русских к форме, упорядочению. Формы всегда закончены, полуформ не существует. Когда испытывают некоторое недоверие к формам, то обращаются к большим теориям, говоря, что человек обладает огромным внутренним богатством и не довольствуется ни одной формой, так как благодаря своему таланту способен принять любую форму. Один русский писатель говорил, что с испанцем ты — настоящий испанец, с французом — настоящий француз...

Это мне напоминает анекдот. Дело происходит, скажем, во Франции. Однажды королева призывает ко двору известного комедианта и просит изобразить самых знаменитых персонажей, образы которых ему пришлось воплощать. Актер играет Дон Карлоса, Гамлета... великих любовников театрального репертуара. В конце концов восхищенная королева просит, чтобы он представил самого себя. И следует ответ коленопреклоненного человека: «Извините, ваше величество, в личной жизни я — импотент». Так вот, надо спросить у русского, если ты более испанец, чем испанцы, более француз, чем французы,— кто́ же ты на самом деле?

В умственном отношении ребенок является зародышем духовности. Эмбриональное состояние — выбор, к которому склонялась вся традиционная русская культура, хотя в начале XX века было и многое другое. Указанная тенденция была далеко не единственной, но имело место тяготение к выбору эмбрионального состояния, состояния уюта и защищенности в теплой и обволакивающей внутриутробной среде.

Давайте перенесем эту метафору на Советское государство. В своих отношениях с государством советский «гражданин» подобен эмбриону. И он хочет, чтобы его, как зародыш, обволакивала матка. А мать может

быть и злой. Но человек — раб в детском понимании этого слова, так как он постоянно ищет оправдания. Он говорит: «Нет, нет, я не виноват». С этими идиотскими причитаниями зародыша большевики умирали в тюрьмах КГБ. Можно ли сочувствовать этим жертвам? Что касается меня, например,— разве могу я испытывать симпатию к Бухарину или Тухачевскому, к этим зародышам, чью структуру и метафизический выбор я хорошо понимаю? Выбор эмбрионального состояния.

Глубокий метафизический смысл находит свое выражение на социальной и эмпирической поверхности. Вы видите связь между государством, которое оказывает помощь, и теми, кто эту помощь получает, и вы прекрасно понимаете, что за социальную форму называют помощью. За чем стоят нескончаемые очереди? Так же и за законом, за тем самым законом, который, как они считают, их защищает; речь идет не о гражданских законах в европейском понимании этого термина, поэтому в газеты приходят письма с просьбой дать квартиру, хлеба... Борются за «права», на самом же деле за права зародыша, которому необходима помощь, а не за права в европейском смысле этого слова.

Таково наше положение, и вот теперь мы создаем парламент. Если при этом наш образ мысли не изменится, мы столпимся у прилавка Армии спасения с криками: «Дайте мне, я имею право, а он нет. Где же справедливость?» Теперь вы представляете себе смердящую социальную плоть нашего бытия.

А. Шевалье. Считаете ли вы, что национальное возрождение может привести к состоянию зрелости?

М. Мамардашвили. Да. В том случае, если идея покорит умы. Потому что можно стремиться к национальному освобождению, не проникнувшись этой идеей. А можно идти в этом направлении, совершая деяния, подразумеваемые национальным освобождением, осветив саму цель изнутри. Для этого надо не только выступать самому, но давать слово другим, время от времени останавливаться, оставить себе пространство и время, чтобы поразмыслить. Необходимо также, чтобы человек дал себе шанс что-то понять. Если я действую, не останавливаясь ни на минуту, если я страстно и яростно повторяю уже сказанное мною, я не остановлюсь никогда. Я никогда не дам себе возможность понять что-либо.

Для меня все поставленные национальные задачи — это задачи создания свободной и процветающей Грузии, сильной Грузии в том смысле этого слова, в каком говорят о полнокровном обществе не в империалистическом или милитаристском смысле. Нечто полностью расцветает, процветает, свободно там, где можно жить, дышать и продвигаться по общечеловеческому трагическому (в метафизическом смысле) пути, но без нелепых дрязг, когда даже не останавливаются перед дверью, за которой можно испытать трагизм, внутренне присущий человеческой судьбе. Надо быть достойным человеческой трагедии. Чтобы пережить эту трагедию, надо быть Человеком, а мы — советские люди — еще таковыми не являемся. Я полагаю, что созидательный процесс в Грузии должен идти в этом направлении. Для меня национальное освобождение — это форма, ведущая к рождению гражданского общества. Не думаю, что мои грузинские соплеменники осознают необходимость построения гражданского общества и собственно рождения в качестве общества. Речь же идет именно об этом, о свободе в том смысле, в котором существует феномен общества. Общества, отличного от государства, общества как самостоятельной жизни человеческих групп, чьи интересы кристаллизуются в системе и где политическая многопартийность соответствует реальной действительности.

У нас есть многопартийность, но у нас нет многопартийной действительности. Интересы какой группы населения выражает, например, национал-демократическая партия? Я вижу только людей, непохожих на представителей других партий. Необходимо структурировать реальную действительность. Мы имеем уже ее выражение, не имея самой реальности. Наличие различных партий означает, что нам нужна реальность многопартийности. Я имею в виду независимое структурирование групп, то есть то, что называют независимым от государства обществом, в котором государство является служебным органом, общественной службой. У нас нет общественной службы, потому что нет самого общества, нет и государства в историческом или классическом смысле этого термина,— государство поглотило общество. У этого государства только видимость государства, на самом же деле это призрак.

Волей случая сочетания слов, кажущиеся только метафорами, а не понятиями, привели нас к правильному объяснению. Говоря «призрак», я делаю еще один шаг в развитии метафоры: видимость, призрак, я представляю себе образ крови, потом зомби или вампира. Многое можно объяснить, сказав, что вампиры нуждаются в крови. Мы — государственное государство, если позволите эту тавтологию, феномен государственного призрака. А если наше государство призрач-

но, надо приготовиться ко многим жертвам, гораздо большим, нежели требует антигуманная рациональность государства. Вот здесь-то мы в центре моих профессиональных интересов, предметом которых является сознание.

А. Шевалье. Как объяснить, что грузинское самосознание проявилось в таких разнообразных и взаимоисключающих формах? Откуда такое множество борющихся, рвущих друг друга на части партий, ассоциаций и обществ?

М. Мамардашвили. Дело в том, что никто ничего и никого не понимает. Мы выходим из посттоталитарного состояния, внешние цепи пали, и теперь свободно проявляются внутренние оковы и деформации. Даже ростки гражданской и политической мысли были задушены, политикой мы не занимались почти сто лет.

Говоря о государстве, поглотившем общество, я сказал, что исторически Советское государство не является политическим феноменом. Точно также советская коммунистическая партия является не политическим феноменом, а некой формой общественного бытия, неким образом жизни. И государство — это нечто совсем другое. Вне субъектов власти не существует структурированной власти, она характеризуется тотальной аморфностью. Где власть в Советском Союзе? Покажите мне ее. Я пришел к такому выводу путем философских рассуждений. Я принадлежу традиции, я рожден не советским обществом, а философской традицией. Представьте себе, что может видеть тот, кто родился в советском обществе. Когда он состоит в неких отношениях с властью, он ничего не понимает. Но я вижу, что власти нет, что это власть при полном ее отсутствии. Управление осуществляется через посредников; это индивиды, управляющие сами собой, находясь под опекой. То же самое происходит, когда люди цепляются друг за друга в ненависти или любви. Именно любовь-ненависть объединяет людей в очередях, там есть и солидарность, и отчуждение, и ненависть. Это целый мир, подобный копошащимся в закрытом сосуде скорпионам.

В последнее время заметен небольшой прогресс. На политической арене происходит процесс упорядочивания структур. Это шаг вперед независимо от того, что я думаю о Ельцине, о его политической программе. Даже если я против, это не имеет значения. Впервые в России на политической арене происходит процесс упорядочивания структур, возникают формы, вытесняющие бесформенность вещей, о которых знаешь, что они существуют, потому что они так или иначе заявляют о себе, о своем существовании, но никогда не появляются на сцене и с ними невозможно бороться. Нельзя противостоять тому, чего нет. Где, например, государство? Где партия? В чем тот или иной интерес? Все это должно быть сформулировано на политической арене. Процесс начался. Я не принимаю программу Ельцина. Но результатом его действий является определенное упорядочивание. То, что существовало тайно, стало теперь явным и является частью политической жизни. По отношению к Ельцину уже можно проводить политику.

Я считаю позитивным любой процесс политического упорядочивания, структурирования у нас в Грузии, который поможет выйти на поверхность тому, что уже скрыто существует. Так же структурируют поле боя, так я готовлю мой письменный стол для работы — раскладываю предметы, дневники, документы, устанавливаю пишущую машинку, персональный компьютер... Мне предстоит работа, это не значит, что я ее выполню, но мне необходимо структурировать пространство. Как мы выйдем из нашего положения? Поживем — увидим. Надо проложить путь, но надо каждому дать право высказаться, не заглушая чужой голос криками, без угроз и обвинений в предательстве национальных интересов. Прежде всего надо остановить тех, кто слишком торопится. Я говорю о правах радикал-националистов.

А. Шевалье. То есть?

М. Мамардашвили. Правые националисты — это группа Гамсахурдиа. Опасно не то, что эта группа существует; она должна существовать по моей же концепции структурирования. Но структурирование должно быть таким, чтобы не позволить этой группе замалчивать действительность, правду во имя патриотического образа Грузии, истории Грузии, будущего Грузии. Этому надо воспрепятствовать. Сама же тенденция должна существовать и быть представлена в общем политическом спектре будущего, потому что пока еще никакого спектра политических партий не существует. Есть только отдельные личности, которые на ощупь ищут свой путь. В настоящее время различаются не партии, а личности, их представляющие. Но весь этот процесс должен идти в таком направлении, чтобы все партии выражали структурированную социальную и экономическую реальность групп, отличающихся друг от друга своими интересами, статусом...

А. Шевалье. Как вы считаете, являются ли события последних дней этапом этого процесса?

М. Мамардашвили. Будем надеяться. Нужно противодействовать ханжеским попыткам остановить этот процесс. Мы находимся в движении, и его надо продолжать. Мы начали двигаться, не зная точно, куда идем. Мы надеемся выяснить направление движения по дороге. Но нас не должны останавливать или говорить нам, что «Грузия должна блюсти чистоту грузинской крови...» Априорно было принято решение о том, что только предстоит открыть. Нет, не надо так торопиться. Но это могут понять лишь зрелые люди. К сожалению, у нас очень мало культурных, политически зрелых людей... Я не хочу употреблять слово «интеллигенция», которое ненавижу, особенно то смакование, с которым его произносят. С особым упоением произнося по-русски слово «интеллигент», отсутствующее в европейских языках, достигают чуть ли не сексуального, эротического блаженства. Мне ненавистно это самолюбование. Я говорю о людях зрелых, компетентных. У нас их очень мало, потому что их энергия была направлена в другое русло, на выживание любыми способами. Конечно, существует грузинское достоинство. Мы не хотели принимать эту дерьмовую, нищую жизнь, которой довольствуются русские. Они с ней согласны, мы — грузины — нет.

Но в результате каждый пытается выжить самостоятельно, оказавшись в отдельной лодке со своими знакомыми и родственниками. Отдельной от чего? От республики, от res publica, то есть общественного дела, общественного пространства... Почти как в Италии в XIX и даже XX веках, когда наблюдался упадок итальянского общества, разрыв общественных связей, царил принцип «каждый за себя», и все это с присущим итальянцам обаянием. У нас похожая ситуация. С тем же обаянием каждый плывет в своей лодке, пренебрегая общественными интересами.

Посмотрите на тбилисские дома, тротуары — общественное пространство. Физический образ наших отношений с res publica, общественным делом. Грязные ворота, обветшалые дома, даже крысы и обваливающиеся стены. Таков вид снаружи, зато внутри благоустроенные квартиры, забитые вещами, высококачественной импортной аппаратурой... Эта атмосфера отражает самоуважение грузин, которое отсутствует, как я уже говорил, у русских. Натужное уважение, граничащее с одержимостью. Обстановка, среда отражают мое отношение к самому себе, мое самоуважение. На стол я стелю скатерть, а не газету. Русские готовы есть селедку на клочке газеты. Нормальный, не выродившийся грузин на это не способен. Внутренняя поверхность раковины отражает образ самоуважения грузина, его чувство собственного достоинства. Вне раковины — асфальт и улицы, общественное пространство, гражданское пространство, которое этого не отражает. Вот физический образ того социального и духовного феномена, который есть отношение грузина с res publica.

Но посмотрим на это с другой стороны. Нашей демократии не хватает основополагающей предпосылки. Я уже употребил слово res publica — вершина демократического строя. Политическая демократия невозможна при отсутствии отношений с общественным пространством, называемым res publica, республиканских отношений. Это отношение инвариантно. Можно быть республиканцем и жить при монархическом политическом режиме, например, в Англии. Это ничего не значит, это не демократическая форма, но демократия, потому что реальная сущность демократии в «республиканском образе мыслей». Так вот, у нас этого нет. Партии суетятся из-за прав, что не является первыми шагами демократии, если говорить о «шаге» не в хронологическом смысле слова, а в значении чего-то изначального, первородного. Борьба в парламенте между партиями — это, скажем, уже десятый шаг. И все это бесполезно, если не вернуться назад и не создать что-то в исходной точке: res publica.

Нам нужна республика, чтобы не зависеть от случая, и особенно от выбора русских. Пока же мы от этого выбора зависим. И антирусские настроения носят политический характер, поскольку между грузинами и русскими нет ненависти или столкновений на национальной почве. Все недобрые слова в адрес русских, любая борьба с ними — это политическая борьба. Национальные нюансы отсутствуют, они скорее могут проявиться в отношениях с абхазцами или осетинами по невежеству или в результате исторической слепоты.

Конфликт с русскими не национальный, а политический. Меня, например, можно обвинить в прорусских настроениях, так как я говорю по-русски без акцента, а это уже дурной знак. Я долго жил в России и много пишу не только по-грузински, но и по-русски. Но во мне намного сильнее антирусское начало, чем в наших антирусских политиках, поскольку они принимают исходные данные проблемы, саму зависимость от внешнего врага, на котором они слишком сосредоточились. Это зависимость политической ненависти, так как они не замечают, что за-

висят от решений русских относительно самих себя. С этим надо решительно порвать.

Нам досталось немало грехов из грузинской истории, которые мы должны взять на себя. Этого нам вполне достаточно, не следует принимать на свои плечи еще и грехи русской истории. Главное — не зависеть от выбора русских, потому что они могут решить свою судьбу иначе, в отрицательном смысле и вновь потерпеть поражение на пути к новой жизни.

Мы должны отделиться. А уже после отделения можно будет установить союзные отношения с русскими демократическими и прогрессивными силами. Физическое или внутреннее разделение судеб является необходимой предпосылкой. Хватит вместе страдать и вместе жить в дерьме.

А. Шевалье. А лично вы остались в стороне от политической жизни?

М. Мамардашвили. Нет, не совсем. Правда, я довольно смешной персонаж, такими изобилуют театральные пьесы. Знаете, тот, что на секунду появляется на сцене и тут же убегает. Чуть позже опять появляется без видимых причин и вновь исчезает. Обыкновенно это вызывает безумный смех в зале.

По темпераменту и складу ума — я не активист, я не получаю удовольствия от руководства общественным организмом. Активист тот, кто всегда занят делами других. Это совершенно не в моем характере. Если и были во мне ростки чего-то подобного, они давно убиты Советской властью. Еще в детстве. Я видел, что социализм по определению — активизм, постоянная борьба. На всю жизнь я усвоил неприязнь к комсомольской организации... к общей активности любого рода. На самом деле она включает в себя много задач, надо помогать людям, заниматься ими в хорошем смысле слова. Я способен осознавать этот смысл, но себя я в роли активиста не представляю. Философ нуждается в одиночестве и тишине. Если я брошусь в политическую бучу, то лишусь необходимых для работы мысли тишины и одиночества.

И в то же время все, что я делаю,— это политика, потому что я выражаю то, что вижу, например, выражаю свои мысли в разговоре с вами. Я могу их высказать, поэтому я и говорю. И мои слова подразумевают определенные последствия, поскольку в них расставлены политические акценты. Кто-то становится моим политическим оппонентом, кто-то — политическим другом. В этом смысле я тоже втянут в политическую борьбу, в политическую деятельность. Но сейчас я не посещаю заседаний руководящего комитета народного фронта и не состою ни в какой новой партии. В данный момент я член Коммунистической партии.

А. Шевалье. Вы все еще остаетесь членом Коммунистической партии?

М. Мамардашвили. Да, мое пребывание в партии не являлось для меня политическим актом, и я не могу придать политическое значение моему партбилету, возвращая его. Я не считаю необходимым объяснять это людям, швыряющим свои партбилеты; мне безразлично, что обо мне думают. Пребывание в партии не было политическим актом, если люди не выпячивали свою партийную принадлежность. Я уже говорил, что партия не является политическим феноменом — это форма общественного структурирования. Кроме того в партии есть две партии, что очень хорошо понял Оруэлл. Я очень удивился, прочтя у него об этом; я полагал, что это можно разглядеть только изнутри. Если вы помните, он пишет о внутренней и внешней партии. Когда вглядишься в 17-й и 18-й годы, годы бурной деятельности Ленина, просто поражает своей очевидностью разделение на внутреннюю и внешнюю партии. Существуют также два языка: язык внешней партии, используемый также и во всем мире, и язык внутренней партии. И если ты не принадлежишь внутренней партии, то в политическом смысле вообще не являешься членом партии.

Выйти сейчас с шумом из партии — это значит придать политическое значение тому, что никогда его не имело. Партийность была чем-то вроде социального страхования. Поэтому я и вступил в партию. Мое вступление было своего рода подготовкой рабочего стола, поскольку я сотрудничаю в философских журналах. В профессии философа невозможно было представить рабочее место без этого элемента, невозможно работать, не имея партбилета. Я не жалуюсь, это не было для меня трагедией, и не выдаю себя за обливающуюся слезами жертву партии, в которую меня вынудили вступить.

Я грузин и философ, с юности я нахожусь во внутренней эмиграции. Я хорошо понимаю, что такое быть шпионом. Необходимое условие успешной шпионской деятельности, а нередко и творчества — схожесть с окружающими. Флобер говорил, что в частной жизни он — мещанин, что дает ему абсолютную свободу в литературе. Слишком много энергии уходит на то, чтобы носить шляпу независимого, свободного человека. Можно, например, стать хиппи. Но за этим кроется такое примитивное мышление. Сколько

же времени нужно провести перед зеркалом, чтобы выглядеть таким растрепанным. Надо оставаться незаметным, не теряя свободы; это такая трудная задача, что нужно посвятить ей все свои силы, на театральные атрибуты просто ничего не остается. Лично я не склонен к театральности.

А. Шевалье. Хотелось бы, чтобы вы высказались еще по одному вопросу. Складывается такое впечатление, что события в Германии не вызывают ничего, кроме полного равнодушия. Как вы это объясните?

М. Мамардашвили. Совершенно верно. Чтобы интересоваться этой проблемой, надо жить в Европе, не географически, конечно, я хочу сказать, надо жить европейской жизнью. В Европе обеспокоены этим вопросом, потому что его решение влияет на общеевропейское дело, на образ жизни, на возможности... Для нас — это марсианская история. У нас общий язык, но мы живем на разных планетах.

А. Шевалье. И все-таки иногда звучат притязания, мол, «мы являемся частью Европы».

М. Мамардашвили. Это очень серьезный феномен и в нашей внутренней жизни, так как даже у нас самих нет общей меры языка и реальной действительности. Здесь воспроизводится различие между нами и вами. Мы пользуемся вашим языком, но наша действительность не соответствует действительности вашего языка. Первые симптомы проявились еще во времена Петра Великого и сыграли решающую роль в выборе исторического и политического пути России, на русском пространстве, рассматриваемом с общественной и культурной точки зрения. Таков один из крайне опасных элементов деформации структур сознания.

Обычно голова и тело имеют общую природу, и информация, поступающая от тела в голову, постоянно находится в однородной среде. Сделаем метафорическое допущение: голова (где происходит осознание того, что творится с телом) и тело отличаются по своей природе. Эту ситуацию мы наблюдаем в советском и русском случаях.

Трагедия русской интеллигенции состоит в непонимании того, что язык, с помощью которого осмысливались события, не имел ничего общего с природой этих событий. Названный парадокс выявляется теперь на уровне наших отношений с Европой и вашего представления о нас. Нам безразлично, что происходит, например, в Германии. Вам это кажется парадоксальным, потому что вы думаете, что раз мы говорим на одном языке, то у нас одна действительность, то есть тот же реальный эквивалент языка. Но вы заблуждаетесь. Надо быть частью действительности, чтобы проявлять к ней интерес. Слова позволяют мысленно обратиться к событиям в Германии, тем не менее связь с реальностью полностью отсутствует. Следовательно, нормально не интересоваться немецким вопросом.

Еще недавно запретные слова «демократия» и «частная собственность» освободились, как в библейской притче об изгнании духов бесовских. Теперь их можно произносить, но воплощают ли они конкретную реальность? Нет, они лишены сокрытого в душе корня. И это соответствует состоянию гражданского сознания всех советских людей.

А. Шевалье. Вернемся к политической ситуации в Грузии, где Гамсахурдиа играет первостепенную роль. Как вы оцениваете его деятельность?

М. Мамардашвили. Деятельность Гамсахурдиа фактически заключается в деструктурировании, подрыве попыток демократических преобразований. Я замечаю совпадение интересов, сходство между целями системы и определенной части оппозиции. Дестабилизируя обстановку, Гамсахурдиа использует в своих интересах необузданные страсти, впитывает то, что носится в воздухе, но он не политик. Он вскормлен вырвавшимися на свободу страстями.

Впрочем, если проанализировать ситуацию, понимаешь, что время принадлежит молодежи. В националистическом движении очень мало зрелых людей, и не они проявляют наибольшую активность, а молодые люди в возрасте тридцати лет. Первые уже привыкли оказывать сопротивление в условиях подполья или внутреннее сопротивление непосредственно в своей профессиональной деятельности. Примером такой оппозиции является работа кинематографистов. Им знакомы законы подполья, они знают, как довести работу до конца, они выросли в этой борьбе.

Можно было бы заняться политической борьбой, но пространство уже наводнили страсти, эмоции, амбиции. Зрелость стала недостатком, так как взрослые уже надоели. Придерживаясь своей философии, я избегаю разговоров о политике с молодежью, потому что невольно оказываешься в положении взрослого человека, который навязывается и читает наставления. Я понимаю, в каком свете молодежь видит представителей старших поколений, принадлежащих тому, что уже не является жизнью. Я не хочу оказаться там, где меня не желают видеть. Отсутствие желаний — один из великих законов жизни шпиона, о которой я уже говорил и которой живу.

Перевод А. и Е. Горячевых

Необязательные заметки

Рахман Бадалов

Время в форме факта

Куда мне деться в этом январе?
О. Мандельштам

Когда-то Андрей Тарковский написал, что идеальным кинематографом ему представляется хроника, под которой он понимает не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни. Время в форме факта, ваяние времени — таково, на его взгляд, призвание кино.

Под «временем в форме факта» подписался бы и историк, если история для него не справочник по хронологическим датам, а погружение во время и способ запечатлеть его в «форме исторических документов».

Все это, возможно, правильно, но будто и не про нас — или время придется изобрести особо хитроумное и замысловатое. Тарковский не дожил до перестройки, но, возможно, и сегодня воссоздавал бы нашу жизнь из зоны, космоса. Что до историков, которым предстоит прорываться ко всем документам, то вряд ли они смогут запечатлеть нечто вразумительное без помощи психиатров или иных специалистов по массовому психозу.

Микеланджело Антониони вспоминает, как в Париже ему пришлось присутствовать на съемках одного фильма. На магнитофон записывались вопросы, которые задавали какой-то женщине, и ее ответы, затем эти ответы перепечатывали на машинке и заставляли женщину выучить их наизусть — только после этого эпизод был отснят. Антониони невдомек, что долгие десятилетия в нас было вмонтировано специальное устройство — наше советское мировоззрение,— и наизусть учить не надо было. Начинаем мы уроки по правильным ответам еще с детского сада, а к старости, когда нормальные люди освобождаются от суетного, от гордыни, мы отчаянно цепляемся за правоверную идеологию, отлитую в титулы и побрякушки.

Вспомним, как «врасплох» мы интервьюировали человека с улицы: наш гомо советикус мгновенно отчеканивал «заголовки» господствующей тотальной идеологии («ограниченный контингент», «интернациональный долг»...).

Недавно вместе с залом я от души смеялся на программе советских киножурналов прошлых лет (тридцатые, сороковые, шестидесятые годы). Но ведь на экране были совершенно эйфорические лица — выучили свои жизни «наизусть» и довольны. Время в форме улыбок, веселых маршей, физкультурных парадов на фоне миллионов репрессированных и убитых.

А вот «время в форме факта» после апреля 1985 года. Едва ли не каждая документальная лента — прямой обвинительный акт, предназначенный то ли для следствия, то ли для компенсации прежней праздничности. Но в этом напоре, в этой агрессии обвинений вновь, увы, узнаются знакомые приметы большевистского сознания: распознать, заклеймить, уничтожить. На маленьком пятачке — только-только начали просыпаться от летаргии — в зажатом пространстве, в толкотне, с ходу, одним махом мы намереваемся распознать и заклеймить радикалов и консерваторов, сионистов и антисемитов, правоверных христиан и мусульманских фундаменталистов, продажных шестидесятников и отважных «новых молодых», подлинных патриотов и скрытых масонов — одним словом, на все времена отделить зерна от плевел, добро от зла. Как если в переполненном автобусе разъяснять смысл кантовского императива или христианских мудрствований о любви к ближнему (куда ближе?!)...

В моих выборочных заметках невозможно заниматься спокойным анализом различий между хроникой и документальным кино, типологией культуры и саморефлексией культуры, различием между художественным и научным универсумом. Надо ли говорить, что подлинные художники — и в игровом, и в документальном кино — хронику, и факты, и обычные предметы обихода превращают в Хронику жизни. Тот же Тарковский из женщины, бубнящей текст — и, наверное, панически боящейся, что скажет не так, оши-

бется,— сделал бы фильм о жизни, в диапазоне от Истории и Культуры до потаенного человеческого подсознания, воссоздавая ведомый только ему бег времени. А какую печаль безысходности отчуждения человека от самого себя — и свою пульсацию времени — создал бы Антониони. Однако оставим художников, термины и вернемся в наше время.

●

Уже несколько лет, о чем бы мы ни намеревались говорить, быстренько съезжаем на привычную колею: Сталин, партия, экономический распад, падение нравственности, трагические перспективы.

Азербайджанское документальное кино времен гласности и перестройки, как и везде в стране, обвиняет, разоблачает, сокрушает — время в форме митингов, отравленных городов, больных детей, разбитых судеб. И еще «свое» — в кино напрямую вошли материалы видеохроники бакинских событий: танки в городе, простреленные тела в морге, миллионная похоронная процессия. Январь 1990 года. Переломная и пограничная веха на историческом пути моего народа от апреля 1920 года.

После января, после введения чрезвычайного положения о чем другом я могу говорить? До ваяния временем пока не дошло, для этого нужен покой жизни, здоровая инерция людских взаимоотношений, но ведь боишься, что времени так и не будет отпущено. Ну а если эмоции будут захлестывать и жанр «свободной темы» начнет перерастать в прерывистый рассказ, поток сознания, если и у мыслей будут «подкашиваться ноги», пусть читатели меня простят. Бывает время, когда все не только крайне обострено, но и до крайности перемешано: истинное и лживое, праведное и греховное, и шум, и ярость, и тлен, и распад.

●

Осмелевшие азербайджанские кинодокументалисты так и норовят сегодня включать в свои фильмы хронику приезда Хрущева или Брежнева в Баку. Разоблачают. Раскрывают нам глаза на время в форме общенациональных встреч полуживого генсека, который путал Азербайджан с Афганистаном и те речи, что следовало читать днем, с теми, что предстояло прочесть вечером. Поразительно, как всего через несколько лет обычная официальная хроника может восприниматься иронически, саркастически, и это тоже, наверное, свойство нашей всесокрушимой истории — будто и не на жизнь смотришь, а на спектакль с постоянной сменой декораций. Но оставим генсеку генсеково и всмотримся в лица тех, кто вокруг, кто доволен, осчастливен и не скрывает этого, расплылся в улыбке. *Мы* это вокруг, мы с вами, дорогие мои соотечественники из Азербайджана. *Мы*, которые месяцами готовились к встрече. *Мы*, готовые вывернуться наизнанку — о, наше знаменитое гостеприимство и хлебосольство, после которого город долго постится. *Мы* — и среди нас те, кто по-прежнему в верхних эшелонах власти и вновь, как и тогда, опирается на «здоровые силы». Меньше всего я хотел бы, чтобы мои слова звучали как призыв к классовой расправе — ничего страшнее нельзя пожелать собственному народу. Нет, я просто призываю всматриваться и всматриваться, чтобы узнавать нас сегодняшних, с нашей рабской покорностью, с неразвитой волей, с внутренней *несвободой*, принявшей хронический характер.

Мы в этой хронике, *мы*, которые по-прежнему не стыдимся самих себя.

●

«Мейдан» («Площадь») — одна из самых интересных наших неигровых лент последних лет. Хроника? Да, в том смысле, что нет в фильме диктата авторского текста, нет предыстории и причинно-следственного ряда событий на площади — главное для авторов фильма пропитаться биотоками людей, пришедших на площадь, встать с ними вровень. Заур Магеррамов, с чьим именем прежде всего и связано авторство фильма, рассказывает, как площадь сначала не принимала его — человек с камерой долгие годы был в глазах людей символом официоза, правительственного диктата. Постепенно пришло понимание, что кинокамера может снимать не только «доносы», но и свидетельства истории, и человек с камерой стал для площади *своим*, а не *их* (факт, достойный попасть в историю кино). Пожалуй, об этом и был снят фильм: о том, как за политическими демаршами возникало это единство, эта общность людей.

Что за странный феномен эти круглосуточные лагеря-митинги в Баку и в Тбилиси, в Пекине и в Бухаресте? И почти всюду драматичный итог.

Признаюсь, пришел на площадь позже других — с детства страшно боюсь толпы, тесноты, давки. Достаточно воображению перенести меня в толпу на похоронах Сталина или в побоище на брюссельском стадионе, как прихожу в панический ужас. Но все-таки пришел на площадь. И остался до конца.

Почему? Почему оказались там многие из тех, кого трудно было там представить?

Почему оказалась там женщина моего поколения (условно — шестидесятники), симпатичная мне какой-то декадентской изысканностью и вневременностью: казалось, она живет вопреки — параллельно, в другом измерении — нашему времени. Что ее привело сюда, почему она не побоялась этой многоголосой и многоликой толпы?

Почему пропадал на площади мой друг, философ, практически всю свою сознательную жизнь проживший дома, в добровольном изгнании, среди книг и убеждающий других в необходимости жесткой дистанциированности между «избранными» и «прочими»? В каких случаях человек столь резко изменяет среду обитания, какой глубокий импульс, какой глубокий зов пригнал его сюда?

Признаюсь, полного ответа на все эти «почему» я не знаю (все более или менее ясно с теми, кто не пришел сюда по роду службы, да и с теми, кто был здесь по роду службы). Возможно, следует судить о «мейдане» с точки зрения глобальных процессов, огромных периодов этнической истории на разных ее этапах — я всего-навсего любознательный читатель гумилевских теорий и судить о них не берусь.

Впрочем, об одной причине «мейдана» я могу сказать ясно и недвусмысленно. Кризис власти, кризис самих принципов власти. Глубочайшее отчуждение практически всех слоев народа (кроме тех, кто прямо или косвенно с ней «завязан») от власти. Пропасть отчуждения. Можно обманывать себя еще год или десять лет, можно придумать сотни эвфемизмов, но суть все равно в том, что коммунистическая идеология оказалась абсолютно чуждой азербайджанскому менталитету (о других судить не берусь). И только признание этого — причем признание без обиняков и иносказаний, признание немедленное, а не в отдаленном будущем — даст нам шанс приблизиться к реальной общественной стабильности.

Отдаю себе отчет, как иронизирует мой невидимый оппонент по поводу моих романтических воздыханий: нашел что идеализировать — митинги, толпу, которая и родила стихию погромов. Идеализировать в то время, когда мы стали мудрее и трезвее, поняли, что такое популизм, какой кокетливой и в то же время агрессивной может быть толпа.

Все верно: и тогда на площади многие понимали, что так не может продолжаться вечно — нужны демократические выборы, парламент, независимые средства массовой информации, без которых не достичь общественного консенсуса. Стихия толпы. лишенной демократического сознания, неуправляема, опасна и разрушительна.

Все верно, и сегодня в тиши кабинета — увы, ни тишины, ни кабинета судьба мне не даровала, так что спрячемся за метафору — можно и пофилософствовать о том, что так называемая «социалистическая демократия» исправненько прошла все этапы аристотелевой классификации дурных общественных устройств от тирании к олигархии (партократия, кажется, грекам была неведома) и охлократии: понятно, что последнее — худшее из худших, как ни крути, множество мерзавцев хуже, чем один.

Все верно: но так уж случилось — нормально это или нецивилизованно, противоестественно, другой вопрос,— что именно на площади, на мейдане, пришло к нам это сознание реальности «мы», казалось, необратимо изъеденной множеством расслоений («несколько наций в одной нации» — трагический парафраз зловещей мысли Ленина).

Фильм завершается так, как и завершилась первая площадная эпопея в стране — войска очистили площадь (о подробностях лучше расскажут сами, так и хочется сказать — фронтовые операторы). Человек с камерой до конца выполнил свою миссию свидетеля истории.

Эмоциональная память подсказывает мне множество подробностей той ночи и того утра: как разбудили меня в самую рань близкие — в ту ночь я спал сном праведника, наверно, было тихо, как никогда,— безнадежность и безысходность в глазах дочери, танки на нашей улице, бурлящий город, слухи, неуправляемая толпа (именно здесь она была толпой, а не на площади), впервые полетевшие стекла. Начался наш первый комендантский час.

В экстазе взаиморазоблачений общественность страны так и не поняла, началом чего была эта «очищенная площадь». Проглотила наживку, выискивая, какие «флаги» были на площади (о, ужас, кто-то видел там исламский флаг), какие звучали там голоса.

Ну а мы, бакинцы, и представить себе не могли, что впереди нас ждут не дубинки и газ, а наши героические советские танки, жесткая и жестокая стрельба по безоружным людям и по балконам, по окнам. И уже по официальной статистике жертвы будут исчисляться сотнями.

Впереди был январь.

●

Хорошо бы организовать просмотр фильмов о Народных фронтах разных республик. Многое бы прояснилось.

Фильм о Народном фронте Азербайджана «Когда мы вместе» — одночастевый. Но и за это время успеваешь услышать и увидеть — всмотримся!— какие разные его лидеры. В одних чувствуется либерально-буржуазная закваска, в других — убежденность радикала, социального реформатора, в третьих — конституционно-правовая выдержка, в четвертых — отсвет восточного мистицизма. Идеи идеями, но как важно увидеть человека, его пластику — манеру говорить на митинге, исповедоваться перед камерой, просто двигаться.

Нашлись люди, которые пытались и пытаются доказать, что происходящее в Баку не имеет ничего общего с процессами в Восточной Европе, и тем самым дискредитировать Народный фронт. (Сакраментальный вопрос «кому это выгодно?» в данном случае слишком тривиален.) И следует сказать прямо: в определенных слоях населения — наиболее напуганных, теряющих почву под ногами — такая дискредитация дала свои плоды.

Удивительный мы народ. В Азербайджане — наверное, мы здесь не оригинальны — мирно уживается антипартократическое сознание и, как бы это точнее выразить, боязнь нового, падение интереса, если мгновенно что-то не меняется. Что за этим стоит? Страх, парализовавший волю? Приниженность и прибитость? Гражданская и бытовая незащищенность? Опыт жизни, говорящий, что от перемен всегда жди худшего? Из этой больной почвы и будет произрастать множество в одних случаях чахлых и больных, а в других случаях — попросту ядовитых цветов.

●

«Мейдан» так и не вышел не только к всесоюзному, но и к республиканскому зрителю. Возник цензурный запрет теперь уже на близкую историю, появились лица — живые,— которые нежелательно показывать с экрана.

У всех в стране «полка» пустеет, а у нас только заполняется. Странно, не правда ли, но разве подобное у нас только с фильмами? Когда в стране понятие «политический заключенный» стало исчезать, у нас они начали появляться, и счет идет уже не на десятки. Когда везде в стране обсуждение законов в парламенте стало затягиваться до нескольких чтений, у нас внедрили рекордные темпы — до нескольких минут на закон. Только у нас может быть рекордное число массового выхода из КПСС, а затем подавляющая, ошеломляющая победа коммунистов на выборах (о том, как из Баку выпроваживали приехавших в качестве наблюдателей народных депутатов, пусть поведают журналисты). И не удивляйтесь, если мы докажем всему миру, что способны перейти на рельсы рыночной экономики в однопартийной, административно-командной системе. Удивлять, так удивлять.

●

Смотреть январскую хронику трудно, впрочем, видеть это наяву было пострашней. Избави бог еще раз увидеть трупы на улицах, а потом миллионную процессию с нескончаемой вереницей носилок с трупами.

О январе написано уже немало, но многое так и осталось недоговоренным и недосказанным. Вопросы, вопросы — на них мы будем отвечать до конца своих дней, а затем передадим эстафету нашим детям и внукам. Почему надо было не просто захватить город, но захватить с изощренной жестокостью, подминая под себя людей, машины, будто для того, чтобы раз и навсегда отбить охоту к каким-либо выступлениям. Почему представителям самых высоких эшелонов власти понадобилось за день до ввода войск уверять жителей города с экранов телевидения, что никакие войска в город не войдут и никакого комендантского часа не будет,— о чрезвычайном положении и речи не было: если они ни о чем не знали, если им не сообщают и никто их не спрашивает, то как они могут оставаться на своих постах? Наивный вопрос? А если они знали...

Страх по-прежнему парализует нашу волю, но, думаю, пора нам всем понять, что по отношению к январю будет определяться наше будущее в самом непосредственном, жизненно-бытийном его значении.

Январь 1990 года стал важным рубежом нашей истории XX века, в которой каждый раз с четкой последовательностью пресекались попытки национально-освободительного движения.

Январь 1990 года показал, что в мире сохраняются стереотипы геополитики, прикрывающейся лозунгом «политической реальности» (цивилизованные страны с «пониманием отнеслись к вводу войск»). При этом от нас потребуется немало мужества, чтобы преодолеть безысходность и не впасть в ложную гордыню.

Январь 1990 года показал, что власть приложит все силы для сохранения существующих принципов, а иначе нельзя сохранить привилегированное положение тех, кто, говоря словами Оруэлла, «особенно ра-

вен». Я бы назвал это «кагэбэшным сознанием», хотя в генезисе его много имен, к примеру, Платон. Суть его в том, что «особенные» обязаны (вынуждены) контролировать ситуацию. Мобилизация «здоровых сил» и контроль над ситуацией — основные принципы подобной власти.

Январь 1990 года затормозил у нас развитие демократических процессов, хотя нетрудно предположить, что и без января потребовалось бы немало усилий, чтобы привнести в разрушительную стихию народной ненависти ростки демократического сознания.

Январь 1990 года показал, что широкие слои общественности страны еще пропитаны предрассудками массового сознания и благодаря этому ими легко манипулировать. Иначе чем объяснить, что то, что совершили доблестные советские войска в Баку в ночь с 19 на 20 января, так и не всколыхнуло общественное сознание. Мы по-прежнему падки на мифы, и поэтому в одних случаях рвем на себе рубаху, упоенные отчаянной борьбой, в других — преспокойненько ничего не замечаем.

Январь 1990 года — какие бы новые факты ни открывались — останется преступлением Системы точно так же, как голод в период коллективизации, как 37-й год, как Венгрия, Чехословакия, Афганистан, как Новочеркасск, Алма-Ата и Тбилиси...

●

Говоря о январе 1990 года в Баку, нельзя избежать темы погромов.

Оставлю вопрос о Карабахе и все, что с ним связано. Скажу только, что, на мой взгляд, лучше все-таки действовать в границах права — конституция, международное право, государственное право. Если необходимо вносить в них коррективы, то вновь в границах принятых правовых процедур. Какими бы ни были существующие законы, какой бы ни была существующая политическая реальность — справедливой или несправедливой,— пренебрежение ею чревато еще бóльшим злом.

В международном аспекте формальный паритет вины опасен и вреден; с гуманитарной точки зрения, когда с обеих сторон пролилась кровь,— единственно возможен. Боюсь, не скоро мы доживем до того, чтобы азербайджанцы и армяне начали показывать по собственному телевидению не зверства других, а собственные проступки (подобные видеоматериалы, думаю, есть в обеих республиках).

Теперь мне хотелось бы процитировать несколько фраз из обращения, которое мы принимали в те январские дни в нашем Союзе кинематографистов.

«Мы осуждаем факты вандализма и насилия, которые прокатились по нашему городу, мы не можем отступить от представлений, что каждая человеческая жизнь бесценна, что ничем нельзя оправдать насилие над безвинным человеком. Наши слова не просто тактический ход, не просто успокоительная пилюля, многие из нас доказывали это своими поступками, когда спасали безвинных людей. Мы боролись с безысходностью, отчаивались от малости наших возможностей и вместе с тем выполняли свой долг. Но какими бы горькими и трагическими ни были те или иные события, из них следует делать выводы, извлекать уроки».

Следует ли здесь что-либо добавлять, разве любой здравомыслящий человек может не понимать, сколь важна неотвратимость наказания — наказания строго по закону, когда избегают мести, скрупулезно выявляют меру, степень вины каждого подсудимого. Когда в обвинителях только печать, а не юридические органы, неизбежны молва, слухи, взаимообвинения и в конечном счете социальный разброд, падение нравственности, перманентная национальная вражда. И вновь хочется задать вопрос, который не раз звучал на страницах печати: так где же были власти? Где они до сих пор? И безответственность — самое деликатное, что можно им инкриминировать.

Теперь о том, о чем мало говорят и пишут, по крайней мере в связи с подобными событиями. Может быть, со мной не согласятся, сочтут, что ищу хитроумные лазейки, но для меня есть что-то противоестественное, когда интеллигент принимает позу обвинителя. Скажу больше, вообще не понимаю, как можно обвинять того, кого не любишь или по крайней мере не понимаешь. У правоохранительных органов иная функция. Не о них речь. О другом и других.

Все время хотелось спросить у тех, кто всуе повторял «Сумгаит», «Сумгаит» — мифология давно стала нашей второй натурой,— почему же вы не удосужились пойти и взглянуть на тех живых людей, которые оказались на скамье подсудимых. Разве живой человек, даже совершивший преступление, даже совершивший страшное преступление — оставлю пока вопрос о степени вины,— перестает быть для нас человеком, неужели интереснее размахивать кулаками, чем разобраться в этом человеке? Что же тогда уроки Достоевского, дискуссии вокруг «Высшего суда», наконец, для кого Нагорная проповедь? А что, если в Москве был не

гражданский суд, а показательный процесс, в котором заранее было известно, что кого-то придется отдать — жертвоприношение?— на откуп общественному мнению? А что, если... Разве для интеллигента демаркационная линия не должна проходить между силами, пытающимися закрепить свое господство, опираясь на демократическую фразеологию и демагогические разглагольствования, и силами, защищающими права личности, даже самой униженной, самой растоптанной, самой исковерканной, с двумя извилинами и первобытной системой ценностей? Но она ни в коем случае не должна проходить между народами и религиями.

Найдутся читатели, которые мне не поверят. Бог им судья.

В одном я уверен: все эти межнациональные побоища продемонстрировали, что за все эти десятилетия, в которые мы пытались изобрести собственный путь, переписывать заново мировую историю и мировую культуру,— покалеченной и опустошенной, возможно, более других, оказалась интеллигенция. Ее инфантилизм, боязнь жизни с ее глубинами и безднами, внутренняя робость и зависимость — вот еще одна цена этих побоищ.

Если не дано мне право говорить от имени интеллигенции, то считайте, что я говорю о себе.

●

Почему-то мне видится наше «время в форме факта» — мельтешащим, призрачным, гнетущим, само на себя наскакивающим, само себя поедающим, само себя уничтожающим. Это пострашнее, чем просто безвременье.

Баку

Елена Стишова

Мы как оккупанты

Из личных воспоминаний: во время Международного конгресса женщин-кинематографистов в Тбилиси, за год до кровавого дебюта высшей власти в столице Грузии и на пике перестроечной эйфории, американская коллега уважительно поинтересовалась, сколько республик в составе Союза. Услышав, что пятнадцать, она сочувственно всплеснула руками: «Бедняги! Вам приходится говорить на пятнадцати языках!»

Что именно так оно и есть, не подвергалось сомнению. Я не стала ее разочаровывать и объяснять, что в федерациях имперского типа проблема межнационального общения решается много проще: достаточно, чтобы все владели языком метрополии, языком Центра — только и всего.

Цена такого рода «интернационализма» слишком хорошо известна. Со слов киевских коллег знаю такой, к примеру, факт. Когда на киностудии имени Довженко было решено вести на украинском все делопроизводство, многие кинулись на городские курсы учить родной язык. К тому же на студии не оказалось ни одной пишущей машинки с украинским алфавитом...

Примеры можно множить, да нет нужды. И без того ясно: «социалистическое содержание» нанесло сокрушительный удар по «национальной форме». Когда миф о «необычайном расцвете многонационального искусства» развеялся, при свете дня оказалось, что в советской культуре нет, пожалуй, большего раритета, чем национальное искусство. Никто доподлинно не знает, что это такое на самом деле. Фольклор? Этнография? Ментальность? Дух? Да и можно ли говорить о национальном искусстве в безрелигиозном обществе?

Иван, не помнящий родства,— фигура, типичная для «новой исторической общности». Маститый маэстро, лауреат всех премий, ополчился в свое время на дебютную картину Сергея Овчарова «Небывальщина». Традиционный фольклорный герой показался лауреату карикатурой, пасквилем, оскорбляющим достоинство русского народа.

Можно отнестись к этому факту, как к анекдоту. Тем более что другой маэстро, еще более маститый, поддержал картину дебютанта именно за народность. Но я-то вижу здесь не столько курьезный факт личной биогра-

фии художника, сколько типологию, порожденную советскими пропагандистскими ценностями. Как пелось в известной песне: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз...»

Прислушаемся к себе. Не в нашем ли несчастном сознании, изнасилованном марксистско-ленинской трактовкой национального вопроса, само понятие — «национальное» — рассыпалось в прах, балансируя на острой, как лезвие бритвы, грани: шаг влево — национализм, шаг вправо — шовинизм? И — в обоих случаях — стрельба без предупреждения.

Существование в таком режиме неуклонно сдвигало декларируемое национальное кино в сторону национально обесцвеченного унитарного кинематографа. Слава Богу, не сдвинуло до конца. Шедевры национального кино рождались вопреки и наперекор, под тосты об «интернационализме». Я не против интернационализма, но само понятие захватано грязными руками до такого состояния, что неплохо бы его заменить другим словом. Хотя бы на время.

А ведь в двадцатые, в пору идеологической невинности, интернационализм исповедовался истово, как религия. «Я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...» Сегодня над таким мироощущением открыто издеваются. Мне ближе подход критика Е. Марголита, который в блестящей статье «Прощание с «уходящей натурой»[1] выявляет художественное сознание, имманентное этому мироощущению.

Доминантой вненационального кинематографа, порожденного этим сознанием, стал программный утопизм, а если проще — то отрыв от реальности. Национальной в том числе.

Раскручивая механизм отчуждения от национального, использую в качестве модели себя. Хорошо помню внутренние диалоги с самой собой по национальному вопросу в разные поры профессиональной жизни. В этой заколдованной сфере любая неофициозная мысль, додуманная до конца, становилась непубликабельной.

Но и сегодня, когда стало можно додумывать и говорить вслух, говорится с трудом. По многим причинам. У одних национальное самосознание вообще отсутствует, у других оно, напротив, болезненно гипертрофировано, у третьих замещено идеологическими стереотипами. И у всех у нас нет опыта говорения на эти темы. Национальная почва всегда была подобна минному полю — благоразумней было держаться подальше от него. Сегодня мины взрываются одна за другой. Едва эмансипировавшись, национальная идея попала в митинговую стихию и стала добычей толпы. Напряженка на оси «Центр — республики» нарастала в геометрической прогрессии, и очень скоро мы оказались в очередной ловушке. Раньше, когда мистерия «братской семьи народов» разыгрывалась изо дня в день, в русском журнале необходимо было время от времени писать о национальном кино — для приличия. Теперь писать о нем стало неприлично. Ибо стыдно судить о том, чего не знаешь, делая вид, что между нами ничего не произошло.

В нашей сегодняшней действительности (как и во вчерашней) в восприятии многих и многих быть русским — значит быть представителем Центра. И как ни сладко для нашего слуха звучат справедливые и благородные речи некоторых публицистов, речи о том, что в сегодняшней борьбе республик против Центра водораздел проходит не по пятому пункту (национальность), а по седьмому (партийность), синдром «старшего брата» так просто не скинуть со счетов. Ни центру, ни республикам. Он продолжает действовать — по крайней мере на уровне массового сознания.

Когда на конфликтной комиссии СК СССР мы смотрели документальный фильм эстонского режиссера Олава Неуланда «Пакт Гитлер — Сталин», всех нас ошеломили никогда не виданные кадры вторжения Красной Армии в Эстонию в 40-м. Но не меньше потрясла ярость автора, ярость, которую он уж точно не раскладывал по пунктам — пятый, седьмой и т. п. Кое-кто из коллег, сидящих в зале, содрогнулся от заряда этой ненависти, принял ее на свой счет, разгорелась отнюдь не академическая дискуссия. И хотя конфликтная комиссия большинством голосов обратилась в секретариат с просьбой поддержать картину и разрешить ее показ в киноклубах, секретариат высказался против. Секретариат посчитал, что эта картина объективно разжигает национальную рознь.

Напомню, что в сознании нашего народа немцы отделились от немецких фашистов много лет спустя после войны да и то после того, как было спущено указание «сверху». Пусть меня обвинят в русофобии и забросают камнями за такую параллель, но — на войне как на войне.

Когда Альгимантас Грикявичус и Альгирдас Дауса снимали «Чувства», они изо всех сил «выбирали выражения». И все равно сказали очень много в той притче, датирован-

[1] Марголит Е. Прощание с «уходящей натурой».— «Киносценарии», 1991, № 1.

ной 1968 годом. Не только «Чувства» — и другие литовские картины нечаянно проговаривались, что русские оккупанты для литовцев были еще хуже, чем немецкие. В фильме «Чувства» среди персонажей-немцев все-таки нашелся Фердинанд, который по-человечески относился к Каспару. И авторы позаботились вложить в уста «хорошего» немца реплику о том, что наци и немецкий народ — совсем не одно и то же. «Хороших» русских в картине нет.

Но настал 1991 год. И я смотрю фильм «Билет до Тадж-Махала» Альгимантаса Пуйпы, режиссера послевоенного года рождения, литовца, для которого и пакт «Риббентроп — Молотов», и вторая мировая война, и немецкая оккупация, и «лесные братья» — история, а не личный опыт. Может, именно поэтому он не выбирает выражений? Хотя в «Вечном сиянии», картине 87-го года, где Пуйпа впервые прикоснулся к теме послевоенной оккупации Литвы Советской Армией, он предпочитает язык иносказаний. Можно было подумать — или хотелось думать? — что режиссер щадит наши чувства. Максимум его смелости — это полупьяный гебешник, завсегдатай местного кафе, на которого сельчане не очень-то и внимание обращают. Притерпелись, видно, к 56-му году.

В новом фильме А. Пуйпы действие происходит лет на десять раньше — в первые послевоенные годы, ставшие в Литве годами массовых репрессий, раскулачивания и высылки в Сибирь. Хозяин всей округи, ее полновластный диктатор — русский капитан. В трактовке актера и режиссера, капитан армии-освободительницы — злобное животное, упоенное своей неограниченной властью над людьми, чье превосходство он подсознательно чует и оттого еще больше звереет. Этот садист портретирован, на мой взгляд, с большим знанием дела — советский опыт пошел впрок авторам.

Еще страшнее выглядит женский образ. Русская женщина, брошенная кем-то «ппж», алкоголичка и блудница, оказывается к тому же следователем «смерша» и пытает главного героя в жутких застенках...

Что со всем этим делать? Обидеться? Упрекнуть режиссера за то, что он сеет национальную рознь? Попенять ему за «большевистскую прямоту» художественного высказывания?[2]

Фильм «Билет до Тадж-Махала», снятый не на государственной, а на независимой киностудии «Катарсис», вряд ли увидят зрители, подобная продукция непопулярна на прилавках русского Бомбея. Зато весь мир видел по ТВ хронику кровавого воскресенья в Вильнюсе и запомнил того омоновца, русского парня, «мужика», как любовно называет их Невзоров, который ритмичными махами профессионала рубил прикладом беззащитных — как траву косил. А старая литовка повалилась ему в ноги, умоляя опомниться Христа ради...

Два кадра как впечатались в сетчатку. Лоретта, сначала еще живая, потом мертвая со следами «братской» танковой гусеницы на бедре. И неизвестный с непокрытой головой в день похорон жертв, русский, который проси прощения у литовцев за то, что учинили в Вильнюсе омоновцы именем русских. Как мог, он спасал нашу честь. Честь русских людей.

Легко ли быть русским?

---

[2] Критик Раиса Паукштите в рецензии на этот фильм в литовском журнале «Кинас» (1991, № 1) интерпретирует гротескное изображение русских персонажей как упрощение существа дела. По мысли автора рецензии, все было сложнее и страшнее.

Разборы и размышления

Начать сначала

Портреты украинских документалистов перьями украинских критиков

Фильмы с маркой «Укркинохроника»... Еще памятно то время, когда к работам этой студии наш журнал обращался, как правило, при необходимости «в лоб» откликнуться на самые красные из всех красных чисел, на помпезнейшие из всех помпезных партийных мероприятий, на самые заметные идеологические кампании.

И вдруг... Но нет, не вдруг. И новые, прежде запретные, темы, и новые по эстетическому уровню фильмы, и новые или по-новому зазвучавшие имена — все это было, было.

Причем не на памяти долгожителей или старожилов, но — на глазах еще активно действующих поколений. Поколений, из которых вышли не только участники и свидетели «застоя», но и преемники «оттепели». Именно оттуда, из 60-х, пробивался в стенах студии ручеек живой жизни. Стоит припомнить: «Плотогоны» Игоря Грабовского и Юрия Ткаченко, «Корабли не умирают» Михаила Юдина и Константина Славина, «Двое с мартена» Виктора Шкурина, «Люди над облаками» и «Иду к тебе, Испания» Арнальдо Фернандеса... А еще — первоклассные спортивные ленты Яна Местечкина и того же Юрия Ткаченко... А еще — блистательные операторские работы Эдуарда Тимлина... А еще — особое кино Рафаила Нахмановича, чья драматичная судьба завязывалась именно тогда — в 60-е — в дружбе с писателем Виктором Некрасовым, о котором он, Рафа, не предавший своего Вику и сполна хлебнувший лиха за эту верность, такой негероический с виду и такой поразительно стойкий, создает теперь — на старте 90-х — свое личное кино...

Впрочем, и 70-е годы не были для «Укркинохроники» эпохой сплошных потерь... Даже в то время, когда студия стала придворным предприятием ЦК КП Украины, там снималось и другое кино. Честное авторское кино Владимира Шевченко, трагически скончавшегося в первый чернобыльский год. Серьезные киноисследования кинодраматурга Максима Коростышевского по целому ряду острейших социально-экономических проблем, о которых заговорили только к концу 80-х и к которым он, ушедший к этому времени из жизни, изо всех сил пробивался сквозь тотальные запреты. Многострадальный «Тыл, ковавший победу» Юрия Каравкина, Константина Славина и Леонида Автономова. Приметные картины кинодраматурга Владлена Кузнецова и режиссера-оператора Израиля Гольдштейна, среди которых «Суфлер» и «Четыре выстрела в двух безоружных женщин»... Особое кино Роллана Сергиенко, оказавшегося в ту пору для «Укркинохроники» как бы не к месту и уж тем более не ко времени...

Итак, «Укркинохроника» начала 90-х — что это: новая студия или — студия возрождающаяся?

Очевидно, возрождающаяся. Может быть, не как целостность, но как неистребимое прибежище индивидуальностей, пусть немногих, но достаточно ярких и небоязливых. Мы остановились на именах пяти документалистов разных поколений и предложили пяти украинским критикам — тоже разных поколений — рассказать о них.

Сергей Тримбач

В тени саркофага

Май 1990-го, у Верховного Совета Украины множество людей с национальными флагами, плакатами: началась сессия. Среди этого народа блуждает человек с камерой... Почти не рискуя ошибиться, можно предположить: наверняка Георгий Шкляревский вновь снимает картину о проснувшихся, заговоривших людях. Это и есть внутренняя тема всех последних фильмов киевского режиссера: его в первую очередь интересует психология, мир человека, преодолевающего страх.

В год Чернобыля Шкляревский сделал фильм «Уроки правды». Многофигурный коллективный портрет тех, кого по привычке долго именовали «бойцами партии». Диктор так и вещает за кадром: наши герои при любой погоде настоящие бойцы. В центре картины директор черкасского завода «Ротор» Алим Чабанов, из-за которого разгорелся сыр-бор и которого выручал из беды сам генсек. Его строптивость не понравилась партийным боссам области, начались преследования. Директора спрашивают:

— Могли посадить?

— Могли,— отвечает.— Товарищ Бут сказал: еще одно письмо и посадим...

«Товарищ Бут» — тогдашний второй секретарь обкома. Лейтмотив картины прост — панорама по обкомовским окнам, за кадром стук пишущей машинки. И — бац! каретка переводится, пишем с новой строки. Уже без «товарища Бута». И дальше многословно о партии и «партийной принципиальности».

Картина Шкляревского тем и любопытна: предельно четко выражает она тогдашнюю идеологию перестройки. Нужно чуть поднатужиться и прополоть сорняки, проявить «принципиальность». Тогда дело пойдет, ведь дело наше хорошее, да и люди в общем и целом тоже.

Отчего все же Чабанов ринулся в драку? Авторы солидарны с самооценкой героя: он боец, который «каленым железом» готов выжигать все безобразия нашей жизни... Внешняя дисциплина превыше всего, внутренние колебания и коловращения — для кухни, быта, интима.

Как это ни странно, но практически та же схема видна и в следующей картине Шкляревского — «Я шел на верную смерть...». Времена, конечно, другие, но персонажи очень похожи. Только на месте «товарища Бута» Берия, а против него столь же отважно, как и Чабанов, борется Тимофей Строкач. Разумеется, сами условия борьбы посложнее и поопаснее, однако суть та же: «настоящий партиец», «настоящий чекист» против поддельного.

А дальше — «Ми-кро-фон!». Начинается он фрагментом из давнего фильма «Подвиг каждый день». Чернобыльская атомная вводится в действие. Ликует за кадром диктор: «Свершилось! В канун всенародного праздника, шестидесятилетия Великого Октября, атомный гигант начал работать на коммунизм». Немного смущенное лицо рабочего: «Я вот смотрю на все это, что мы здесь сотворили, и, честное слово, никогда так не вырастал в своих собственных глазах, как сейчас...» И в стык — май 86-го, известные всем события. Предсовмина Украины Александр Ляшко вещает в телекамеру: «Авария в Чернобыле высветила чудесные качества советских людей: ответственность, порядочность, мужество, самоотверженность, благородство, щедрость души, чуткость, готовность прийти на помощь, выполнить до конца свой служебный и гражданский долг...»

Отметим этот момент сразу: работавшая во многих, в том числе и в двух предыдущих фильмах Шкляревского, парадигма мышления — «беззаветная преданность», «настоящий партиец», «выполнить до конца», встроенная в новый послечернобыльский контекст, внезапно обнаруживает свою пародийность. «Подвиг каждый день» продолжается, винтики самоотверженно крутятся, но система продолжает сохранять свою катастрофичность, на каждом углу угрожая отдельно взятому человеку. Все по-старому, все как всегда: гремит оркестр, идут люди на первомайскую демонстрацию. И параллельно самоотверженная сосредоточенная работа — роют тоннель под взорвавшийся реактор.

И тут же крутят педали велосипедисты: все нормально, братишки, машина наша на ходу, нет ей износу.

Все это и автопародия — вчерашнее документальное кино, позавчерашняя схема мышления. Но вот нас ставят лицом к лицу с пострадавшими...

Георгий Шкляревский

Народичи. Райцентр в Житомирской области — кто знал, кто помнил о нем? Никто. Никого не интересовало, как же живут здесь люди. И вдруг жалобы с экрана: здесь же невозможно жить! Здесь радиация, вот в этой траве, по которой ходят дети. Позвольте, но как же, этого не может быть. У нас же все во имя, все во благо этого вот человечка... Неужели он принесен в жертву благополучию, спокойствию системы?

Принесен, ибо не он тут главное. И потому нет ответов на вопросы матери, обращенные в камеру: «Почему у нас привозная вахта? Почему у нас привозные доктора? Все доктора с маленькими детьми выехали от нас. А почему мы держим здесь своих детей? Чем мы кормим детей своих?»

Сквозь слезы — учительница: «Сегодня у нас опять закончилось обследование, опять каждый четвертый ребенок: увеличение щитовидки, печень увеличена... разные другие отклонения...»

Один, второй, третий — все они говорят в камеру о себе и своих детях. Говорят совсем не то, что всегда было положено говорить советскому человеку. «Что нам сыпнут, то мы клюем»,— написал когда-то Иван Драч. Так оно все и было.

Центральная часть фильма снята подчеркнуто неторопливо и обстоятельно — камера Н. Степаненко не мельтешит, не суетится, вглядываясь в лица, вбирая в себя окружающее смертоносное пространство. Напряжение идет изнутри кадра, по нарастающей. Чтобы взорваться в финале...

Митинг, один из первых больших митингов в Киеве, у Центрального стадиона. Говорят ораторы — о Народичах и его людях, о позорной политике Министерства здравоохранения, по сути дела предавшего народ. И вдруг — вырубились микрофоны. Случайность? Происки аппаратного воинства? Неважно. Счастливая находка: вся площадь дружно скандирует «Ми-кро-фон!», требует слóва.

Панорама села, колючая проволока, шлагбаум, за которым — зона радиации. Унылое, страшное безмолвие. Но за кадром звучит все то же многоголосное: «Ми-кро-фон!» Так заканчивается картина, принесшая Шкляревскому известность. Небольшая двухчастевка с впечатляющей силой выразила стремление людей вырваться из рабства, из плена лживых слов. Еще далеко до царства свободы, в нем отвоевана лишь небольшая площадь. Но отвоевана.

«Тень саркофага» — по сути продолжение, развитие темы. Вот только трагедийный накал повыше. Сразу же, безо всякой подготовки нас окунают в пучину людского горя. Уезжают из родного села, заколачивают окна и двери родного дома. Страшный женский плач, причитания: «Ой, у мэнэ ж вона дочечкой була и всим була...» Это о хате, в которой прожита жизнь. Теперь она заканчивается. Другая — то уже не жизнь, то уже что-то другое. Переломилось все, веками складывавшееся. В первый ли раз в этом-то веке? Не так ли гнали в колхозную действительность, в сибирские лагеря, сгоняли со дна будущих рукотворных морей? Вроде бы пора уже привыкнуть украинскому крестьянину к тому, что не он определяет, где и как ему жить. Нет, нельзя, невозможно привыкнуть.

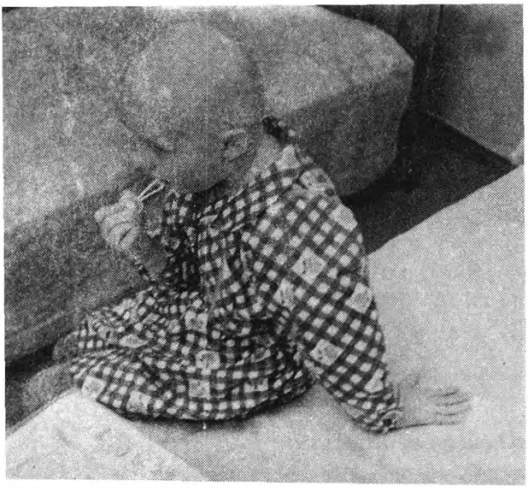
А дальше в картине пройдет перед нами череда лиц, воплощающих ту силу, которая все и вся определяет. От министра Чазова до первого секретаря обкома Кавуна. Привычка к спасительной, как им кажется, лжи — она уже не спасает, тем более здесь, где каждое слово тут же сопоставляется с реальным действием. Люди говорят, говорят, говорят, отбрасывая прочь страхи. Кого и чего бояться — черный день на дворе,

черная тень на земле. И снова в финале большое собрание людей, в этот раз они допытывают приехавшее из Киева и Житомира начальство. Как они жалки перед лицом женщины, чей страстный монолог звучит в финале: «Я не хочу тридцати рублей, я не хочу двадцати процентов. Вывезите на чистую землю... Дайте моим рукам работу, я не могу без работы! Я не могу без земли, я умираю...»

Трагедийная фреска увенчивается теми же эпизодами прощания с родной землей, с родными, обжитыми гнездами. Человек уезжает отсюда в никуда, в смерть. И разве могло закончиться чем-то иным все это время, в которое мы усердно истребляли человека, землю, Родину? Не все, конечно, но многие.

Такой вот путь режиссера Шкляревского за каких-нибудь три года. От привычной мифологии нашей повседневной жизни до едва ли не полного разрыва с ней, четкого осознания того, что жизнь эта кончилась и если продолжить ее в тех же формах, то ничего, кроме смерти и окончательного разорения, нас не ждет. Заговоривший, заголосивший народ подымается в кадре, отрываясь с корнями, с кожей и кровью от прежней, от недавней жизни. Сознаем ли мы эту тоску? Похоже, что Шкляревский сознает. Потому и ищет ответы не вне человека, в привычной идеологической выси — застойной ли, перестроечной ли, а у самих людей. Вот этих, что снова вышли на площадь. И тех, что не вышли, не доверяя уже никому и ничему.

«Тень саркофага»



«Таинственный диагноз»

Владимир Войтенко

Хата

> Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!
>
> *Антуан де Сент-Экзюпери*

Киев — лето — июль. Найти в городе режиссера «Укркинохроники» Александра Коваля невозможно: появляется — исчезает, словно истаивает. Оно и понятно — набирает режиссерский курс на кинофакультете Театрального института и одновременно снимает полнометражный фильм. Ага, видели в Союзе кинематографистов. Приезжаю, но поздно: «Да, был, но уже, наверное, на своей фазенде».

Завязло в зубах: на фазенде...

Ломали мамину хату.

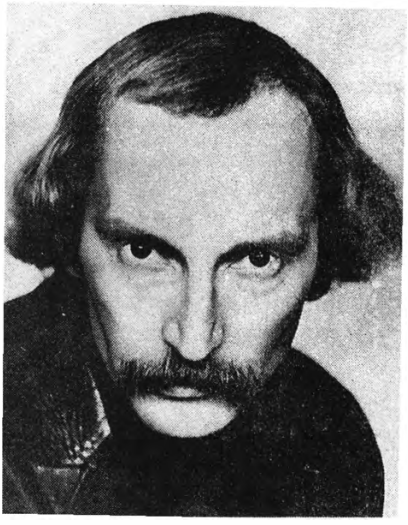
«Моя сестра стояла под грушей и горько плакала, плакали соседи, плакал и я. И только Катерина, дочка, не плакала — малая она еще: «Ур-а-а! У нас будет новая хата!..»

Это из сценария того самого полнометражного фильма. Эпизод уже снят, а значит — хаты больше нет.

Родина Александра Коваля — село Жердова, от Киева полтора часа езды.

Сидим под старым каштаном. В пяти метрах от нас фундамент под новую хату — на том самом месте, где раньше стояла мамина, до нее — дедова хата, та сгорела в войну.

Из сценария. Фото. «А это дед Семен... с подстриженными пшеничными усами. Говорят, я на него похож, хоть, думаю, что похож я на маму. А мама на своего отца, то есть на моего деда. Расстреляли его, бедолагу, немцы в сорок третьем в Бабьем Яру. А утверждают, что там только евреев убивали...



Александр Коваль

Коваль действительно похож на маму. И на деда. Только пшеничные усы не подстрижены. Худой, да настолько, что кажется высоким при не таком уж и выдающемся росте. Еще похож на чумака — не только с виду — беспокойная душа: если не в Крым за солью, то еще дальше — «в мир по соль».

Да, мы сидим под каштаном... Жалуется: фильм «не идет». Вот и сегодня: собирались снимать бабку-соседку, а ее, оказывается, дочь увезла к себе — километров за сто от Жердовой. Бабка совсем старая, лет под девяносто.

— А какие люди ушли навсегда! Я ведь хотел снимать эту ленту в семьдесят первом. Не дали: «Куркульский дух какой-то сидит в вас, Александр Иванович»,— было сказано мне.

Из сценария. ...Жаль только, что не снял ни деда Савку, не снял ни метра, ни полметра моей мамы. Всего-то — единственное фото под жасмином: внимательно смотрит на меня, руки тяжелые, натруженные сложила на костур, но палки не видно, а вокруг мамы море цветов, цветы белые-белые... Как раз цвел жасмин.

Коваль рассказывает, что долго не проявлял пленку — заботы, суета. Но вдруг захотел посмотреть на старенькую, напечатал это фото. Потом оказалось — мамы не стало еще вчера.

Он вспоминает, как без нее хата медленно умирала, уходила в землю. С каждым приездом все невыносимее становилось на нее смотреть.

— Сколько помню, снимал я кривых, горбатых, покрученных — людей, искалеченных работой. И никогда не получался у меня холодный бетон, отвесные стены городских домов. Наша «Укркинохроника» была придворной студией, и приучили людей фиксировать мертвечину... Вот и кинооператором поначалу пришлось стать не от хорошей жизни. Думал, что слишком косноязычен — не могу толком объяснить: что мне, режиссеру, надо. Но потом понял — так уж приучили. Эту фразу я услышал когда-то на съемках «Переклички», был у меня такой фильм о ветеранах революции — участниках Октябрьской демонстрации в Киеве. Бывший директор Института истории Украины Белоусов, рассказывая о прежней работе, вдруг бросил: «А разговаривали мы по-русски...» Замолк. Потом смешно так оглянулся, нет ли кого, и говорит: «Ну, так уж нас приучили». Это в фильм, конечно, не вошло.

Коваль чем-то напоминает чумака. Чумачество — древняя украинская традиция, она в крови. Ее не отфильтруешь, не отделишь так просто, впрочем — как и все остальное. Потому-то нашим предкам, чтоб лишнее не маяться, частенько предпочитали выпустить всю кровь. А у Коваля-оператора чумачество чувствуется особенно. Неспешность, вдумчивость — в пластике движения камеры. В этом смысле важен его тандем с режиссером Ролланом Сергиенко. Кстати, именно Сергиенко Коваль считает своим первоучителем в режиссуре. Это видно в их чернобыльском «Пороге» (1988 год, а вышла лента на экраны только в 90-м), не говоря уже о раннем «полочном» фильме 1972 года — «Григорий Сковорода. Открой себя».

Сковорода — это национальный космос. Путешествие во имя постижения высшего смысла бытия. Хлебороб отрывается вдруг от земли, чтобы понять заоблачный мир души и вернуться на землю мудрее и выше. Он — уже народ! Но хорошо, если его не отрывают от земли насильно или не вгоняют в землю, как было на Украине: за два года — семь миллионов! Голодомор 1932—33-х годов. Словно к незаживающей ране, притрагива-

ется к этому фильм «Ой, горе, это ж гости ко мне...» (Александр Коваль — опять оператор, режиссер — Павел Фаренюк). Ленту демонстрировали на кинофестивале «Украинская гласность» в Канаде. Зал плакал. У нас не плачут.

Но вернемся к «Григорию Сковороде».

— Пролежала картина семнадцать лет на полке. Посмотришь и подумаешь теперь: а что там такого особенно крамольного? Нет, мне понятно «что там такого»! Это сегодня так смело заговорили об Украине...

Из сценария. Один только Гоголь нашел в себе мужество честно посмеяться: «Встаньте с колен, запорожцы.— Не встанем, мамо. Умрем, а не встанем!»

— Я маюсь тут, около хаты, которой уже нет... А ведь пора начинать работу над «Историей Украины». Мы двадцать серий «пробили» еще даже до того, как «Рух» встал на ноги. В Киеве над горсоветом поднят желто-синий украинский флаг — своеобразный запев, камертон для задуманного сериала.

...В кино Коваль попал... по дороге. Дома строили сарай, накрывали толем. Специальных гвоздей на месте не достанешь — пришлось ехать в Киев на базар. Случайно прочитал объявление: «Укркинохронике» требуются осветители». Остался. А через три с половиной года поехал поступать во ВГИК на режиссерский, к Роману Кармену.

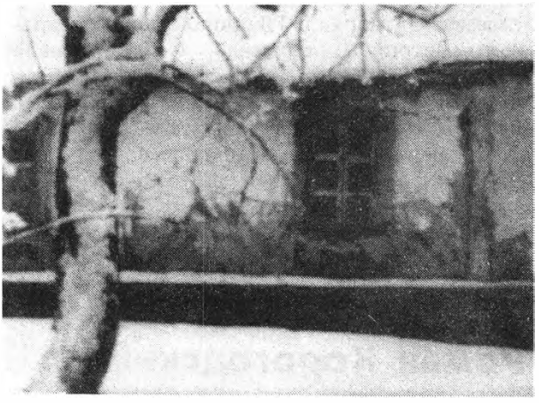
...Хата. До 1917 года в Жердовой было всего лишь восемнадцать хат, то есть ровно восемнадцать дворов. И все земли нынешнего совхоза обрабатывали восемнадцать семей. Обо всем этом — в сценарии. Его можно печатать как литературу. Тут слышится эхо Довженковой «Зачарованной Десны»:

«Тишина. И вдруг, как звон: «А чтоб они тебе повыздыхали все к такой матери!» Все ясно, куры. Куры — это большие твари, из-за них начинаются в селе все ссоры, из-за курей недолго и до драки, а может, и войны из-за них развязываются...»

Или вдруг в каких-то строчках появляются гоголевские мотивы... Вот прискакали в Жердову «красные казаки» — и ... что хорошего сделали? — подорвали на винокурне громадную цистерну со спиртом. А спирт в пруд.

«Вода стала насчитывать ровно 40 градусов, или процентов, алкоголя. И потянулась нерабочая голытьба со всех окраин на даровую горилку — можно их понять,— пруд горилки... Через месяц на скотомогильнике, за селом, возле леса было свежих больше ста могил — сгорели возле пруда. А как пруд выпили, протрезвели, присмотрелись — ба! Да тут же хар-рошие места! И дом вон

«Хата»



«Хата»

панский — двухэтажный распрекрасный, и все в доме есть — почему бы там не поселиться?.. Тут указ пришел, чтобы организовать коммуну. И пошло-поехало...»

Теперь в Жердовой много хат. И электричка на Киев грохочет. Но народ наезжий, чужой — дачники.

Коваль все вспоминает старых сельчан. Мучает его совесть: не снял на пленку — легли на кладбище. Кладбище совсем рядом — в конце огорода. Недалеко от хаты и пруд панский, через улицу, наискосок.

Но ведь он может вспомнить и тех людей, которые на пленке остались благодаря ему. Это и Маланка («Маланьина свадьба»), и казацкой породы повар Галактионович из недавней одноименной двухчастевки. А «Дед Иван из села Ричка»?

— Мало того, что дед Иван успел нам талантливо набрехать перед камерой,— говорит Коваль,— он еще взял да и умер в конце

ленты. Фильм имел успех, особенно в Западной Украине. Но что интересно, почти все копии пали жертвой так называемого «народного монтажа»: финал со смертью деда киномеханики запросто отрезали и выбрасывали. Людям не хотелось, чтобы дед Иван умирал... А министр культуры упрекал меня: «Чем я буду отчитываться к годовщине воссоединения Западной и Советской Украины — твоим придурковатым дедом Иваном?..»

Коваль сидит возле залитого фундамента новой хаты. Кажется, он уже знает, как нужно делать этот фильм.

— Не надо никуда спешить. Просто жить в Жердовой и ждать, когда «зазвучит кино». Тогда и снимать. Впрочем, сразу после ВГИКа я уже делал подобное предложение студийному руководству. Как раз к пятидесятилетию Октября по ТВ прошла документальная «Летопись полувека». Осенило: надо ехать в Жердову и всю жизнь снимать односельчан. Ведь что ни человек — то фильм. Вот это будет летопись полувека! Но на меня посмотрели, как на сумасшедшего... А теперь новая напасть — хозрасчет. Хроника и хозрасчет? Да разве можно на хозрасчете поддерживать культуру нации?!

Из сценария. «В мае родился,— качала мама головой.— Маяться теперь тебе, сынок, всю жизнь». И маюсь. И все мне не так, все не получается. Куда-то постоянно бегу, от чего-то убегаю, за чем-то гонюсь, а прибегаю — зачем бежал? И в Киеве мне не живется, и в селе уже вряд ли останусь. Так и бегаю — ни в селе, ни в городе. Одна нога тут, другая там. А сам посередине. Потому и неуверенность. Неуверенность во всем. Даже вот сейчас пишу и думаю: а зачем я это?.. Кому захочется такое читать? — Тьфу,— плюнет кто-нибудь из коллег по профессии.— Да разве так сценарии пишутся? Где завязка? Где развязка? А фабула где?! А кому твое кино вообще надо? А мне чего-то хочется, чего — не знаю. Хочу и пасеку держать, и в кино работать. Хоть иногда так, бывает, надоедают эти 24 кадра в секунду...

Режиссер «Укркинохроники» Александр Коваль сидит неподалеку от того места, где к концу съемок фильма должна вырасти новая хата. Раньше там стояла хата его мамы, до маминой — хата деда Семена, еще раньше — хата...

Роман Корогодский

Сны и явь переходной эпохи

Человек увидел, возможно, мимолетный сон, и Гойя показал, что́ увидел человек,— удивительный лист «Капричос» приоткрыл чудовищный мир. Но явь, как известно, бывает не менее богатой на причудливые картинки. Собранные воедино, они страшнее сна. Речь идет не просто о познании мира, а выражении его образными средствами *документального* кино.

Сергей Буковский, «молодой, длинноногий и политически грамотный», прославился на республиканском фестивале «Молодость-87» своим дипломом «Завтра праздник». Фильм поразил резким контуром, которым режиссер обвел мир реального существования людей и отдельно — благообразный миф о жизни советских тружеников. Тогда только приоткрывались покровы Великого Обмана, и в этот ответственный момент необходима была доказательность, вещественность. Гипноз лозунгов предыдущей эпохи еще полностью владел массовым сознанием.

Фильм «Сон» — произведение совершенно иной общественной ситуации. Проблемы обозначены глубже, и корни явления уходят в культурологические пласты (драматург А. Рожен). Режиссер никого конкретно не винит, никого не изобличает, но от констатации факта не становится легче. Наоборот. Отсутствие прямого «автора» бедствия заповедной Каневской зоны только обостряет чувство национальной безысходности.

Последний фильм «Крыша» — моральный

иск социальной системе, где бедность не порок, но такое испытание, которое не под силу было изобразить даже Гойе в его листах «Капричос».

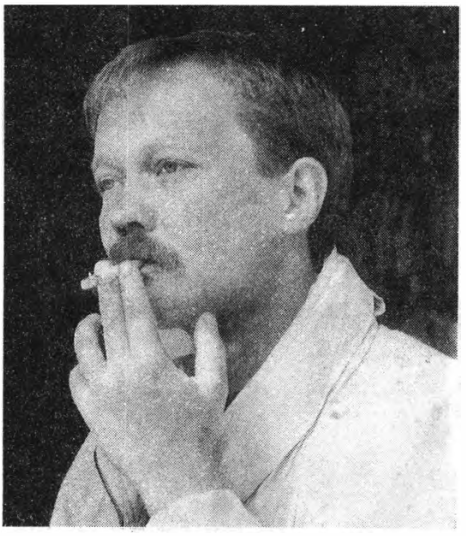
Вот, собственно, «треугольник» Сергея Буковского, в котором социальная драма тугo переплелась с бездуховностью, моральными гримасами боли нечеловеческого общества, где преданы забвению понятия «родина», «земля», «история». Режиссер ничего не педалирует, не стремится поражать. Как бы отстраненно показывает — узнаете? Изобличительный пафос всех его лент суммируется словно сам собою, вне его художественной воли. И от этого возникает жуткое осознание — такова жизнь... Гротеск и поэтическая фантазийность сна меркнет перед материализацией подробностей жизненного уклада человека. «Чернуха» экзистенциального состояния поглощает духовное пространство по-разному, и в этой дифференциации проявляется не только острое социальное зрение Сергея Буковского, но и эстетическая чуткость восприятия материала.

...Завтра — праздник, а сегодня — будни птицекомбината... Густой сюрреализм подробностей технологических процессов оглушает. И все эти «милые» подробности не автоматизированы. Человеческие руки — орудия производства. Женщины — объект внимания. Физически изможденные, социально униженные, они со злостью и отчаянием говорят о своей жизни.

А завтра — праздник, и победивший пролетариат вышел на своей светлый праздник труда — Первое Мая. Возглавляет колонну упитанный руководитель птицекомбината, веселый и гордый своими плановыми показателями. Эти показатели наверняка позволили ему прослыть передовиком. Тем более, он искусный изобретатель — смотри, как придумал на удивление: птичка вылетает и прячется, вылетает и прячется... Отцы города тоже горды своим маяком — сегодня праздник.

На закате жизни словно эти же самые герои, победившие пролетарии, собрались под одной крышей все того же непобедимого убожества соцкультбыта по имени Дом престарелых. Жить было очень трудно — все эти будни, обязательно героические, праздники с их изматывающей суетой, добыванием продуктов. И под занавес — чужая крыша над головой. В старости о вас, дорогие труженики, государство позаботилось — и койка, и постель, и так-сяк покормят — фабула движется к празднику, а значит, кумача не пожалеем, иллюминация будет. Государство призрело немощных и сирых. Государство строго, но справедливо.

Последний тезис в фильме «Крыша» прозвучит убийственно своей психологической правдой и просто с ног сбивающей античеловеческой откровенностью. Женщина, опекающая немощных стариков и старух, что-то среднее между сестрой-хозяйкой и

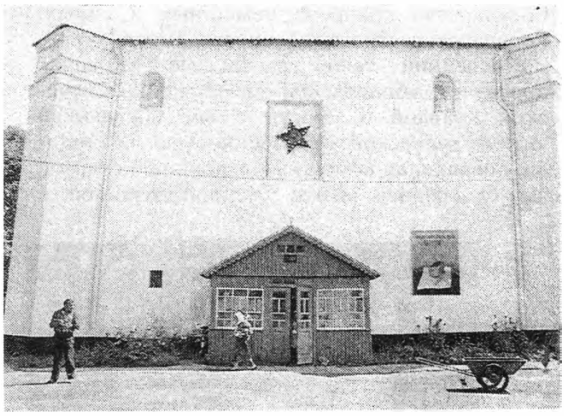


Сергей Буковский

пионервожатой в лагере, искренне ведет себя, точнее, утверждает себя как капо. Невыдуманность, жизненная «чистота эксперимента» оглушает, но что поделаешь: большевизм — наша история, и вот с экрана звучит голос жертвы теоретически осмысленного классового одурманивания. Режиссер Буковский ее не изобличает. Он стремится (и это ему сполна удается!) показать разрушительный результат общественного гипноза предыдущей эпохи. Хотелось бы повторить: «Не ведают, что творят», но теперь-то мы знаем и худшее — «ведали»...

Мне кажется, лучший фильм Буковского — «Сон».

Картина о Шевченковской земле полифонична: запустение, одичание сел вокруг Канева, которые разорены новейшими варварами — строителями Каневской ГЭС, так называемого Каневского моря, новых промышленных объектов на левом берегу Днепра; кричащие проблемы экологии; ужасающая опасность оползней высокого каневского берега — на глазах он исчезает в море. Спокойно, сказал бы, элегически нам показывают, что деется каждый день, ежемесяч-



«Крыша»

«Сон»

но, год за годом,— как создается фантасмагорический сюжет какого-то болезненного сна. Да полноте! Коль скоро мы видим беду, почему не остановим это безумие? Ведь не только для украинцев Шевченковская земля, его могила — святыня. А уж для украинцев в этом пятачке земли воплотилась реальность духовного Возрождения, очистительная легенда о восхождении национального гения Украины на свою Голгофу, и общая наша надежда жить на нашей, на *своей* земле.

Современная цивилизация богата на злые парадоксы, дикие симбиозы, абсурдные ситуации. Режиссер все так же отстраненно, без видимой публицистической злости показывает *последствия* современного индустриального варварства. Светлая бабуся, абориген покинутой деревни без «лампочки Ильича» и средств к существованию, и археолог чудом спасшийся в голодоморе 1933 года,— вот кто воплощает духовные истоки Шевченковской земли, но не в силах ее защитить. Я уже не говорю — возродить.

Экран Сергея Буковского не иллюстративный, а образно-выразительный, метафорический. Стреноженных коней пасет слабоумный увалень, свирепый и дикий. А вот шоферня на своих КамАЗах, БелАЗах перевозит землю, и не ведают они, что их руками, вернее, колесами самосвалов уничтожается исторический ландшафт Каневского заповедника. И зря ученый-археолог их просвещает о зарубенецкой и средиземноморской культурах, наследниками которых они являются. Для них, как и для пионеров, праздник на Ивана Купала — все это пустой звук. Бездуховность нормальных людей плотно стыкуется с жалким существованием больного пастуха или здоровых колхозников, пьющих одеколон. Это одичание людей, потерявших «живую связь времен», существующих, как писал Тарас Шевченко, «на нашей, не своей земле».

Основное достоинство режиссера Сергея Буковского и его постоянного оператора Владимира Кукоренчука в богатстве киноязыка. Монтаж, ритм, чувство композиции общего замысла и отдельных эпизодов, сцен, образная плотность, фактурность и метафоричность мышления свидетельствуют о незаурядности его режиссуры. Как будет развиваться талант, трудно судить, не берусь что-либо предсказывать. Лишь констатирую: Сергею Буковскому под силу сложнейшие полифонические сюжеты. Только бы он не увлекся «контрастным» экраном публицистических изобличений, исчерпанность которого все более явственно чувствуется. Необходим прорыв к глубинным темам, где сны и явь переходной эпохи, причудливо переплетенные, имели бы реальные выходы в мир надежд современного человека. Вся Соборная Украина пришла в движение. В воздухе уже носятся духовные ветры новой жизни, и, выбирая материал, время выходить на разработку новых тем, где фатальный «треугольник» Буковского приобретет более сложную конфигурацию, открытую для цивилизованного демократического общества, и перестанет напоминать... Бермудский.

Николай Слободян

Женщины Мурата

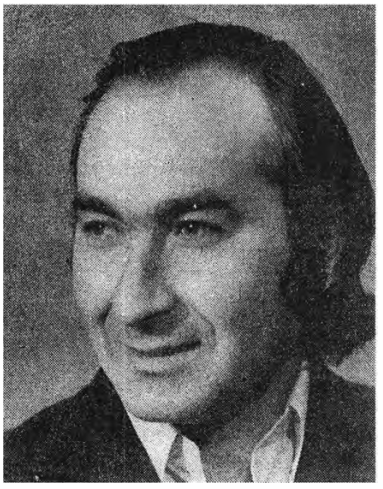
Фильм «В воскресенье рано...» Мурата Мамедова был включен в советскую документальную кинопрограмму, показанную в США в 1988 году.

Ох, и весело смеялись американцы, глядя на пожилых крестьянок, которые рубят в зимнем лесу дрова. Спрашивали, где режиссер нашел таких гениальных актрис. Бедные и наивные! Они не могли поверить, что на экране — подлинная жизнь. Ведь так жить нельзя...

И снова — женское лицо, морщинистое, со слезящимися глазами. Бабуля сидит у стола, устало уронив руки (обязательно — крупным планом: натруженные, узловатые), и рассказывает о своей жизни, так похожей на тысячи жизней других старушек, доживающих свой полный бедности, драматизма век.

Новая картина режиссера Мурата Мамедова, вот уже около двадцати лет работающего на Украинской студии документальных фильмов, называется «Расторжение договора». Смотрел я фильм и никак не мог понять, какой договор и с кем расторгнут? Ведь Хава Владимировна Волович вспоминает о своих тяжких мытарствах политзаключенной в сталинских лагерях, где ее вынудили страдать около восемнадцати лет. Но поистине чудовищны хитросплетения тоталитарного режима: накануне освобождения ей сообщили, что все эти годы она была не политзаключенной, а... вольнонаемной и трудовой договор продлен не будет! Заканчивается короткая лента, и ты чувствуешь тотальную оторопь и понимаешь, что уже не забудешь эту старую женщину, и ее трагедия отзовется в душе твоей.

Сравниваю новый фильм Мамедова с его предыдущими работами: «Катюжанские матери», «Ленинградка», «Бабушка, наденьте ордена», «Женщины из Равенсбрюка», «Аве Мария», «В воскресенье рано...», «Рана»... Их объединяет особое умение и желание режиссера находить неординарные женские судьбы и эмоционально, с сыновней любовью, покаянием за чужие грехи рассказать о них с экрана. В каждом из фильмов есть как бы два плана — зримый, камерой зафиксированный, и невидимый, но тоже конкретный, находящийся с первым в непосредственной причинно-следственной связи. Разве



Мурат Мамедов

только о тяжелом, изнурительном труде колхозниц поведал нам Мамедов («Аве Мария»)? Или только о том, как пожилые крестьянки отправляются с пилами и топорами зимой в лес, чтобы привезти топливо («В воскресенье рано...»)?! Смотришь такие «картинки из малороссийской жизни» и с тоской думаешь: это же за какие грехи и по чьей злой воле люди вынуждены вот так каторжиться? Или и в самом деле на старости лет за тяжкий труд колхозный получили заслуженное право собственноручно (спасибо местному начальству, что из леса не прогоняют!) нарубить дрова? Да еще при этом не потеряли чувство юмора... Или — разве только о горе матери мы думаем, содрогаясь от страшных

«В воскресенье рано...»

«Рана»

кадров («Рана»), где ее сына-калеку возвратили из Афганистана, а несчастная спрашивает, кого ей винить?!

Мурату Мамедову не надо было перестраиваться, когда нам сверху спустили демократизацию и гласность: он не принадлежит к тем режиссерам, которые лихо клепали хвалебные «документальные оды» в честь ума и совести нашей эпохи.

В фильмах Мурата Мамедова его героини становятся предметом пристального, бережного и внимательного вживания в судьбу человека, и эта внимательность — все очевиднее. Когда я спросил режиссера, почему, в отличие от предыдущих картин, в «Расторжении договора» кадры «не задеты» какими бы то ни было операторскими приемами и не является ли это доказательством пресловутого влияния телевидения на документальное кино, он ответил: «Знаешь, я не думал ни о каком влиянии, а только хотел, чтобы ничто не мешало воспринимать рассказ этой женщины. Когда ты приходишь в гости и кто-то о чем-то интересно рассказывает, ты ведь слушаешь человека, смотришь ему в лицо, а не по сторонам. Так и мы настолько были потрясены тем, о чем вспоминала героиня, что ни о каких движениях камеры не могло быть и речи. И телевидение тут ни при чем».

Конечно, сегодня, когда «от Москвы до самых до окраин» продолжают накатывать вал за валом документальные подтверждения духовного и материального оскудения нашего «союза нерушимого республик свободных»,— первое, шоковое потрясение от таких фильмов, как работы Мурата Мамедова, уже проходит. Мы как-то привыкли, притерпелись; возможно, боль за державу и людей наших стала глуше. Но все же она, эта боль, не должна пройти.

Мы уже многократно сетовали, что документалистика — неизвестное кино. Но мне кажется необходимым, чтобы это кино смотрели не только зрители. Его должны знать члены комиссий и комитетов, республиканских Советов и Верховного Совета страны — знать о бедах наших, о тех же героинях Мамедова и не просто сострадать им, но реально *помочь им жить*. Иначе каков же будет реальный коэффициент полезного действия картин М. Мамедова и его единомышленников по духу, по гражданскому непокою?

Можно анализировать фильмы, определять жанр, метод съемки, уместность синхрона, активность камеры и так далее. И все это будут необходимые, сугубо профессиональные разговоры. Но вот что беспокоит: каков конечный результат? Выполняют ли драматичные ленты Мамедова свою главную миссию? Станут ли жить лучше героини его настоящих и будущих фильмов? Ведь это — важнее всего.

Профессиональное мастерство Мурата Мамедова, его неспокойная душа, откликающаяся на людские беды, его волнующие фильмы — наглядное доказательство жизненности нынешнего благодатного витка в развитии украинской экранной публицистики. И не так, ей-богу, важно, что не все фамилии наших документалистов оканчиваются на «енко».

Зинаида Фурманова

Так и живем? Живем! Живем...

То, что сам сюжет окажется слабее шума, который поднялся вокруг него, было вполне очевидно. Сразу. Еще тогда — в середине 1986-го, когда киногруппа Владимира Оселедчика отсняла задворки Ялты.

Право, когда читаешь сегодня «Искусство кино» (1986, № 6), где зафиксирована эта «документальная драма с криминальным уклоном», едва ли не обхохочешься: и это из-за нескольких аранжированных легкой критикой метров пленки с изображением тогдашнего хозяина всея Ялты — председателя горисполкома такой шум! Здесь и обращение в жанре доноса от вышеупомянутого функционера к самому Председателю ВС Украины, дабы из высочайших сфер на своеволие молодых документалистов последовала реакция скорая и карающая. Здесь и следы искомой реакции — угодливые оргвыводы со стороны директора «Укркинохроники». Здесь и доказательные, корректные, без признаков смятения и робости ответы молодых строптивцев, составленные основным виновником этого безобидного, как водевиль, ежели на сегодняшний взгляд, действа — Владимиром Оселедчиком, кинорежиссером.

Может показаться, что не стоит вспоминать тот давний сюжет, тем более что все тогда облеченные властью персонажи теперь вне прежних высоких кресел. Но я полагаю, что сто́ит. Во-первых, потому, что это была одна из считанных юридически грамотных акций в защиту чести и достоинства кинематографиста, предпринятая к тому же почти дебютантом, не защищенным ни положением, ни наградами, ни даже более-менее почтенным возрастом. Во-вторых, потому, что в судьбе В. Оселедчика эта акция сыграла, видимо, решающую роль, ибо проявила в нем — отнюдь не агрессивном, хорошо воспитанном и образованном гуманитарии — характер независимый и гордый, разум точный и деятельный, чувства свободные и надежные.

Цикл документальных фильмов «...И другие», который дает сегодня право говорить о Владимире Оселедчике как о человеке зрелом и режиссере профессионально приметном, стал возможен, по-моему, благодаря тем достойным личностным качествам, которые проявились именно тогда, на самом старте его карьеры.

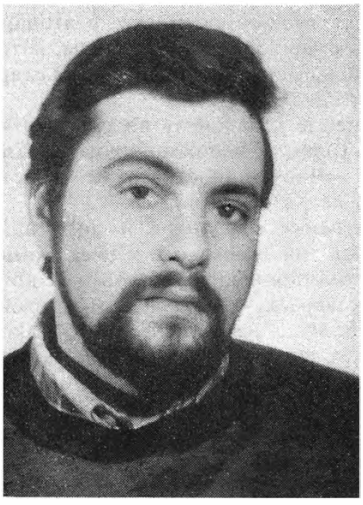
Мое отношение к каждому из трех фильмов цикла: «Таланты и поклонники», «...Так и живем...», «Час личности» — не просто различно, но кое в чем полярно.

После премьеры «Талантов и поклонников» умчалась из киевского Дома кино, успев, однако, проинформировать кое-кого из общих знакомых, чтоб глаза мои этого Оселедчика больше не видели и что такое кино он может отправить в качестве подарка в ту самую ленинградскую гостиницу и тем журналистам, которые развернули буйную газетную переписку про характер и поведение в гостинице Аллы Борисовны Пугачевой. Нет, ни Алла Пугачева, ни другой «талант», вокруг которого заверчено действие картины,— Валерий Леонтьев — не нуждались в его защите. Хотя необходимость в более джентльменском размышлении о тех «звездах», в свете которых снял свое кино режиссер, здесь разумелась. Но еще безусловнее разумелось то, что он, автор, не слишком разнящийся в возрасте с «поклонниками» — фанатами Пугачевой, Леонтьева, «Спартака»,— должен откликнуться предельно внимательным, тактичным размышлением о доверившихся его кинокамере ребятах. Об этом, убеждена, отлично знал и сам автор, да вот, на мой взгляд, не сумел... Почему? Ответ кроется, полагаю, в натуре Оселедчика: будучи организованным, цельным человеком с развитой эмоциональной культурой и достаточно благополучной, к счастью, не за чужой счет устроенной судьбой, Володя в свой час не сумел проникнуться истинной природой той боли, ради которой и имело, мне кажется, смысл браться за картину такой проблематики, как «Таланты и поклонники».

Он, конечно, представил на экране то ли коллективный портрет, то ли массовку, то ли тусовку «поклонников». Вот они — особи, которые не живут собственной жизнью, не ощущают собственной судьбы! Вот они — ребята, которые пытаются овла-

деть жизнью, вторгаясь в жизнь и судьбу своих кумиров... Вторжение напористое — и жалкое, эгоистичное — и эфемерное, сознательное — и наркотическое... Однако...

Разве это иная, а не самая что ни на есть единая наша с ними система? И разве извинительно было автору цикла «...И другие» — на первом же этапе приближения к своим героям-негероям — вольно или невольно исключать себя из нее?



Владимир Оселедчик

«Таланты и поклонники», по моему восприятию, тот опрометчивый суд, тот не обеспеченный равенством сторон процесс, где не столько выслушивают и взвешивают аргументы, сколько приговаривают к определенным схемам чувствования и мышления.

Во «Взгляде» фильм второй цикла «...И другие» — «...Так и живем...» заявил о себе одним эпизодом. Одним, но каким! Шоковым!

Кто видел, не сомневаюсь, помнит: сидят себе перед кинокамерой два таких хорошеньких, немассовидных советских мальчика из благополучных семей, принарядившихся в ладно скроенные да отутюженные черные рубашечки со свастиками на рукавах, и улыбчиво так рассуждают, что́ же еще гитлеровская компания недоделала, а должна была бы доделать с народом и отечеством нашим... Вот они, стало быть, как раз намереваются доделать: рассортировать, стерилизовать, изничтожить...

«...Так и живем...» — ударная картина от первого до последнего кадра. В ней нет эпизода, который бы так или иначе не обнаруживал свой шоковый потенциал. Просто в одном случае это происходило явно и сразу, в другом — исподволь и при более пристальном рассмотрении, в третьем — уже после просмотра и как результат углубленных раздумий по соответствующему поводу. Хотя ставка была сделана на обжигающую сегодняшность, откровенность, в чем-то даже сенсационность информации, выплеснутой на экран, но выигрыш авторам принесла вернее всего их собственная несуетливость, погружение в суть затронутой проблематики.

Приметным явлением получасовой фильм «...Так и живем...» стал, полагаю, еще вот по каким причинам. Сконцентрировав «для затравки» интерес на проблемах животрепещущих, злободневных предельно, авторы нащупали точки их сопряжения с теми заветными, заповедными категориями нравственности и духовности, без которых лишается истинного смысла само человеческое житие в какой бы то ни было социальной конструкции. И к участникам фильма проявили ту абсолютную внимательность, ту благородную терпимость, которых самим ребятам, вероятно, и не хватало более всего — отсюда и чудовищные крайности, и эпатаж — в окружающем их взрослом мире. И наконец, имея свои собственные, во многом отличные от ребячьих, представления и суждения, авторы фильма никому из своих собеседников — в кадре и за кадром — не навязывались с поучениями.

Фильм «...Так и живем...» накопил достоинство документального поведения и авторское великодушие. Сами ребята в конце концов безоглядно доверились кинодокументалистам, прежде всего режиссеру, и порешили исповедаться ему. Не только в интимной беседе, но — перед кинокамерой, а это, как известно, означает — перед миллионами иных, других, разных людей. Допускаю, что для одних участие в такой вот публичной исповеди было своего рода саморисованием или самоутверждением, для других — едва ли не актом мазохизма, для третьих — потребностью поглядеть на себя или в себя как бы со стороны... Но во всех случаях это был совершенно искренний ребячий отклик на то, что каждого из них просто терпеливо выслушивали, чтобы почувствовать и продумать, как же все-таки жить да быть — всем вместе и каждому в отдельности.

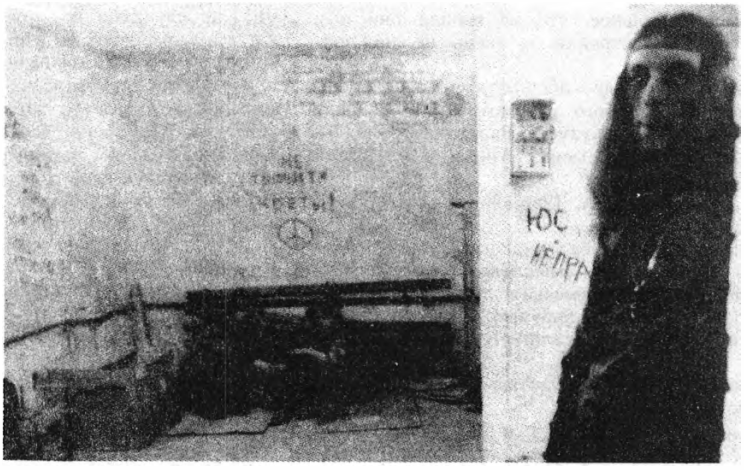
Движение молодого человека от житья-бытья в коллективе-массовке-тусовке к индивидуальному бытию в пространстве-времени его единственной жизни, его самоценной

стал и событием отечественной кинематографической и общественной жизни. Почему?

«Час личности» демонстрирует растущий интерес режиссера к поискам в области драматургии, изобретательность в пластике и монтаже, звуковом оформлении и другие непременные свидетельства профессионального роста. Словом, как профессионал Владимир Оселедчик «Часом личности» окончательно утвердился. Но при всем том как психолог, знаток человеческой природы и нюансов формирования человеческой души, боюсь, продвинулся до обидного незначительно.

Три фильма документального цикла «... И

«...Так и живем...»



«Час личности»

судьбы — это и есть движение документального цикла «...И другие» от «Талантов и поклонников» — через «...Так и живем...» — до полнометражного «Часа личности».

Хорошо это — «плюс» двадцать-тридцать минут экранного общения с участниками документального цикла «...И другие», получившего некоторую известность, с его авторами, набирающими «очки», или?..

«Час личности» я увидела впервые на Международном Лейпцигском кинофестивале в конце 1989-го. Нет, он не потерялся в обширной программе даже в тот переворотный для традиций самого фестиваля и для судеб страны — час истории. Да, он прошел в Лейпциге при достаточном скоплении публики, несмотря на бурлившие демонстрациями улицы и площади за фестивальными стенами; его заметили некоторые специалисты, а жюри ФИПРЕССИ даже обсудило на одном из своих заседаний; но никаких официальных отличий не последовало. Событием Международного Лейпцигского фестиваля фильм не стал. Как не другие» нанизаны, как на стержень, фактически на один вопрос: какова та система ценностей, ради которой человеку действительно стоит мучиться, вдохновляться, жить, наконец? В ответ же экран предоставляет нам — на выбор или на отбор — те несколько вариантов решения, которые юные участники съемок уже примерили, примеряют или еще только хотели примерить на себя. Пока с чужого плеча. Портрет юного поколения верен оригиналу. Беда только в том, что от авторской позиции «тянет» запрограммированностью, когда грешное и праведное размежевываются до упора.

То, что эти заметки я начала с воспоминаний о ситуации пятилетней давности, конечно же, не случайно. Именно тогда разум, энергия, эмоциональная культура решающим образом повлияли на позитивное становление Владимира Оселедчика как личности и как режиссера. Все это и сейчас остается при нем. И сейчас он полон идей, планов, проектов, ради которых есть интерес напрягаться, действовать, жить, снимать.

Александр Шпагин

Из плена

В прокате эта лента не была и таким образом разделила судьбу вроде бы официально разрешенных и в то же время невыпущенных. Самое печальное, что не вышли они и в первые годы перестройки — ведь не на полках же лежали!

Наверно, подобные абсолютные аутсайдеры сейчас требуют особого рассмотрения — среди них «Личная жизнь Кузяева Валентина», «Июнь, начало лета», «Жди меня, Анна», «Встречи с 9 до 9», «Садуто-туто».

Среди них и лента А. Грикявичюса и А. Даусы «Чувства».

Типичное для прибалтийского кино произведение — та же смысловая недоговоренность, та же метафорическая линия, развивающаяся параллельно с фабульной, то же повышенное внимание к визуально-пластической стороне.

Но, может быть, в «Чувствах» все эти черты проявляются менее явно.

Картина А. Грикявичюса и А. Даусы более камерна и скупа в выборе средств. И, возможно, поэтому выигрывает.

Итак, два берега... На одном живет рыбак Каспар (Р. Адомайтис), на другом — его брат-близнец Андрюс (Ю. Будрайтис). Хоть на дворе и война (конец фашистской оккупации литовских земель), жизнь идет своим чередом — даже друг у Каспара (похоже, единственный) — немец Фердинанд. Он и сообщит ему о готовящейся реквизиции скота. После чего Каспар с двумя маленькими детьми (жена умерла от родов) решит перебраться к брату. А здесь — Советская власть, борьба с местными «бандитами» — отрядами освобождения Литвы.

Два берега как два зеркала — и там и там стоят у моря два дома, обнесенные одинаковыми изгородями, в одном живет Каспар, в другом — Андрюс, и там и там рядом с мужчинами — женщины, одинаково влюбленные в Каспара и не нашедшие взаимности — Гертруда, его соседка (на первом родном берегу) и Агне, жена Андрюса.

Перед нами как бы метафора зеркал, зеркальных миров — не случайно два брата — близнецы (и их предки тоже были близнецами), не случайно и Гертруда с Агне так похожи одна на другую. Мир условно разделен — на самом же деле он целен и един.

В одном пространстве — власть немецкая, миропорядок здесь вполне жизнеспособен и устойчив. Он лишь несколько тронут червоточиной войны — жизнь рискует в любую минуту замедлить свой ход и остановиться, прекратиться. Потому что она несвободна, ее космос вжат в тиски оккупации.

...И вот учащаются бомбежки (может, оттого и умирает жена Каспара, что роды пришлись на время воздушного налета), уводят скот, который дает все — и мясо, и молоко... Каспару необходимо продолжить жизнь — он уплывает к брату.

Герой Р. Адомайтиса концентрирует черты национального характера — скрытность, замкнутость, немногословие, мужественность, деловитость, внутреннюю культуру... Те же черты и в герое Ю. Будрайтиса, лишь, может быть, отмеченные какой-то большей импульсивностью, но и некоторой растерянностью, суетливостью («Много говоришь»,— постоянно бросает Каспар брату)...

Да и неудивительно — ведь Андрюс живет на советской территории. А здесь уже другие порядки. И если немецкий уклад сохранял на занятой земле черты обычной жизни, то здесь — полнейший хаос, односельчане воюют с односельчанами,— и хотя жизнь продолжается, царит насилие пострашнее немецкого — суета и издерганность разрывают эту землю изнутри. Запрещена даже рыбная ловля — исконный, вечный промысел. Люди в погонах НКВД требуют, чтобы литовцы следили за своими же и выдавали неблагонадежных властям... Найти точку опоры невозможно.

Но именно здесь и более нигде она должна найтись — потому что далее хода нет.

Впрочем, есть — уплыть за границу, но этот путь рискован, чреват смертью, а потому практически безнадежен.

Два брата соединились, чтобы жить вместе и жить по мере возможности свободно. Потому каждый и пытается остаться в стороне от происходящих событий, главное — сохранить свою самобытность, свое естество, сохранить себя как личность, сохранить в конечном счете род...

Но — не получается. Во все дела постоян-

«Чувства»
Сценарий В. Жалакявичюса. Постановщики А. Дауса, А. Грикявичюс. Оператор И. Томашевичюс. Художник И. Чюплис. Композиторы В. Жилюс, В. Бракаускас. Звукооператор Д. Ожеховас. Литовская киностудия, 1968.

но вмешивается человек со скользким лицом (Б. Бабкаускас), бывший друг детства Каспара, теперь служащий у русских и навряд ли по убеждению. Больно вяло, из-под палки, но въедливо и назойливо исполняет он свои обязанности — ему, отчасти, нравится быть местной властью, своего рода полицаем.

Он и его люди вторгнутся в дом к женщине, с которой Каспар попытается выстроить новый семейный очаг.

Это интересная сцена. Женщина как будто бы отвечает взаимностью, но вскоре выяснится, что она ждет мужа, скрывающегося в лесах, и ее ответ на ласки Каспара — игра. А когда муж, наконец, придет к ней под утро, его настигнет смерть.

Каспар пытается жить как нормальный человек во время трагического перелома в жизни, античеловеческой и бесчеловечной, но политика, настигает его всюду — дула винтовок с обеих сторон начинают поворачиваться в его сторону.

Не случайно женщина, всегда символизирующая жизнь, здесь обманывает, лжет — милая и ласковая хозяйка, супруга, мать вдруг превращается в озлобленную волчицу и начинает мстить.

Женщина-мстительница под маской кротости и терпимости — частый, едва ли не архетипический образ прибалтийского кино, особенно лент, обращенных в прошлое. Стремящаяся к любви (естественному началу), женщина не находит ее и превращается в собственную противоположность.

Но и сама прибалтийская земля в своем стремлении к нормальному течению жизни, в стремлении противостоять аномалии и злу в итоге изменила своим принципам, смирилась, направив стрелы смерти в своих же детей — и все же осталась внутренне непокоренной, хоть и изуродованной, изломанной.

Мужское же начало потухло, ушло в себя — воины-освободители сложили свои копья.

Потухает, опустошается и Каспар — мучительно желая сберечь хоть крохи прежнего уклада, он вступает в драку с националистами, требующими, чтобы Андрюс перевез их на лодке в Финляндию, и проигрывает, более того, выходит из нее со сломанной рукой. Больше он не сможет рыбачить.

Все перепуталось. Дьявол сделал свое дело. Брат пошел на брата — и уже не разобрать, кто прав и как надо действовать — оставаться и бороться? Или молча игнорировать власть? Или жить, как жил (а это не получится)? Или уехать навсегда? Или способствовать новым порядкам? А запутанность начинается, когда близко поражение.

Лодка с «лесными братьями» нарвется на патруль — они погибнут, а перевозчик Андрюс отсидит пятнадцать лет.

В финале он приедет к Каспару, ставшему продавцом в магазине. Оба они уже будут сломлены. Но все же — не побеждены. Сохраняется в них и сила, и мужество, и какая-то стать, они даже пошутят о чем-то, как будто ничего и не произошло — слез, жалоб не будет.

Они не сдались.

Откликов на фильм практически не было, а если и были, то негативные. Писали, дескать, плохо, что в финале герой представлен подавленным, растерянным,— как же так, если он сильный и положительный герой, почему не показано, что он на стороне Советской власти, почему он работает в магазине, а не трудится (на посильной должности), допустим, в рыболовецком совхозе (примерно так писали в «ИК», 1970, № 1).

Типичный для нашей критики тенденциозный подход, зачастую проскакивающий в рецензиях и по сей день, только с обратным знаком — почему, допустим, в фильме «Мать» Г. Панфилова большевики показаны хорошими?

Но отмечали и отрицательные стороны иного рода — писали о слабой игре актрис (согласен), недостаточном профессионализме.

Но тут дело не в недостаточном профессионализме — фильм вполне соответствует сам себе и сделан вполне мастеровито.

Дело в чем-то другом, что не позволило ему стать действительно выдающимся произведением.

В чем же? Мне, например, мешал широкий экран — я не мог понять, зачем он здесь, в камерной драме.

Но главное — та самая метафорическая завеса, не позволяющая по-настоящему глубоко вжиться в психологию героев, острее, ярче раскрыть их взаимоотношения. Скрыто-аллюзионный слой, изысканная система эвфемизмов окутывает дискурс фильма, только намечая и обозначая важнейшие сюжетные стыки, долженствующие прояснить картину в целом, объяснить концепцию. Здесь мало случайного, все заражено концептуальностью. И будучи не истинной притчей, где это было бы уместно, а псевдопритчей, лента проигрывает.

Как проигрывает все прибалтийское кино перед мировым. И, к сожалению, перед советским. Хотя в целом оно более интеллектуально, изысканно, питается западными соками.

Потому и представляет крайне любопытный феномен. Феномен сдавливаемой свободы, вынужденной маскироваться за изящно-аллегорической виньеткой, пряча свое истинное лицо.

Интереснее то, что прибалтийские кинопритчи, фантасмагории и легенды практически не устарели, во всяком случае воспринимаются достаточно свежо.

Фильм «Чувства» — тому подтверждение.

С. П. Мельгунов

Золотой немецкий ключ большевиков

4. Американская сенсация

Случилось так, что те, кому в июле предъявлено было обвинение в «измене», в ноябре оказались у власти... Почти через год, в октябре 1918 года, в Америке появился сборник документов (в количестве 70), разоблачавших всю подноготную «германо-большевистского заговора». Документы получены были зимою 1917—1918 годов в России правительственным агентом «комитета общественной информации» Соединенных Штатов Сиссоном. Они в подлинном смысле были сенсационны, так как устанавливали очевидный факт неоспоримого получения денег большевиками. В предисловии к официальному изданию сообщалось, что вашингтонский комитет располагал или подлинниками этих документов, или фотографиями с них. Так обстояло с первыми 54 номерами. В приложении воспроизводилось 15 документов, быть может, еще более значительных по содержанию, но относительно их делалась оговорка, что воспроизводятся здесь лишь копии, сделанные на пишущей машине и распространяемые в России в антибольшевистских кругах. Эти копии, как можно было предполагать по циркулировавшим слухам, исходят от контрразведки Временного правительства или даже от разведки еще царского времени. Подлинность их при сопоставлении с «оригиналами», подлинники которых доставлены Сиссону, не вызывала никаких сомнений у публикаторов.

В первой серии можно было прочитать, например, протокол изъятия большевиками 2 ноября 1917 года (в архиве Министерства юстиции) из досье «Измена» товарищей Ленина, Зиновьева и других распоряжения германского имперского банка от 2 марта 1917 года о денежных суммах, ассигнованных Ленину и К° для пацифистской пропаганды в России; а в приложении находилось уже прямое указание о количестве германских марок, вносимых на счет Ленина в Кронштадте, или уведомление от 21 сентября Фюрстенберга-Ганецкого об открытии в Стокгольме варбургским банком, по распоряжению рейхсбанка, счета на «предприятие тов. Троцкого». В основных документах имелось и «весьма секретное» сообщение представителя рейхсбанка комиссариату иностранных дел в Петербурге о переводе в январе 1918 года 50 миллионов рублей в распоряжение Совета народных комиссаров для покрытия расходов по содержанию Красной гвардии и агентов-провокаторов, т. е. свидетельство, что и после захвата власти большевики продолжали получать деньги от немцев.

До официального опубликования содержание части «документов» было сообщено газетами, и тогда же было высказано сомнение в их подлинности — вернее, утверждалось, что здесь налицо определенный подлог. В силу этого документы были переданы на рассмотрение специальной комиссии в составе двух профессоров, Джемпсона и Гарпера, которые и вынесли компетентное суждение: относительно первой серии нет никаких оснований сомневаться в их аутентичности; в отношении же копий, данных в приложении, нет полной гарантии их точности, но по существу нет и никаких оснований отрицать их подлинность. С таким заключением комиссии экспертов документы и были опубликованы информационным комитетом в Вашингтоне. Оставим совершенно в стороне возражения, которые были сделаны в печати, и противоположную аргументацию экспертизы американских специалистов. И то и другое не имеет значения, ибо и критика, и защита подлинности сводилась преимущественно к мелочам, к номенклатуре учреждений, к второстепенному вопросу о старом и новом стиле и т. д. Обе стороны по существу мало разобрались в чуждых им делах и отношениях. В результате этого формального исследования текста ничего нельзя было сказать — ни о подлинности, ни о подложности документов[1].

Реабилитация вашингтонского собрания материалов о большевиках комиссией экспертов делу не помогла. Издание было уже опорочено, и на него постепенно перестали ссылаться. Установившееся

Окончание. Начало см.: «Искусство кино», 1991, № 2—4.

[1] Наиболее серьезную критику можно найти в издании Бишофа с предисловием Шейдемана, выпущенном в Берлине в 1919 году социал-демократической газетой «Форвертс»: «Die Entlarwung der deutsch-bolschevistischen Verwörung».

мнение в среде иностранцев, критически разбирающихся, можно было бы охарактеризовать словами Масарика: «Не знаю, сколько за них дали американцы, англичане и французы, но для сведущего человека из содержания сразу было видно, что наши друзья купили подделку». Для нас гораздо большее значение могут иметь суждения русской стороны и особенно суждение авторитетного историка Милюкова, совмещавшего в своем лице и знания компетентного политика, который вращался в самой гуще современных событий. Вот что писал Милюков по поводу американских документов 3 апреля 1921 года в «Последних новостях»: «В конце декабря 1917 года в штабе добровольческой армии в Новочеркасске был получен из Петрограда со специальным курьером ряд документов, являвшихся дополнением к тем, которые были напечатаны в дни июльского выступления большевиков (...). Ссылки под документами не оставляли никаких сомнений в происхождении этих документов. Это были данные, приобретенные агентами союзной разведки. Документы носили *все внутренние признаки достоверности*». Милюков приготовил комментарии к ним, но не мог их напечатать, так как Ростов был взят большевиками. Речь идет о тех самых «документах» (конечно, только о копиях), которые напечатаны в американском издании в приложении[2]. Статья Милюкова служила предисловием к серии очерков небезызвестного журналиста Е. Семенова «Германские деньги у Ленина», напечатанных в «Последних новостях». Этот человек «не нашего лагеря», как охарактеризовал его редактор газеты, и оказался тем посредником, через которого Сиссон приобрел документы. Семенов рассказал, как он, в качестве заведывающего редакцией «Демократического издательства», созданного междусоюзной комиссией пропаганды во время пребывания в Петербурге французского министра-социалиста Тома (апрель—май 1917 года), вошел в сношения с разными представителями «союзных учреждений» и миссией и при содействии «известного экономиста, редактора распространенного органа печати», который вел определенную кампанию против германского шпионажа, прежде всего передал в феврале 1918 года Сиссону для правительства Соединенных Штатов список нескольких тысяч названий фирм и имен агентов, работавших в России и за границей[3]. Список был получен из «определенных нейтральных источников». Надо иметь, однако, в виду, что не только орган упомянутого «экономиста», но и «Вечернее время», сотрудником которого состоял Семенов, и суворинская «Маленькая газета» давно уже и систематически занимались розыском во время войны подозрительных «немецких» фирм. Они опубликовывались в подходящий момент на страницах указанных газет, и эти публикации подчас стояли на грани шантажа — так было, по крайней мере, в Москве с московским «Вечерним временем»[4].

Газетная кампания находилась в тесной связи с деятельностью тогдашней контрразведки — трудно сказать, кто кого инспирировал. В архиве последней (речь идет о петербургской контрразведке) имелись, например, «огромные томы» дел о мародерах, шпионах, «подозреваемых в шпионстве», «тайных германофилах» и т. д., в списки которых люди зачислялись чаще всего по расовому признаку, по фамилии, по тайному доносу. По показаниям одного из сотрудников, данным в апреле 1917 года («Былое», 1924, № 26), для девяти десятых этой публики не было никакого основания занесения их в «список подозрительных», размеры которого должны были служить лишь признаком «продуктивной работы». «Под пьяную руку» чиновники признавались: «всего бы проще вписывать в этот список всех жителей по «Всему Петрограду», исключая лишь особ двора». Вероятно, «ренегат» дал некоторую карикатуру. Но все-таки, очевидно, не было надобности инициаторам кампании 1918 года искать каких-то «нейтральных источников» — они были под рукой. Я остановился на этой стороне дела только потому, что свидетельства, выходящие из литературной среды такого показного «патриотизма», сами по себе не имеют для меня большой достоверности.

Семенов со своими друзьями, пристроившимися «чиновниками» в Смольном, в дальнейшем организует «правильное получение сведений о деятельности большевиков». «Чиновники», находившиеся в Смольном, передавали организации Семенова все «интересные бумаги», поступавшие от разных «комиссаров, большевистских учреждений и германского штаба». Вначале риск, связанный с работой, заставлял ограничиваться «копиями», но в конце концов удалось наладить «съемку фотографий с документов», причем «наиболее боевые и интересные документы» передавались «на одну ночь», давались и оригиналы документов. А то коллегам Семенова и ему самому удавалось проникать в Смольный с фотографическими аппаратами и чуть ли не на глазах Урицкого снимать документы. При переезде Совета Народных Комиссаров в Москву члены семеновской организации применили ловкий прием.

---

[2] Здесь требуется одна оговорка, значение которой выяснится дальше. Едва ли «курьер» из Петрограда мог привезти всю серию документов в Новочеркасск в конце декабря 1917 года (часть их была напечатана тогда в ростовских газетах). Копии с этих документов появились в 1918 году — вся серия полностью была приобретена и мною в Москве. Моя копия имеет, пожалуй, и некоторые преимущества по сравнению с американским текстом — в ней не было тех внешних несуразиц в датах, которые бросаются в глаза в американском издании. Любопытно, что я приобрел всю серию через посредство тех самых лиц, связанных с немецко-большевистской контрразведкой, которые доставили мне копии с ноты Гинце и дополнительных пунктов к Брест-Литовскому миру, подлинность которых была впоследствии подтверждена. (См. мою статью «Приоткрывающаяся завеса» в № 1 «Голоса минувшего на чужой стороне», 1925.)

[3] Автор не называл имени этого «экономиста», не зная, где он находится. Нетрудно догадаться, о ком идет речь. И хотя «экономист» за границей, я не буду все-таки высказывать своих предположений.

[4] Как обнаружил хотя бы процесс Мануйлова-Манасевича, перед революцией неподкупность и петербургского собрата московского органа (вернее, его сотрудников) не стояла на должной высоте (систематическая травля Утемана, одного из директоров «Треугольника», по подозрению в германофильстве).

Заметив, в каких ящиках находятся интересные документы, они сообщили матросам, оберегавшим ящики, что в этих ящиках спрятано золото. В ту же ночь большинство ящиков было взломано — так якобы удалось похитить оригиналы некоторых документов. Кроме того, «другая наша организация, чисто военная,— сообщает Семенов,— ухитрилась отвести прямой провод с линии Брест-Литовск—Петроград и перехватывать таким образом все сообщения».

«Разумеется,— добавляет рассказчик,— мы, члены организации, не получали ни копейки из сумм, которые шли на добывание «документов» и которые, в общем, должны были идти в фонд, каковой мы определили в размере таком, чтобы в среднем досталось каждому работнику на месте по 5000 рублей на случай необходимости бегства»... «Я должен, однако, сказать,— продолжает Семенов,— что к этому делу, выражаясь вульгарно, примазались разные дельцы, которые не только торговали нашими же документами, но и сочиняли свои. Дело было так. Уже в ноябре я дал кое-какие документы одному крупному титулованному деятелю для пересылки в Новочеркасск. Этот деятель снял себе копии для продажи знакомому посольству, где мне об этом немедленно сообщили... Некоторые из работников передавали за свой страх и риск также фотографии и своим знакомым из других более мелких организаций... Таким образом копии и фотографии стали попадаться в руки большевиков и господ из юсуповского дворца. Немцы и большевики начали тогда пускать в обращение не только подложные документы, но и фальсифицированные настоящие»... «Наша организация, конечно, не могла отвечать за все документы, фотографии которых распространялись разными спекулянтами и большевистскими и немецкими агентами». Такое объяснение дается тем циркулярным копиям, которые курсировали в России и попали в приложение к американской серии[5]. Им противопоставляются документы — «около 50», которые Семенов лично передал Сиссону, указав и степень их достоверности, и источник их происхождения. Получив документы, американский правительственный агент 3 марта уехал в Америку. Семенову также было предложено поехать за границу и заняться разоблачением большевиков, но Семенов отказался, так как не мог «оставить Россию в разгар борьбы». Семенов отправился на северный фронт гражданской войны и там, среди других «правых», подрывал антибольшевистский фронт, возглавленный «левыми». На повторное предложение американского посла Френсиса, в начале 1919 года, поехать в Америку Семенов снова уклонился, так как не мог оставить Архангельска. Приходится об этом пожалеть, ибо Семенов мог бы оказать большую услугу вашингтонской комиссии по разъяснению смысла и значения документов. Не крылась ли, однако, подлинная причина непонятного отказа в другом? — в том самом, о чем говорит Масарик в своих воспоминаниях.

В сопроводительной статье Милюков очень высоко оценил комментарий к источникам происхождения американских документов, которые дал Семенов. «Статьи г. Семенова ставят весь вопрос на совершенно новую почву»,— писал Милюков. «Их вывод совпадает с убеждением, которого я все время держался[6]. Документы подлинны: по крайней мере подлинна большая часть их, а относительно другой должно быть произведено при участии г. Семенова дальнейшее расследование».

«Если бы показание Семенова было известно раньше, то не было бы никакой нужды искать какое-либо другое доказательство, что Ленин получал германские деньги. Доказательства все содержатся в этих документах, давно известных, но до сих пор незаслуженно игнорировавшихся»... Признавая за разоблачениями Семенова несомненно «выдающийся политический интерес», Милюков заканчивал статью словами: «Их значение во всяком случае чрезвычайно важно для истории, которой отныне возвращается право — пользоваться заподозренными документами, внутренняя достоверность которых была для меня лично и ранее вне сомнений».

Получив это «право», Милюков в качестве историка революции 1917 года в III выпуске своей «Истории» (1923) пользуется американскими документами, сделав, однако, оговорку, что он пользуется теми из них, которые в вашингтонском издании напечатаны в приложении «мелким шрифтом». Данные эти собраны, утверждал Милюков, «вероятно», русской и иностранной разведкой. Именно те документы, о которых комиссия экспертов сделала специальную оговорку и к которым должны быть отнесены слова Семенова о фальсификации, Милюков несколько неожиданно счел наиболее достоверными[7].

---

[5] В 1923 году в «Джорнале д'Италия» появилась статья Амфитеатрова «Железное кольцо», посвященная изобличающим Ленина документам. Как часто бывало у этого писателя, правда в ней перемешивалась с фантастикой (например, рассказ о том, как 11 большевистских главарей делили между собой многомиллионную субсидию). Амфитеатров познакомился с копиями, снятыми Германом Лопатиным с «подлинников», находившихся у «известного революционера С.» и с верной оказией переправленных за границу. Амфитеатров и его друзья размножили на гектографе текст и разослали писателям. Таково происхождение некоторых, по крайней мере, циркулировавших копий.

[6] Свое впечатление от ознакомления с Сиссоновскими документами за границей Милюков передавал так: «Я лично... получил впечатление их несомненной подлинности. Но некоторые доказательства фальсификации и на меня произвели впечатление. Лично для себя я разрешил вопрос так — что лица, доставлявшие документы Сиссону, действительно имели доступ к большевистским учреждениям и действительно дали ценные документы, но так как за эти документы платили деньги, и, вероятно, немалые, то, быть может, за оскуднением подлинных документов посредники иной раз (курсив мой) подкидывали и сочиненные ими при помощи приобретенных ими знаний и бланков».

[7] Относительно основных документов в примечании Милюков замечает: «точного критерия я до сих пор не имею». Но «из другого источника (к сожалению, он не указывается) я также имел случай узнать, что по крайней мере некоторые из собранных ими (агентами Семенова) подлинны».

Первый же документ из основной группы, о котором выше упоминалось, при рассмотрении его по существу повергает в полное недоумение. Он не выдерживает элементарной критики. 16 ноября 1917 года по поручению Комиссариата иностранных дел уполномоченные последнего доводили до сведения Совета Народных Комиссаров, что согласно решению совещания народных комиссаров (Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко, Володарского) ими произведена выемка из архива министерства юстиции в досье об «измене» товарища Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и другие распоряжения имперского банка за № 7.433 2 марта 1917 года о предоставлении денег Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и другим для пацифистской пропаганды[8]. Затем были проверены все книги Ниа-Банка в Стокгольме, в которых имелись счета Ленина, Троцкого, Зиновьева и других, открытые по распоряжению немецких банков. Книги были переданы некоему товарищу Мюллеру, специально командированному из Берлина. Уведомление в Совет Народных Комиссаров было подписано Поливановым и Залкиндом. Приведенный документ должен быть сопоставлен с другим, значащимся под № 3 и воспроизводящим «протокол» 2 ноября 1917 года об извлечении из архива Департамента полиции, по распоряжению Совета Народных Комиссаров и по приказу представителей немецкого штаба в Петербурге, циркуляра генерального штаба от 9 июня 1914 года о мобилизации немецкой промышленности и циркуляра 28 ноября об отправке во враждебные страны специальных агентов для уничтожения материальных складов противников.

Прежде всего возникает вопрос: кто такие Поливанов и Залкинд, выполнявшие столь ответственное поручение уже начиная со 2 ноября, т. е. в первый день, когда, может быть, Троцкий рисовал на вечере воспоминаний 7 ноября 1920 года обстановку в первый день своего комиссарства — в полном соответствии с тем, что мы знаем с другой стороны: «Когда я один раз приехал, причем это было не в первый день, а дней через 5—7 после взятия нами власти, то мне сказали, что никого здесь нет. Какой-то князь Татищев сказал, что служащих нет, не явились на работу. Я потребовал собрать тех, которые явились»... «Но,— признает Троцкий,— я ушел не солоно хлебавши. После этого Маркин[9] арестовал Татищева, барона Таубе и привез их в Смольный, посадил в комнату и сказал: «Я ключ достану через несколько дней»... и когда Маркин вызвал меня дня через 2, то этот Татищев провел нас по всем комнатам»[10]. При Маркине «терся молодой человек лет 25, без руки, фамилия его, кажется, Поливанов, приват-доцент... работал он не на секретных ролях. Кто рекомендовал его Маркину, не знаю. Там был из партийных Залкинд. Маркин его более или менее усыновил. Но потом оказалось, что Поливанов был членом Союза русского народа... обнаружил... большое пристрастие к спиртным напиткам и даже были сведения, что он принимал разные приношения». Вероятно ли, что Поливанов мог исполнить ответственные поручения да еще стоять по подписи на первом месте по сравнению с Залкиндом? Вероятно ли, что 2 ноября в указанной обстановке представители комиссариата иностранных дел могли уже изымать копии из архива департамента полиции? Зачем немцам надо было, если они даже фактически это могли, проявлять такую необычайную спешность по изъятию циркуляра своего генерального штаба на другой день после крушения гатчинского фронта, т. е. наступления отряда Керенского-Краснова на Петербург, когда большевики отнюдь не чувствовали себя еще победителями и им не было дела до старых циркуляров, к тому же, как мы знаем, еще в 1915 году опубликованных французским министерством иностранных дел и свидетельствующих лишь о подготовке Германией войны? Подобный «протокол» 2 ноября составлен быть не мог — это ясно. Также совершенно невероятно и уведомление Совета Народных Комиссаров об изъятии, произведенном не позже 16 ноября, из досье «Измена Ленина» распоряжения рейхсбанка от 2 марта 1917 года. Непонятно, почему изъятие это было произведено по инициативе части членов Совета Народных Комиссаров, к числу которых документ относит и лиц, не входивших в состав управляющей головки (например, Володарского). Надо предположить, что «педантичный нотариус» революционного дела почему-то вдруг снова проявил необычайную наивность, открыто поручив неизвестному ему Поливанову изъять самый компрометирующий документ. Еще большее легкомыслие надо допустить со стороны отошедшего в небытие Временного правительства, которое на полках архива министерства юстиции в папке об измене большевиков имело убийственный документ против Ленина и молча хранило его. Надо допустить болезненное ослабление памяти членов Временного правительства и деятелей контрразведки, настаивающих так определенно на преступности руководителей большевизма и умалчивающих в своих позднейших воспоминаниях о тех прямых уликах, которые были в их руках. Поливанов и Залкинд уже 16 ноября могли проверить официальные книги стокгольмского банка — допустим, даже «большевистского», как утверждает комментатор американских документов, отмечая приезд в Петербург в январе 1918 года одного из директоров Ниа-банка американца Олафа Ашберга. Все это так несуразно, не говоря уже о самой довольно-таки странной комбинации имен в документе от 2 марта, что не стоит подвергать текст дальнейшей критике. Как этот «документ», так и многие другие поражают своей неряшливостью, которую можно объяснить только непритязательностью мало в чем разбиравшихся и наивных покупателей. Некоторые фамилии, которые появляются на фотографических пленках, как, например, Механошин, Иоффе (документ № 3), в значи-

[8] Для цитат я пользуюсь французским изданием — «Le comlot germano-bolcheviste» (1920 г.— издание Bossard).

[9] Матрос Маркин — доверенное лицо Троцкого.

[10] Газеты тех дней отмечали появление большевистских комиссаров в министерстве иностранных дел и юстиции датой 7 ноября.

тельной степени объясняются случайной возможностью для фальсификаторов доказать аутентичность той или иной подписи и придать авторитет всему документу (у Семенова имеется и соответствующий рассказ о такой «случайной возможности»).

Первая серия в сущности касается связи большевиков и немцев после переворота — уличающий материал о 1917 годе врывается лишь случайным штрихом в документы 1918 года. Например, в документе № 5 русское отделение немецкого генерального штаба сообщает 25 октября о посылке в Россию офицеров, хорошо знающих русский язык и обычаи страны,— посылаются эти немецкие офицеры согласно-де решению, принятому на июльском совещании представителей генерального штаба и демократии революционной России в лице Ленина, Троцкого, Раскольникова и Дыбенко. Документ 35 уже расширяет рамки июльской конференции в Кронштадте (это после изобличения и бегства Ленина и Зиновьева из Петербурга!) и говорит об участии в ней Ленина, Зиновьева, Каменева, Раскольникова, Дыбенко, Шишко, Антонова, Подвойского, Крыленко и Володарского — конференция эта постановила организовать военнопленных в особый корпус, одетый в русскую военную форму... Основной целью документов, собранных комитетом Сиссона, являлось представление правительству Соединенных Штатов материала, который свидетельствовал бы о продолжающейся связи большевиков с немцами — это должно было противодействовать тенденции признания советской власти, которую вкупе с другими проводил, например, представитель американского Красного креста Робинс. Вероятно, поэтому и сочинено было послание от 8 января 1918 года, говорившее об ассигновании 50 миллионов рублей на содержание Красной гвардии[11].

Слишком очевидно, что утверждения об аутентичности материала первой серии вашингтонского издания должны быть отброшены. Эти документы не могут служить историческим источником для выяснения вопроса о договоре большевиков с немцами и о получении первыми денег. Скорее они могли бы послужить на пользу теории о «легенде». Какое же могут иметь значение документы, напечатанные «мелким шрифтом» в приложении,— те самые, которые выделил Милюков, как полученные из другого источника? Среди них, хронологически относящихся к 1914—1915 годам, по какой-то странной случайности фигурирует циркуляр имперского банка 2 ноября 1917 года, адресованный представителям Ниа-банка, Дисконто и др. и гласящий, что между имперским банком и русскими революционерами Зиновьевым и Луначарским закончены переговоры, согласно которым имперский банк обязался поддерживать пропаганду в России при условии, что пропаганда эта будет находиться в соответствии с деятельностью немецких армий на фронте. Циркуляр пояснял, что указанные революционеры обратятся через посредство финансистов, среди которых перечислялись Рубинштейн, Варбург и Парвус. В моей копии «документ» этот отнесен по крайней мере более соответственно к 1915 году. Переговоры большевиков в ноябре 1917 года через банкира Рубинштейна уж слишком бросаются в глаза своей фантастичностью. Документ № 62 от 18 июля 1917 года ставит последнюю точку: представитель копенгагенского банка Ганзена Свенсон уведомляет Руффнера в Гельсингфорсе, что Дисконто внесло на счет Ленина в Кронштадте 315 тысяч марок. И уже совсем сенсационное сообщение Фюрстенберга Рафаилу Шауману в Гапаранде 21 сентября о том, что банкирский дом Варбурга, согласно телеграмме рейнско-вестфальского синдиката, открыл счет для «предприятия товарища Троцкого — на покупку оружия и организацию его транспорта». 2 октября Фюрстенберг спешит уведомить «господина Антонова» в Гапаранде, что просьба «товарища Троцкого» выполнена и что со счета Синдиката взято 400 тысяч, которые переданы товарищу Соне — она обратится к Антонову с этим письмом и внесет ему указанную сумму. Последнюю телеграмму Милюков цитирует без всяких оговорок, считая достоверность ее вполне убедительной,— еще раз приходится повторить: неужели контрразведка, имея такие сенсационные материалы, хранила их про запас для проблематичного суда и оперировала с теми, что большевики окрестили «переверзевскими фальсификациями»? По существу же можно ли допустить, что Ганецкий, достаточно осведомленный о судьбе своих ближайших товарищей, мог бы передавать Антонову 19 сентября старого стиля, что деньги в размере 400 тысяч крон на «предприятие товарища Троцкого» будут переданы ему «товарищем Соней» (во французском тексте Милюков цитирует «Сеня» — Суменсон)? Неужели Суменсон, находившаяся под арестом и выпущенная под залог 21 сентября, могла в это время фигурировать на ролях посредницы?[12] Нет, без всяких колебаний нужно отвергнуть все эти сенсации, как очень грубую и неумно совершенную подделку.

Может быть, и нет надобности разбирать все сенсации, имеющиеся в «документах» обеих серий. Своими примерами я далеко их не исчерпал. Неотложно, однако, встает вопрос, почему же большевистская историография так упорно замолчала материал, столь легко поддающийся разоблачению? Объяснение может быть только одно — нет дыма без огня. Очевидно, не все документы представляют собой фальсификацию. В этом отношении Милюков прав. Только комиссионеры Сиссона не «иной раз подкладывали» к подлинным сообщениям «сочиненные ими при помощи приобретенных ими знаний и бланков», а делали это всегда, когда нужно было рядовые документы сдобрить сенсацией. Так обстоит дело и в первой серии, и во второй. Порочное зачатие лишает возможности пользоваться ими, ибо критерием будет

[11] В объяснениях, напечатанных в «Последних новостях», Семенов подчеркивает знаменательное совпадение в цифрах — и Бернштейн говорил о 50 миллионах. Только Бернштейн говорил о 50 миллионах золотых марок, уплаченных большевикам в 1917 году, а документ Семенова о 50 миллионах рублей, отпущенных в январе 1918 года.

[12] Любопытно, что некая «товарищ Соня» действует и в февральские дни. Ее направляет Шляпников делегаткой в Москву с сообщением о петербургских событиях.

только ощущение правдоподобия — «внутренняя достоверность», которую каждый будет толковать слишком субъективно. Приведу один пример, относящийся к числу тех документов, которые напечатаны в «приложении». Нет никакого основания отвергать немецкие циркуляры 1914—1915 годов, которые касаются действий, долженствовавших разлагать стан противников (провокация внутренних волнений, возбуждение гражданской войны, проповедь сепаратизма, помощь крайним политическим партиям — и в частности русской эмиграции)[13]. Подобные документы действительно могли быть заимствованы из бумаг бывших архивов Департамента полиции, до некоторой степени разошедшихся в дни революции по частным рукам или скопированных теми, кто владел ими до революции и кто имел связи с посредниками, передавшими материалы в союзные миссии. Могли встречаться здесь прямые указания на денежные связи представителей большевистской партии с немцами. Советские историки с большой охотой цитируют показания бывшего начальника петербургского Охранного отделения генерал-майора Глобачева, которые имеются в архивных папках июльского «дела»: «Такими сведениями, чтобы Ленин работал... на германские деньги, Охранное отделение, по крайней мере за время моего служения, не располагало». Когда свидетельство в пользу большевиков, историки советской школы готовы даже забыть свои утверждения, что никаким показаниям, вышедшим из недр департамента, верить нельзя[14]. Но как раз в данном случае показания генерала Глобачева могут вызвать сомнения — к тому же мы знаем их только по отдельным цитатам, сделанным чужими руками. Отставленные и преследуемые революционной властью представители Департамента полиции, может быть, и не имели особого стремления дискредитировать деятельность большевиков — кто знает? Некоторые, возможно, косвенно и сочувствовали ей как деятельности, разлагающей революцию.

То, что сказано про документы из «приложения», с таким же правом может быть повторено и в отношении материалов первой серии. Ее сенсация по своей «внутренней достоверности» имеет такую же цену. Но очень правдоподобны выступающие в документах данные, которые свидетельствуют о совместном деятельности большевистского правительства с представителями германского штаба еще до заключения Брест-Литовского мира. Совместные действия были, только едва ли они принимали столь открытые и прямолинейные формы, как подчас рисуют документы, доставленные Сиссону агентами Семенова. Правдоподобны не только такие сообщения, которые передают, например, предложение немецкого командования Крыленко (8 января) прислать 10 офицеров для отправки в Варшаву в целях пропаганды мира в лагерях военнопленных (№ 20), но и такие, которые говорят о более тесном взаимоотношении вплоть до установления совместного сыска над союзными миссиями и пр. Двойная бухгалтерия, которую в своей политике проводит советская власть в дни Бреста, когда в Москве в период мирбаховского владычества соглашение доходило почти до создания общей контрразведки и когда эсэровское «Дело народа» напрямик писало: Ленин, Троцкий — «все это псевдонимы графа Мирбаха», допускает многое из того, что рассказано в вашингтонском издании о взаимоотношениях Совета Народных Комиссаров и русского отдела немецкого генерального штаба[15].

Большевики находились всецело в зависимости от немцев, колебавшихся в своих решениях. Едва ли, однако, это «русское отделение» германского командования появилось в соответствии с соглашением Ленина, заключенным им в апреле 1917 года при проезде через Стокгольм или на еще более сомнительной июльской конференции в Кронштадте. Но военные представители должны были появиться в миссии, прибывшей во главе с графом Кейзерлингом в середине декабря в Петербург формально с специальной целью урегулировать вопрос о военнопленных[16]. Миссия находилась, конечно, в непосредственном контакте с основными переговорами, которые то велись, то прерывались в Брест-Литовске. Маленький эпизод, проникший на страницы легальной тогдашней антибольшевистской печати, может служить иллюстрацией к характеристике того положения, которое занимала миссия Кейзерлинга в Петербурге. Эпизод этот на столбцах «Последних новостей» был рассказан в дополнение к тем фактам о большевистско-немецком альянсе в 1918 году, которые приводил я в статье «Приоткрывающаяся завеса», одним из бывших редакторов петербургской газеты «День» — Загорским. Он только ошибочно отнес свой рассказ к дням, следовавшим за подписанием Брест-Литовского мира — миссия Кейзерлинга прибыла в Петербург в начале декабря, и статья в «Дне», о которой будет идти речь, была напечатана в газете 15 декабря. Хроникеру газеты удалось получить интервью с Кейзерлингом, в котором глава немецкой миссии «весьма высокомерно» говорил о будущих отношениях между Германией и Россией. На вопрос — предполагают ли немцы оккупировать Петербург — Кейзерлинг ответил: до поры до времени операция с Петроградом не входит в планы немцев, но она

---

[13] Например, документ № 61 от 14 октября 1916 года воспроизводит распоряжения о выдаче субсидии русским эмигрантам, согласным вести агитацию среди военнопленных.

[14] Из июльского «дела» обычно цитируется и показание бывшего начальника контрразведывательного отделения штаба петербургского округа полковника Якубова: «Мне ничего не известно о связи Ленина и его единомышленников с германским генеральным штабом, а равно я ничего не знаю о тех средствах, на которые работал Ленин». Может быть, полковнику Якубову действительно ничего не было известно. Его подчиненные сами о своей работе говорили: «немцы могут не бояться», так как подлинные шпионы ускользнули из поля зрения «серых чертей».

[15] Вспомним, что горьковская «Новая жизнь» весной 1918 года была закрыта за сообщение, уже post-factum, о секретном заседании в Ставке 22 декабря при участии видных большевистских деятелей и представителей немецкого командования.

[16] В миссии, по сведениям московской «Власти народа», числилось 150 человек, из которых девять десятых принадлежали к офицерской среде.

станет возможной и даже неизбежной, если в столице возникнут беспорядки. «По всему содержанию и по всему тону заявлений Кейзерлинга было ясно,— говорит Загорский,— что под беспорядками в данном случае подразумевались беспорядки, направленные против советского правительства, которое, по всей вероятности, не будет чинить препятствий такой операции».

17 декабря в «Правде» народным комиссаром по иностранным делам было напечатано опровержение от имени графа Кейзерлинга, возмущенного досужей фантазией корреспондента «Дня»,— никакого интервью граф Кейзерлинг не давал. Редакция «Дня» направила своего сотрудника к Кейзерлингу, который подтвердил свою предшествующую беседу и рассказал, что к нему обратился от имени Троцкого Залкинд с просьбой опровергнуть опубликованное. Кейзерлинг категорически отказался. «День» напечатал вторую беседу с главой немецкой миссии. 19 декабря в официальных «Известиях» можно было прочитать уже опровержение, подписанное самим Троцким, в котором опровергалась, однако, не беседа с графом Кейзерлингом, а первое опровержение народного комиссара по иностранным делам: «Характер и тон сообщения,— писал Троцкий,— слишком ясно свидетельствовал о том, что этот документ не мог исходить от комиссара по иностранным делам».

Красочная обстановка[17]. Она делает многие факты, регистрируемые вашингтонскими материалами, очень близкими к действительности. Но где все-таки критерий для суждения? Верно, не так трудно иногда отличить домысел от возможной правды и выделить искусственное наслоение — но для нашей задачи такой анализ имеет второстепенное значение, так как взаимоотношения большевиков и немцев после октябрьского переворота, после развала фронта и начала мирных переговоров совершенно особая глава, которую можно было бы, пожалуй, начать телеграммой, присланной Ленину 5 ноября хорошо нам известным Ганецким как бы по-старому в товарищеском порядке и воспроизведенной тогда же в № 219 «Дела народа»: «Едем Петроград экстренным поездом. Имеем очень важное поручение. Желательно немедленно встретиться». Тогда же петербургский орган народных социалистов — «Народное слово» напечатал открытый запрос Смольному по поводу переговоров с немцами.

В зависимое положение от немцев Совет Народных Комиссаров попал не только потому, что в свое время Ленин получал деньги. То были отношения победителей к побежденным, когда молча приходилось принимать предписываемые условия мира. Конечно, из песни слова не выкинешь, и генерал Гофман своим высокомерным и вызывающим поведением в Брест-Литовске дал большевикам «очень ясно почувствовать», по выражению Бернштейна, что он их «вдвойне» держит в своих руках. Иллюзия Троцкого, что «германский кайзер» будет разговаривать с ним, как «равный с равным», исчезла, как сон.

5. 50 миллионов марок

Выступление Эд. Бернштейна и его открытое заявление о деньгах, полученных Лениным, легло тяжелой гирей на чашу обвинения тех исторических весов, на которых взвешиваются pro и contra легенды о немецком золоте. «Для международной социал-демократии,— заключал свою статью Бернштейн,— эта темная глава должна быть освещена прежде всего с точки зрения политической морали рабочих партий. Если я верно информирован, то Ленин в свое время заявил, что его дело, откуда он берет деньги. Не интересуясь намерениями лиц, снабдивших его деньгами, он использовал последние для осуществления социалистической революции. Что он так поступал, этого нельзя отрицать. Но это еще не исчерпывает дела. Такими доводами может быть оправдана любая, самая нечистоплотная политическая авантюра. Куда бы завел нас социалистический интернационал, если бы он допускал такие политические правила поведения?»

Статья Бернштейна вызвала негодование в немецких коммунистических кругах. «Эдуард Бернштейн как за границей, так и в Германии считался до сего времени человеком честным, а не простым сплетником,— писала Rote Fahne,— потому мы приглашаем Бернштейна назвать имя информировавшего его лица для того, чтобы мы могли на суде дать этому клеветнику ответ». «Если же Бернштейн этого не сделает, то нам придется публично назвать его не только сплетником, но и клеветником». Коммунистический депутат рейхстага Дювелль внес запрос имперскому правительству, а Бернштейн еще раз подтвердил *немецкое* происхождение своих данных, не имеющих никакого отношения к документам, опубликованным вашингтонской следственной комиссией, и предложил редакции «Роте Фане» или «кому-либо из законных представителей Ленина» привлечь его к суду. Соглашаясь выждать ответ правительства, Бернштейн заявил, что он поднял это дело не для того, чтобы замолчать его. Но тем не менее выступление Бернштейна очень скоро было переведено на «запасный путь». Демократическое правительство ответило формально: в Министерстве иностранных дел данных по этому делу не имеется[18]. Берлинскую печать ответ фон Симонса не удовлетворил, вопрос перешел в комиссию рейхстага, кото-

[17] По свидетельству корреспондента «Власти народа», миссия с первого же дня заняла независимое положение в Петербурге. Уже вечером в день прибытия ее представители захватили одно из помещений главного телеграфа и удалили всех служащих.

[18] Бурцев в «Общем деле» в ответ на это утверждал, что документы надо искать в архивах военного министерства, а Бернштейн в «Vorwärts'е» повторил, что Министерству иностранных дел и без документов хорошо известно, кто субсидировал Ленина.

рая занималась расследованием причин войны, и здесь в конце концов был похоронен. Очевидно, на престарелого Бернштейна было оказано сильное давление со стороны социал-демократических кругов, заставившее его отказаться от дальнейших разоблачений...

В 1921 году в Париже на французском языке вышла книга о Ленине, написанная Алдановым,— писателем, которому нельзя отказать в острой исторической наблюдательности. Алданов не может быть отнесен к числу тех представителей социалистической среды, которые так часто в своих оценках оказываются как бы загипнотизированными демократическими предрассудками и во имя призрачных интересов современности боятся вскрывать жестокую правду. Алданов вспоминал дни революции 1917 года, когда многим социалистам, которые издавна знали Ленина и числились некогда в рядах его друзей («я мог бы назвать имена очень известные»,— утверждал писатель), немецкая авантюра Ленина казалась не только возможной, но и очень вероятной. Алданов не анализировал материала, который мог быть в то время в его распоряжении (июльские разоблачения прошли как бы мимо его сознания) и тем не менее приходил к выводу, что до сих пор нет данных для утверждения, что Ленин получал деньги от правительства Вильгельма II. В пользу такого заключения, по мнению писателя, говорило то обстоятельство, что демократическое немецкое правительство, у которого не было никаких оснований любить большевиков и которому были открыты все секретные фонды[19], не стало бы скрывать документов, могших скомпрометировать опасных противников. Почему Шейдеман, Бауер, Давид, Мюллер будут молчать? На их молчание не могли повлиять предусмотрительные соображения, что Германия не может дезавуировать своих секретных агентов, услугами которых могла бы еще воспользоваться,— конечно, ставить Ленина в ряды обычной агентуры было бы достаточно наивно.

Книга Алданова была выпущена еще до выступления Бернштейна, т. е. до того момента, когда один из наиболее заслуженных вождей немецкой социал-демократии открыто заявил, что ему точно известно о получении Лениным денег от старого германского правительства[20]. Откуда получил сведения Бернштейн? Возможно, что история в будущем откроет источники этой информации и что в архивных тайниках найдутся более документальные следы использования большевиками немецких «секретных фондов». Из авторитетного источника я слышал, что главным информатором Бернштейна явился сам Ранцау — в условиях, как будто бы несколько напоминающих обстановку, при которой некогда Бурцеву в поезде удалось вырвать признание у бывшего начальника Департамента полиции Лопухина относительно Азефа. И тут само собой выдвигается фигура Шейдемана. Можно ли поручиться, что лидер немецкой социал-демократии так или иначе не только прикоснулся, но и санкционировал националистическую авантюру 1917 года?

Как характерно, что в воспоминаниях «Der Zusammenbruch»[21], изданных в 1921 году (кстати сказать — выпущены они были издательством Парвуса), в которых автору приходится часто рассказывать, как он поступался своими личными взглядами во имя партийных решений, Шейдеман, достаточно близко стоявший к Парвусу, не упомянул даже имени последнего.

Ошибочность «мастерского хода», придуманного Парвусом (ошибочность прежде всего с точки зрения германских интересов), стала ясна впоследствии даже для военных кругов — для того же Людендорфа[22]. Ее осознали раньше других многие из немецких социалистов. Недаром партийный официоз еще 11 июля 1917 года доказывал близорукость точки зрения тех, которые радуются наступлению анархии в России, и полагал, что для дела мира гораздо важнее сильная Россия, искренне стремящаяся к справедливому миру. И позже «Форвертс» выступал против утопий, стремившихся окончить европейскую войну мировой социальной пертурбацией. Сам Шейдеман, председатель социал-демократической фракции в рейхстаге, был уже решительным противником Брест-Литовского мира, но он остался в меньшинстве. Известно, что фракция воздержалась в ответственный момент от голосования. Так и позднейшее пореволюционное демократическое правительство в Германии не очень стремилось поставить «ребром» вопрос о раскрытии «темной главы» в истории русского большевизма и отношении его к немецким правящим кругам. «Гнусность» этих отношений покрыла бы «позором» имя Ленина, если бы обвинения Бернштейна оказались справедливыми,— так думало или по крайней мере официально говорило коммунистическое «Роте Фане». «Позор» Ленина мог бы дискредитировать и некоторые круги немецкой социал-демократии. В сознании немецкой революционной демократии, как и русской, незыблемые законы общественной морали, на которых настаивал Бернштейн[23], пасовали перед требованиями реальной политики. Это была тактическая ошибка, но именно она не дала возможности внести своевременно с немецкой стороны полную ясность в вопрос о роли иностранного золота в русской революции. Мне кажется, глубоко был прав тот «видный немецкий военный деятель», который в 1921 году сказал

---

[19] Алданов не сомневался, что в Германии должно было существовать образцовое «счетоводство» и для всех секретных фондов — такова натура немцев.

[20] Впоследствии Алданов коренным образом изменил свою точку зрения.

[21] Крушение (нем.).— *Ред.*

[22] Арн. Рехберг — небезызвестный представитель германской промышленности, выступивший в 1925 году во французской печати, определенно засвидетельствовал, что в 1921 году сам Людендорф говорил ему, что если бы он мог предвидеть результат деятельности большевиков в России, он никогда не согласился бы дать этим фанатикам пропуск через Германию.

[23] Сам Бернштейн не был, однако, последователен — вскоре его статьи стали появляться в «Die Glocke» Парвуса — того Парвуса, который продолжал сохранять организационную связь с большевиками (Wl. Orloff. «Mörder, Fälscher, Provokateure». Berlin, 1929).

в Берлине представителю Бурцевского «Общего дела»: «Как вы думаете, если бы в статье г. Бурцева «Я обвиняю», где он пользуется мною же сообщенными ему сведениями о 70-ти миллионах, было хоть что-нибудь не соответствующее правде — наше правительство не поторопилось ли бы опровергнуть все и поднять целый скандал? Уже одним тем, что наше правительство молчит, оно подтверждает все то, что сказал г. Бурцев»[24].

Заключение

Эпопея о немецком золоте, поскольку речь идет о Ленине и революции 1917 года, может считаться законченной. Где же в конце концов лежит «золотой немецкий ключ»? В каких тайниках искать его? Мне кажется, что почти исчерпывающий ответ фактически уже дан. Правильность его до известной степени может подтвердить беглая страничка личных воспоминаний из эпохи того же смутного времени.

Как-то редакцию «Голоса минувшего» в Москве посетил вернувшийся из Парижа уже после июльских дней сотрудник нашего исторического журнала, столь прославившийся впоследствии Покровский. На заседании присутствовало несколько человек редакционного коллектива. Покровский — марксист, издавна принадлежавший к большевистской фракции,— не был в рядах наших близких друзей. И почти естественно было прежде всего задать ему вопрос об его отношении к курсу ленинской политики и о происхождении тех денег, о которых говорила вся страна. Брали ли большевики у немцев деньги для своей работы? И Покровский, не задумываясь и не колеблясь, пояснил, что деньги дали немецкие социал-демократы. Я не только хорошо это помню, но мы тогда же запротоколировали признание видного большевистского деятеля. В Москве в Коммунистической академии, куда попала вся моя библиотека и весь мой архив, как личный, так и редакционный, должен был сохраниться этот протокол. Не могу сказать, что признание Покровского нас удовлетворило, ибо нам чужда была такая широкая интернациональная терпимость в бурную эпоху войны. Но все-таки ошибочная тактика не могла быть морально унизительным деянием. Подобное признание уничтожало то позорное, что было в установлении факта содружества интернационалистов с генеральным штабом одной из воюющих держав. Покровский осуждал всю ленинскую тактику и говорил, что не выходит из партии только потому, что намерен бороться внутри ее с опасным направлением. Вскоре мы увидали на практике всю искренность признаний недостаточно еще ориентировавшегося в момент посещения нашей редакции историка-марксиста. В то время мы сами мало были осведомлены. С очевидностью можно сказать теперь, что деньги дала отнюдь не немецкая социал-демократия из побуждений своего интернационалистического сознания. «Невероятная сумма», полученная Лениным и его товарищами, писал Бернштейн, не могла оставить места для сомнений, откуда притекали эти деньги. И все же некоторая фикция была соблюдена — в кармане Парвуса, связанного и с социалистическим миром, и с министерством иностранных дел, и с представителями генерального штаба, надо искать тот «золотой немецкий ключ», которым открывается тайна необычайно быстрого успеха ленинской пропаганды. Никогда, очевидно, не было момента, чтобы Ленину хотя бы в символическом виде в какой-то кованой шкатулке передали 50 миллионов немецких золотых марок. Возможно, что и самая сумма, названная Бернштейну, преувеличена, поскольку речь идет о деньгах, переданных непосредственно в распоряжение ленинцев. В итог могли быть зачислены и другие действия той «внутренней акции» по разложению России, которую вел немецкий генеральный штаб согласно плану, установленному еще до войны.

---

[24] «Общее дело», 20 января 1921 года. Эта беседа была, следовательно, напечатана через неделю после выступления Бернштейна. Между прочим, дававший интервью утверждал, что главная сумма была выдана Ленину при поездке в Россию.

От редакции

Публикацию главы из книги А. Авторханова «Ленин в судьбах России. Размышления историка» («Искусство кино», 1991, № 3) подготовил С. В. Николаев.

Г. Померанц

Один шаг

В этом городе Достоевский проиграл свои последние талеры и был выдворен за счет муниципалитета, подписав унизительное обязательство никогда больше не приезжать в Рулетенбург (Висбаден). Сейчас на здании казино бронзовая доска: здесь дер гроссе руссише шрифтштеллер Достоевский обдумывал роман «Игрок». От унижения до величия — один шаг: к письменному столу.

Есть немецкий нравоучительный стишок: деньги потеряны — ничего не потеряно; честь потеряна — полпотери: можешь завоевать славу и вернуть свою честь. Дух потерян — все потеряно. Тогда лучше бы не родиться.

Немецкое слово «mut» означает мужество, смелость, дух (в идиоме: падать духом). Mut verloren — alles verloren... В 1945 году на руинах тысячелетнего царства высшей расы Германия не потеряла духа. Потеряли дух растерянные гитлер-юноши и гитлер-девушки, вчера еще маршировавшие к победе и не способные осмыслить поражения. Примерно как журнал «Молодая гвардия» — осмыслить наше двойное банкротство утопии и империи. Эти постаревшие гитлер-юноши и сегодня копошатся в темных углах. Но Германия не потеряла духа и не испугалась покаяния.

Трудно стоять, как Раскольников на Сенной площади, и ничем себя не оправдывать перед Богом и людьми. Но в 1945-м немцам просто ничего другого не оставалось. Козла отпущения они уже находили после 1918 года, когда евреи и марксисты воткнули нож в спину победоносной немецкой армии. Этот козел был нагружен всеми грехами человечества и торжественно принесен в жертву. Но благочестивая жертва оказалась преступлением против человечества и несмываемым позором. Столько усилий, такая энергия! Столько беспримерного героизма! У стольких памятников старины клялись в мужестве и верности и действительно были верны до последнего (мальчики из гитлерюгенд лежали в своих ямках, простреленной головой — к противнику, окоченелыми руками сжимая фаустпатрон)... И все оказалось впустую. «Tapfer und Treu» — «мужество и верность» — на каждом сортире (примерно как у нас: экономика должна быть экономной), но по дорогам — вражеские танки (наши и американские). Винить теперь было некого. Козел отпущения был задушен, сожжен и кольцами дыма ушел в облака.

Золото кос твоих, Маргарита,
Пепел волос твоих, Суламифь.
(П. Целан)

Оставалось винить самих себя.

И вот я хожу по улицам Висбадена. Дома, уцелевшие от бомбежек, окрашены в спокойные тона. Новые здания, сероватых колеров, вписываются в ту же гамму розоватых, коричневатых, голубоватых фасадов. По улицам ходят спокойные, неторопливые люди. В ресторанах — негромкая музыка. Спокойные предвыборные плакаты (я как раз попал к выборам). В земле Гессен по-прежнему будут править христианские демократы, а в главном городе земли Висбадене — социал-демократы. Никто друг другу не тычет палки в колеса, не устраивает блокаду...

Спокойные взрослые не кричат на детей. Посредине огромного и очень людного дешевого универсама (в субботу самый людный день) на полу играют двое крошек. Папы и мамы их вежливо обходят, продавщицы тоже молчат. Личность имеет свои права, в том числе личность дошкольника. Я побывал в двух гимназиях и ни разу не слышал: «Тише!», «Прекратите!» На лестнице парень, встретив девушку, при директоре

Эта статья написана автором после поездки в Германию зимой 1990 года в качестве корреспондента «ИК» на семинар по проблемам сталинизма. Редакция благодарит всех работников Союза кинематографистов СССР и Киноцентра, которые помогли нашему автору вновь побывать в Германии (вообще за границей) через сорок пять лет со времени освобождения Европы от фашизма.

чмокнул ее в щечку. Парочки расселись прямо на полу (на огромном паласе, накрывшем вестибюль). Но уровень шума на перемене ниже, чем в московской школе. Ребята усваивают известный предел громкости так же, как котенок — поведение кошки: методом подражания.

Мы вошли в класс. Учитель заговорил, не повышая голоса. Через полминуты стало тихо. Иногда ребята улыбались, перебрасывались замечаниями шепотом, один парень захотел пить и глотнул чего-то из банки, но все это очень тихо, совершенно не мешая слушать другим. За весь сдвоенный урок уровень внимания не снижался. В другой школе подростки были еще более внимательны к нам (моим напарником был профессор Этингер. Он рассказывал о семейном опыте сталинизма, я пытался рисовать перспективы). Вопросы задавали серьезные, очень интересовались противостоянием Горби — Ельци. Я почти физически почувствовал: другая молодежь, совсем не та, что в 1945-м (тогда я побывал в Берлине и в Судетенгау). И весь народ — не тот. Прошлое — прошло́. Нигде не чувствуется военно-патриотическое воспитание, да и военных не видно. Говорят, они ходят в увольнение переодевшись. Реваншизм? Где-то он есть, но зажечь, захватить истерикой эту мирную толпу... не могу себе представить. Для истерики нужна другая толпа, издерганная, вымотанная. Та, которую я оставил на родине.

Система сама себя воспроизводит. Ребенок с детства понимает, что можно выбрать куртку и штаны из 200 или 300 вариантов и халтуру мама не купит. Даже хорошую вещь дороже другой при том же качестве покупают только миллионеры, ради сервиса в дорогих магазинах, но сервис — это тоже товар, и за него надо платить. Люди получают примерно в 10 раз больше, чем у нас, но денег никто на ветер не бросает. Экономический расчет начинается с потребления, с похода в магазин, цепляясь за мамину юбку. Не порождает ли это душевную узость? Боюсь, что мы легко расстаемся с деньгами отчасти потому, что испытываем удовольствие хоть на что-то их истратить; и как тратим, так и работаем (где бы ни работать, лишь бы не работать).

Школьники висбаденских гимназий и участники восточноевропейского семинара во Франкфурте-на-Майне не произвели на меня впечатления узких людей. И на столик с надписью «помощь Советской России» в вестибюле школы щедро сыпались бумажки и серебро. Бумажка — это по меньшей мере 10 марок. Серебро (одну, две марки; по величине — как гривенник и двугривенный) подают нищим (рабочим-мигрантам, оставшимся без пособия).

Мне было неуютно проходить мимо этого столика, засыпанного деньгами. Все-таки осталось где-то воспоминание, как мы брали их Берлин. А теперь побежденные бросают свои марки победителям. Нет, прав был Эпикур: приятнее давать, чем получать.

От унижения до величия — один шаг, если это шаг к работе. Говорят, что исток капитализма — не грабеж колоний, не первоначальное накопление, а протестантская этика. Первыми современными странами стали те, где в общенациональном масштабе победила Реформа. Правда, колонии у них тоже были — у Англии, у Голландии. Но страны, больше всего награбившие (Испания, Португалия), долгое время оставались нищими. А Германия и Япония (и Гонконг, и Сингапур) разбогатели на наших глазах безо всяких колоний. Богатеют те, кому не на что рассчитывать, кроме собственной головы и собственных рук. Сейчас это вовсю пошло и на Дальнем Востоке, но началось на дальнем северо-западе...

Протестант почувствовал свой личный долг перед Богом и не халтурил перед Господом. Макс Вебер назвал это «мирской аскезой», установкой на спасение в миру, в работе, трудом. Скорее всего это выросло из того, что протестанты стали сами читать Библию и столкнулись с открытыми вопросами, которые и священник не знал, как решить, и научились сами за все отвечать и надеяться только на себя (метафизика здесь переходит в быт). Однако опыт Дальнего Востока показывает, что «протестантская этика» — метафора, что такая этика возможна без протестантизма и вовсе без христианства. Так или иначе человек под влиянием социального или личного кризиса вдруг чувствует себя наедине с вечностью, наедине с бездной, наедине с Богом:

Порвалась связь времен.
Зачем же я связать ее рожден?

Первая реакция — чувство своего ничтожества, бессилия. Но если человек вместил в себя бездну, он вмещает в себя и частицу божественного всемогущества, принимает на себя ответственность за свою личную судьбу и национальную судьбу, становится не марионеткой, а протагонистом, противоборцем истории. История полна кризисов, и Запад вовсе не решил всех проблем, и никто их никогда все не решит

(разве в личном мистическом опыте). Но встреча с бездной вины и ответственности открывает источник творчества.

«Прекрасное — это та часть ужасного, которую мы можем вместить»,— писал Райнер-Мария Рильке (пытаясь объяснить странную на первый взгляд строку из Дуинских элегий: «каждый ангел ужасен»). Красивость заслоняет бездну. Красивость лжет. Прекрасное непосредственно родится из ужаса бездны, в прекрасном непременно есть тень бездны, через которую прошел творец. Граждане Майнца, разбитого бомбежкой, немного почистили руины собора и оставили их как памятник войне, соорудив вокруг несколько молитвенно сложенных бетонных рук. Нельзя сказать, что руина в центре оживленного города «украшает» его. Не украшает, но делает город значительнее. В ней есть какая-то суровая красота.

От унижения до величия — один шаг, и от разгрома — к пробуждению духа. Разбитые армии хорошо учатся: разбитые народы тоже. Другой памятник Майнца — колонна, воздвигнутая по случаю тысячелетия самого древнего, уцелевшего собора. Вокруг колонны металлический постамент с горельефами: пожар гетто, сожженного (вместе с жителями) отрядами крестоносцев, собравшихся освободить Гроб Господень и отомстить за обиду Господу нашему Иисусу Христу; рядом — пожар Майнца, сожженного в феврале 1945 года американской авиацией... В этом городе хорошо помнят историю.

Третий памятник — церковь Св. Стефана с поразительными витражами Марка Шагала. По словам гида, Шагал работал над этим своим последним шедевром десять лет. По заказу тех, кто освободились от власти бесов и вернулись к заповедям Бога — единого для всех. Борис Хазанов, с которым я перезванивался по телефону, назвал эти витражи «окошками в рай». Окошки — метров 15 или 20 высотой, но открывают за собой бесконечность света и поэтому, конечно, окошки... Окошки в рай, на планету Смешного человека, где больше никаких храмов — ни христианских, ни иудейских.

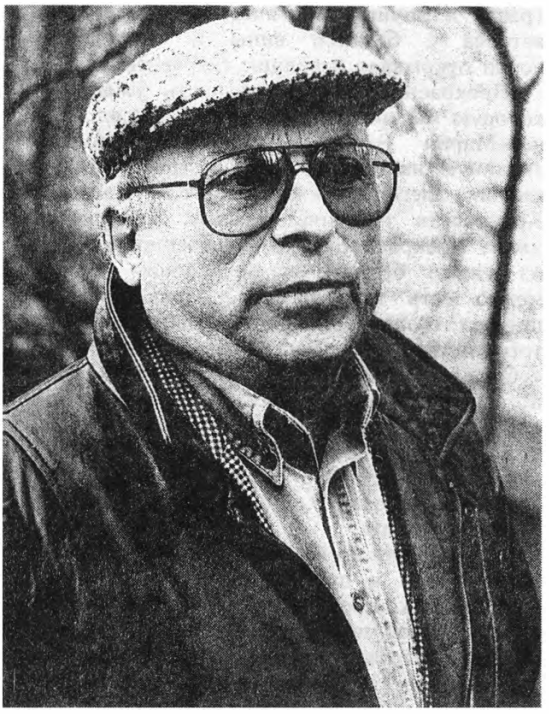
А вел нас по Майнцу бригадир рабочих из социал-демократического ферейна для народного образования и культуры. Во время ежегодных отпусков он объездил всю Европу и полюбил красоту архитектуры. Водить почетных гостей — его хобби. Несколько раз я обменивался с ним замечаниями или взглядами; многое мы чувствовали сходно. Вообще здесь много делается любителями, без зарплаты, но вполне профессионально. Заместитель внешнеполитического отдела социал-демократической партии, давший нам с профессором Этингером обед,— политик-любитель (работает инженером в фирме Симменс). После обеда он взял счет — отчитаться за расходование партийных денег. Свой собственный и общественный карман никто не путает. Что-то от традиционного немецкого чувствуется в каждом; только раздувшееся национальное самолюбие лопнуло и исчезло.

Немцы сумели осознать ужас своего поражения — и стали другими людьми. А нам все еще хочется быть сверхдержавой — и в мечтах о сверхдержавности со своим особым путем мы сползаем в обыкновенную слаборазвитость, вроде иракской (тоже прикрытой мечтами о халифате). Мы держимся за свой военно-промышленный комплекс, хотя он вдвойне нелеп: потому что большая война была бы самоубийством и потому что в подготовке к этой нелепой войне мы безнадежно отстали и никакими тратами ресурсов нелепость нашей экономики нельзя компенсировать... Мы стонем от экономического дефицита и не понимаем, что в основе — дефицит ума, дефицит творческого духа; что современный народ — это не старухи на завалинках, а совокупность духовных движений, направленных к возрождению личности.

Юз Алешковский

Руру (Русская рулетка)

Деревенская поэзия



Посвящается крестьянке
Нью Хемпшира Нине Моховой,
а также ее мужу — стихотворцу
и профессору университета
Дартмут Льву Е. Лосеву.

...Ира однажды налопалась лягушек в Бургундии. Я имею в виду чудесное, старинное блюдо, которое соблазнило ее своей экзотичностью в деревенском трактире. Сам я предпочел тогда кусину говядины от одного из первых ребер, зажаренную на углях.

В купе поезда, когда мы возвращались в Париж, Ира — эта большая гурманка — чуть не упала в обморок. Температура у нее подскочила, очевидно, до сорока с лишним. Лицо беспомощно пылало, как у ясельного ребенка, подхватившего скарлатину. Я был совершенно растерян, не зная, что делать, пока в моем подавленном уме не блеснула диагностическая догадка аллергии...

Организмы даже самых близких, достаточно вроде бы изученных вами существ способны вдруг поразить вас какой-то совершенно непредвиденной и пренеприятной импровизацией. Действительно, могло разве прийти мне когда-нибудь в голову, что между замечательно приготовленной лягушатиной и состоянием подруги жизни — она очень быстро тогда поправилась — обнаружится вдруг такая «взрывоопасная», загадочная связь?..

(Из письма)

1

Вспоминаю свое пребывание в 1982 году в бывшей Смоленской губернии, под Ельней. Дивные те места, вследствие восприятия всего трагического и прекрасного в нетрезвом виде, глубоко, до конца дней запали в мою душу. В тех местах я пил однажды совершенно жуткий, смертельно синий самогон с двумя печальными крестьянами. Оба они временно были отлучены, в силу различных обстоятельств социальной жизни, от полезного труда.

За некоторое время до поглощения этой инфернальной жидкости мне приходилось, поборов смущение, зажимать двумя пальцами обе ноздри, чтобы хоть как-то обмануть не дремлющее в каждом чувствительном человеке обоняние.

Уже Гиппократу было известно, что функции какого-либо органа чувств, насильственно подвергнутого давлению извне, на какое-то время как бы обиженно отмирают.

Так вот, в момент одного из многочисленных и спасительных за тот день отмираний моего обоняния,

жахнул я еще полкружки оловянно-синеватой отравы, которой не брезговал бывало создавать в мозгу иллюзию возможности улучшения отношений с невыносимо бесчинствующей реальностью.

Крестьяне — собутыльники мои и новые мои знакомые — смотрели на меня в моменты принятия точно так же, как сам я смотрел на ублюдочную жидкость — со спазмом гадливости и презренья.

Не могу, однако, не заметить, что состояние, мгновенно заполнявшее все ваше существо уже через пять-шесть секунд после столь многотрудного принятия в себя спиртного напитка самого низкого происхождения,— состояние ваше становилось таким благородно и чудесно взвешенным в ужасающем растворе праздного, сельского дня, таким становилось оно вселюбовным, всепрощающим, даже, сказал бы я, духовно возвышающимся над неестественными несообразностями самой измордованной жизни нашей, каким, безусловно, не могло бы оно стать после фужера аристократического коньяка или стакана простой, совестливо произведенной, покойной, к сожалению, водяры... Жахнул я в очередной раз, проморгался от слез, вызванных всегда обидным для телесной плоти зажатием трепетных воскрылий ноздрей промеж двух грубых пальцев, и пошарил оком: чем бы хоть занюхать столь жуткую отраву?

Увы! Банка «бычков в томате» была пуста. Жестянка ее чернела на глазах, как бы неумолимо окисая от разъедающих любое вещество и живую плоть веяний колхозной действительности.

Птички, воспользовавшись мгновеньем разлития в наших существах духа покоя и нетрезвых иллюзий приобщения к азам высокого порядка,— птички быстренько доклевали вмиг подсохшие на солнышке невзрачные крохи государственного хлеба.

Стол наш садовый представлял из себя безнадежно безжизненную пустыню.

У неопрятных курей, переживавших, видимо, тепловой удар и оперевшихся в тенечке, чтоб не упасть, о штабелек старенькых дощечек, был такой предельно жалкий вид, что помыслить о принесении хоть одной из них в жертву звереющему аппетиту — значило уничтожить в себе остатки неприкосновенного запаса человеческого достоинства. «Совсем без него — куда уж! — думал я в тот момент.— Разве что в базарные мясники или в привокзальные таксисты...»

Дощечки, кстати говоря, лежавшие в том ветхом штабелечке, были пепельно-серыми, жалостно трухлявыми и вызывали в уме сочувственный вопрос: почему им года три-четыре отказывают в праве сгореть в домашнем очаге с достойной полезностью? Почему неразумно гноят их под пеклом лета, под дождем, под снегом с наледью и пронизывающими до мозга сучков ветрами? Почему хозяева дома, имеющего, славу Богу, печь, отказывают беспризорной, прозябающей древесинке в праве личного, скромного участия в тепловых делах мироздания?..

...Степан Сергеевич — до скорбной боли в душе и возмущенья умственного гнева человек этот походил на маленькое захоронение безвременно ушедших от всех нас талантов — Степан Сергеевич вдумчиво обклеивал свой же левый кулак довольно крупными лоскутками-кожурками бывшего картофельного мундира...

Забегая вперед, скажу, что меня весьма удивила впоследствии распространенность в Америке настольных игр, испытывающих обывателя на исправность работы некоторых участков памяти, на терпение, деловое прилежание и наличие в его натуре чувства упорства в достижении пусть даже самой ничтожной и абсурдной цели.

Настольная эта игра называется ПАЗЗЛ, что означает по-нашенски головоломка.

Суть ее и лад — в страсти восстановления картин целого разной сложности. В выкладывании либо какого-нибудь дивного пейзажа, либо Рембрандтовой копии, либо старинного парусника, из беспорядочно перемешанных друг с другом десятков, а то и многих сотен кусочков картона. На них и была раскроена неглупыми предпринимателями — стихийными, так сказать, человековедами — картина того целого.

И вот, представьте себе, сидит в одном из обжитых уголков богатейшей и свободной Америки нормальный обыватель. Сидит он в уютной тишине домашнего гнезда или, вроде нас, на клочке своей земельной собственности, за деревянным столом; сидит, может быть, одиноко, а может быть, окруженный своими близкими; он сидит, с адским терпением роясь в хаосе дразняще загадочных кусочков и радуясь удаче правильного совмещения одной какой-нибудь частички целого с другой частичкой или с частичкой этой частички; сидит, безумно порой раздражаясь, порой впадая в мрачное отчаяние, порой остервенело злясь на себя и себя одного проклиная за отсутствие наблюдательности, терпения, памяти и порядочности, то есть дара соответствия порядку простейшего, посильного даже для слабоумных леди и джентльменов, труда; сидит, корпит, забыв, возможно, о достаточно горестных настроениях нынешнего века, об окончательной падшести мировой политики, о плюгавеньком душке предательской вражды, витающем над еще дышащей, над бездарно опоганенной нами, над единственной нашей планетой и о крысином нашем уничтожении Творенья — сидит и восстанавливает картину целого, живописное изображение которого лежит тут же у него под руками.

Он то и дело поглядывает на вспомогательную эту картинку, выискивая на откровенной плоскости ее пространства намек на какое-либо сходство с тем или иным из множества перемешанных фрагментов целого, на которые оно и было раздраконено, в соответствии с простыми правилами этой настольной головоломки-собиралки.

Иногда, держа изображение объекта устремления всех сил и всего своего личного времени лишь в памяти, он продолжает выкладывать его копию исключительно по наитию, как бы самоиспытываясь на присутствие в себе томления по первооткрыванию неких далей и способности деятельно превозмогать неизвестность...

А каких только целей не ставит перед собой недальновидный от природы человек — особенно целей совершенно ложных и нелепых,— наивно полагая цели эти лучшими способами борьбы с неизвестностью...

...Но иногда, совершенно непредвиденным образом, обретает вдруг головоломствующий обыватель высшую степень всякого мастерства. То есть он любовно доверяет материалу естественное право распоряжения, неведомо откуда к нему снизошедшей и неведомо как возникшей в нем самом восхитительной энергией саморазвития.

Вот тогда он, бескорыстно торжествуя, и с душевным восторгом, знакомым не только Богам, поэтам и живописцам, наблюдает, как ладненько — на кромках и посерединке — восстанавливается из вроде бы вполне безнадежных руин и хаотически разбросанных обломков, скажем, Вермонтский водопад... Ночная стража... Роща цветущих персиков... Гравюра Лиссабона... Панорама Хиросимы (виды городов до рокового землетрясения и немыслимого торжества науки)... Карта океанов и материков земного шара (копия магелланова путеводителя)... Кусок звездного неба (первая десятидневка яблочного августа)...

Образ целого окончательно еще не возник на столе, в полной соразмерности частей, родственно слитых друг с другом, с ясно различимыми между ними, свежими швами, вызывающими и в моем сердце нежную, радостную боль сопереживания любой удачно оперированной, сращенной плоти. Но вы замечаете вдруг в выражении лица обывателя, занятого праздным, казалось бы, делом, самозабвенную страсть сосредоточенья и черты первобытной, божественной простоты — простоты поедания хлеба, испития воды и безрассудного согласия человеческого существа с обреченностью на устрашающие тайны трагического бытия. И в голове вашей... да какое там, в голове! — всем вашим существом, сами того не понимая, но лишь завороженно — до мурашек по коже — соглядатайствуя, приобщаетесь вы к тому, что, скажем, одинокий слепой воспринимает — как счастливую примету правильности невидимого пути; крестьянин-хлебороб — как абсолютное знание всех биохимических тайн сотворения почв и произрастанья злаков; влюбленный человек — как истину своего существованья, а осчастливленный дивным даром поэт — как знак судьбы, то есть как совершеннейшую единственность рифмы и звука...

Это уж другое дело, что, полюбовавшись всласть на собранное, завтра потратится мирный и социально уравновешенный обыватель на новую собиралку-головоломку или разрушит от скуки житейской все накануне восстановленное. Разрушит и тут же вновь засядет за его выстраивание, насыщая живущую в своем, то ли к сожалению, то ли к счастью, непросвещенном существе тайную, темную страсть восстановления из пепла и руин целого...

Но Бог с ним, со свободным собственником — с американцем. Вернемся-ка мы в Ельнинский район бывшей Смоленской губернии, в садовый дворик.

С каждою минутой левый кулак Степана Сергеевича все больше и удачней походил на лепное изображение довольно крупной картофелины необычной формы.

Перед тем как наклеить, он — с выражением на лице любви и уважения даже к такому нелепому на первый взгляд мастерству — слюнявил все эти очередные, слегка закурчавившиеся с подсохлых краешков лоскутки кожуры, безошибочно подбирая один к другому.

Получалось все это у него замечательно. Кожурки «мундира», с кое-где сохранившимися пуговками глазок, каким-то образом ладненько примыкали друг к другу, словно в них самих продолжала жить, после съедения ихнего родного картофельного плода, некая могущественная сила, тоскующая по возобновлению изначальной цельности пусть даже только одной своей сваренной внешней оболочки.

Каких-то три-четыре минуты — и вот уже не кулак держит Степан Сергеевич перед своим поистине вдохновенным лицом, а натуральную картофелину держит он перед лицом своим, еле сдерживая в глазах слезы умиления перед совершенством исполнения ничтожного дела, а также перед еще уловимым, перед остаточным, но все же явным присутствием Духа Искусства Жизни посреди всего того, во что превращено было совместными усилиями наивных утопистов и немыслимых злодеев бесконечно униженное это и изощренно оскорбленное, а некогда скромное, буколическое пространство.

Я тихо и покорно наблюдал за всеми действиями Степана Сергеевича, в которых мне тогда, должно быть, виделись не только значительные символические смыслы,— например, бессознательное вникание в напрасно опороченное слово кулак,— но и смутные образы превозмогания нескольких видов уныния: социального, бытового, обыденного и нравственного — самого убийственного из многочисленных наших жизненных уныний.

Должно быть, чуялось мне также в природе странного и уникального увлечения Степана Сергеевича делом восстановления внешнего облика съеденной картофелины нечто, как теперь говорят, архетипическое. То есть то, что тайным образом находится в составе существа человека, но дает знать о себе либо милостиво, либо зверски, когда какие-либо обстоятельства в личной его действительности или в жизни общества становятся, на тени обстоятельств, впервые отложенные всем опытом раннего существованья, в самых сокровенных уголках родовой нашей памяти, в каждой клеточке все еще произрастающего, слава Богу, генеалогического деревца...

Хотя, помню, подумалось мне: какая может быть связь между, скажем, въедливыми признаками начала земледельческой эпохи, пережитой первыми оседлыми, крестьянскими коленами Степана Сергеевича, между вот этой самодеятельно вылепленною бульбой и тем уродливым распадом достойной сельской жизни, который мы в те дни осоловело воспринимали под тоскливою балдою и о всевозможных сторонах которого не было у нас больше сил болтать беспомощными языками?

— Такие клубни больше тут не родятся. Одна дробь с куста дрищет,— произнес вдруг Степан Сергеевич, плеснув себе еще полкружки свободною рукою. Жахнув, он выдохнул из себя дух сивухи с симпатией и отвращением одновременно. Занюхал дозу своим же лепным кулаком. Затем добавил:

— На хрена ей, собственно, родиться? Она этого не же-ла-ет. Не же-ла-ет категорически и ни в жисть! Чего она тут не видала? Чего ей жрать в земле? Химию? Нитрат Нитритыча? Ебала она всю эту химию в... суперперандигридфосфат!

Степан Сергеевич даже удивился — до того складно и без запинки произнес он это замысловатое, а главное — не существовавшее до этой минуты в словарных запасниках Отечества словечко.

— Чего, еще раз подчеркиваю, она тут не видела? Физий городских? Они же пригнаны райкомом на нашу картошку насильно. Но ненавидят натурально только ее одну. Ее! А она, бедная, еще ведь с лопаты — вся в черных ушибах, словно пьянь вокзальная. А потом?.. Внимаешь, Писулькин, что за невыносимая у нас тута деревенская проза?.. Потом картофельный несчастный народ от борта до борта вертухается, словно деды наши, бабки и папашки с мамашками в жестоких кузовках ЭНКЭВЭДЭ. Последние себе бока отбивает. Потом в телятниках да в столыпинских товарищ Картошкин с товарищем Картошкиной в мундирах драных зябнут, в ишачье ухо загибаются, соплей страдальческой исходят. Потом в хранилище их бессердечно бросают. Там они и доходят-фитилят до аврального перебора... Ужас!.. Говорить не могу!.. Хошь аминазин жри... Возьмет корреспондент этот членов картофелину осклизлую в руку и думает: что за паскудный оборот веществ в природе? Я ж тебя копал-ненавидел, от микроскопа родного оторван партийной силой, я ж тебя, транспортируя, безбожно терял и побивал, а теперича ты тута бесконечно гниешь, на рынке проституируешь десятижды дорога, за что же ты все-таки надо мной издеваешься, сучка недокрахмаленная?.. Я одному такому члену ученому лопатой врезал по хребтине в полевой дискуссии. Больно, говорю? Вот и ей тоже больно. И еще больней, чем тебе. Потому что не ты ее кормишь, паразитина, а она брюхо твое заполняет благородной полезностью всемирного крахмала... Пятнадцать суток влупили мне тогда вместо года, так как пострадавший корреспондент лично покаялся и стал на суде защищать мою немыслимую объективку. Потом его признали диссидентом, вроде Солженицына с Сахаровым, и чалму повязали мордовскую. На семь лет. Жаль человека. С людьми у нас тоже поступают еще хуже, чем с картошкой. Возьми Афган. Или вон у Федора — баба-счетоводка который уж год ничего в себе не несет, кроме чернил краденных из правления и апельсинов из Москвы.

— А чего ей рожать? — впервые встрял в наш пьяный разговор Федя — человек чем-то пришибленный, а оттого и бесконечно грустный.— Никакого живчики мои не прикидывают в колхозной действительности для себя удовольствия. Ни товаров, как говорится, широкого потребления, ни самого узкого продовольствия. Это ж надо до чего мы все дошли! Слыхано ли дело, чтобы на родине Сусанина и великого Глинки, в вонючем нашем сельпе нельзя было бы сгоношить ни портвешка, ни затруханной четвертинки!

Я сунулся было в карман за карандашиком и записной книжечкой, чтобы зафиксировать в ней некий, быстро мелькнувший в моем пьяненьком воображении призрак мысли о жизнеустроительном значении стихийного явления случайной рифмы в речи сельских жителей умирающей деревни, но это значило бы прозевать поток самой этой восхитительной — и истино живой речи. Куда там! С праздным карандашиком было бы за ней не поспеть.

— Вот я и рассуждаю в ежедневном подпитии, что семенной фонд — он очень тонко реагирует на дальнейшие постановления о дальнейшем улучшении и развитии,— стихийно дорифмовал свою мысль Федя.

Степан Сергеевич продолжил ее, прижав щеку к картофельному своему кулаку:

— Потому и засновали мы, недоплодив и недорожав, как мыши, по американским амбарам. Я — крестьянин, мать вашу разъети в сельсовет-заготскот-райдортрест! Я говорю на седьмое ноября на собрании: что ж вы, суки, в Литву намылились и в Латвию, а сами еврея пропечатываете предателем за то, что он Родине изменил и в Палестину сваливает? Он ведь все же, говорю, в свой огород намылился, а вы, эмигрантские ваши рожи, Смоленщину многострадальную и Жабуньку родимую на одного комара и гусеницу с жабами оставляете? Бежите, падлы, полоскать мослы в Балтийском океане, окошки тесинами перекрещиваете? Глядите: дуба дает наша Жабунька! Ее сам Наполеон с большим сожалением покинул! Отступаете, козлы, прочь от родимой картошки к колбасным прилавкам? Не из-за вас ли, говорю, в городе белобородатый картофель кубинский продают, Фиделькой называется? А вы меня, говорю, за грозную правду тяжких времен поганите чучелом объявить безумным, грозите в психушку вхреначить вместе с водородной бомбой, с Архипелагом и с последней моей действующей бабой разлучить? Вы и есть, товарищи гнидорезы, предатели Жабуньки, эмигранты без креста, земли, воды и пламени! Тьфу!.. И я еще раз подчеркнул...

Степан Сергеевич неожиданно примолк, поскольку все мы увидели человека в милицейской форме, но без фуражки. Он подъезжал к нам на допотопном запыленном велосипеде, доживавшем, видимо, последние дни, если не часы, но еще двигавшемся, так сказать, по упрямой старческой инерции и, возможно, только назло иным, изредка снова вшим то вдали, то по пыльной дороге, то в небесах механизмам.

— Участковый,— сказал Федя, быстро отпулив почти пустую бутыль, а также наши кружки за оборонительный кустик крыжовника.

— Пропиши, Писулькин, что этот козел велосипедизированного бюрократизма и чиновник властей отволакивал меня в психушку, — сказал Степан Сергеевич с памятливой горечью, но и не без некоторой гордости за прошлые страдания.

— Он — сволота — обвязал Степана веревками с головы до ног и захерачил в кузов, как казенной картошки мешок,— стихотворно пояснил Федя.

— Ну, что, тунеядцы? Распад маразма? Городского паразита спаиваете? — враждебно выкрикнул участковый и как-то рухнул вместе с велосипедом на ветхий заборчик, чуть не завалив его.— Хоть бы взяли топоры да пару пасынков поставили!

— Куды-ы-закуды-ы? — издевательски лениво спросил Федя.

— А вот сюды-ы! — передразнил его участковый, как бы солидно готовясь к начальственному выходу из себя.

— А мы-то думали в Афган потребовались тебе пасынки. Сынков и братишек мы ведь уже поставили,— сказал, не скрывая ответной враждебности и ехидства, Степан Сергеевич.— Я вот тисну на тебя телегу, что ты Русь опять к топорам зовешь. Велосипедизация хренова...

— Опять матюкаешься, Юкин, при моих служебных обязанностях?

— Есть свидетели, что Юкин на букву «хэ» — ни слова, а ты бы совесть имел — хрен ли ты священный покой похоронного горя нарушаешь своей мордастой портупеей?

Федя как сидел, так рухнул вдруг наземь. Его затрясло. Потом он просто взвыл, надрывно возвышая голос до неких трагических аффектов, способных достичь, как кажется многим из нас при такого рода рыданиях, самых высших небесных инстанций.

Поначалу, впрочем, мне показалось, что вся эта пантомима есть артистическое течение фамильярного розыгрыша привычной встречи с властвующим на селе милицейским чином.

Но Федя так вдруг скрючился и так посинел от внезапной пневматической неприятности в организме, что сердце мое, отбросив всякие медленные мысли в сторону, с мгновенною болью отозвалось на чужую беду.

— Скорую надо бы! — сказал я растерянно. Участковый посмотрел на меня, как на такого идиота, каких он давно уж не встречал в бывшей Смоленской губернии.

— Что верно — то верно! Москва всегда права! — Степан Сергеевич встал из-за стола и направился к кустику крыжовника. Левый кулак-картофелину он осторожно держал перед собою. Взгляд участкового прикован был к сюрреалистическому этому предмету с большой и весьма напряженной аналитической силой.

Свободной рукой Степан Сергеевич поднял с земли бутылку с остатками жуткой сивухи.

Участковый при этом отвернулся, как бы давая понять, что он ничего такого не видел и что вообще — мало кто, к сожалению, из людей знает, какие в его служебной душе имеются запасы истинно человеческого великодушия.

Я бросился к Феде, положил голову его себе на колени и влил ему в рот сосудорасширяющей жидкости. Зубы его, по-младенчески хватаясь за жизнь, так и отбивали жалобную дробь на гунявой стекляшке горла бутылки.

Полминуточки — и он, очухавшись, уже сидел на травке и словно бы вновь выстраивал сам перед собою только что окончательно и вроде бы необратимо разрушающуюся на его гаснущих глазах картину целого...

Он смотрел с совершенно младенческим удивлением и радостью первоузнавания на дворик, родственно приявший в бедняцкую тесноту милого своего пространства невыразительный домишко с худосочным огородишком; и на те самые старенькие дощечки; и на жалко перекособоченный, почти развалившийся скворечник сортира; и на всетерпеливую, почти необитаемую местность, давно уже молча вопрошающую, неизвестно у кого неизвестно что; и на небеса, всего минуточку назад низко, мрачно и взыскующе над ним нависавшие, но вновь по одному лишь заступническому мановению свежего ветерка отпустившие слабому человеку все вольные, как говорится, и невольные, и обретшие в тот же миг ясность самоуглубления и надмирную высоту.

С беспредельной благодарностью глядел Федя на небеса, в очередной раз милостиво отпустившие страдающей его душе и болящей, пьяненькой плоти бесчетное количество грехов. И словно бы оттуда, с небес капнули и тихо потекли по безжизненно бледной щеке его две чистые живительные дождинки.

Он и на нас затем взглянул с удивлением, исторгнувшим вдруг из глаз его совсем бурные слезы, настоенные на чистейшей трезвости,— слезы вины, ужасного опыта помирания и настоятельного призыва к непременному превозмоганию всех трагических перипетий существованья. Застеснявшись слез, он сказал:

— Во всей — слыхано ли! — области нету ни пирамидончика, ни валидола. Вместо них гонится, поговаривают умные люди, в Москву с Уолл-стрита бесполезная кока-кола!

— Не у одного тебя, Федя, такая же катавасия. Свинцовые гробы, как поется в похоронной песне, летят со всех концов на плечи матерей-отцов, в смысле дальнейшего развития зверских аппетитов и скачки Медного Всадника по телам народных Евгениев, исходя из моего школьного сочинения. Так что давай помянем Жеку. Преступлений вокруг не предвидится, судя по жарище и поголовному дезертирству. Крепка у нас кутузовская традиция отступать оголтело на Москву. Осталось? — сказал участковый.

— Семнадцатый день поминаем, но осталась самая малость. Только жрать нечего. В сельпе — ревизия растраты пустого прилавка,— сказал Федя, мгновенно обретая способность к деятельности. Он тут же просто-таки полетел к домишку — полетел, как раненая птица, волочащая по земле крыло, подбитое кривоглазым Роком, но намеренная спастись от него во что бы то ни стало.

— Федорова брательника Женьку поминаем,— сказал мне Степан Сергеевич, наверно, раз в десятый за сегодняшний день.— Афганы голову ему отрубили в плену, хотя в похоронке налгали, что погиб воин при исполнении интернационала долга. А голову, между прочим, подлую и глупую, следовало отрубить прям на Лобном месте орденоеду чернобровому. Осмелься, Писулькин, пропечатать сию народную мудрость в журнальчике.

— Вот что, Юкин,— сдержанно сказал участковый,— на десяток таблеток гелиперидроламилицинази-на ты уже натрекал, но я предлагаю перемирие промеж тобой и властью на местах в виду дальнейших поминок временно, то есть безвременно ушедшего от нас Евгения Вешкина. Я даже мораторий щедро накладываю на розыск дерзкого вашего и неуловимо самогонного змеевика.

— Знаешь, что я делаю с твоей властью на местах? — взвился, не унимаясь, Степан Сергеевич.— О-ку-на-ю!

— Ты ее окунаешь, а она с тебя все равно не слазит. Но на меня лично ты, Юкин, зря окрысился. Если б

не я, то другой представитель повязал бы тебя и отвез куда следует,— сказал участковый в высшей степени благодушно — от предчувствия неотвратимой выпивки.

— Не на это негодует Юкин! — Степан Сергеевич помотал перед носом своего врага внушительным бюстом картофелины.— Мало того что ты повязал Юкина со зверской жестокостью. С такою в «клубе кинопутешествий» диких тигров не вяжут. Но ты меня развязать даже не мог, а веревку пожалел резать. Ты автола налил на тугие узлы, и по всей коже тела пошла пятниста аллергия чесучей парши. Выпивки тебе здесь не будет, антинародная полиция. Велосипедизируйся, еще раз подчеркиваю, и поезжай отседа к Ефросинье Мармеладовне!

— Вы, товарищ, откуда, то есть кто вы будете? — спросил меня участковый. Чувствовалось, что он мучительно стеснен во всех служебных движениях неудержимым желанием опохмелиться, а потому и вынужден смириться с жестокими поношениями.

— Он — товарищ Сочинилкин,— вступился за меня Степан Сергеевич.— Может влить светлых чернил правды в твой канцелярский калган. Докажи ему, керя, что орденоед не сам начирикал три телеги пропаганды говенной лжи, но вывезла их на премию шобла ваша писательская. Вот — рабы! Меня хоть антикрестьянская коллективизация сделала рабом, а твою соху скрипучую что за сила заставила пахать хрен знает что?

— Коллективизация никого не обошла стороной,— сказал я, защищаясь.— Даже на арене цирка нарушила она классический покой. Моих родителей заставили страстно эквилибрировать не на безыдейных шарах, а на чучелах голов Гитлера, Троцкого, Каутского и Муссолини. Потом в порядке стахановской нагрузки прибавили черепов Бухарина, Каменева и Зиновьева с Тухачевским. Потом повязали за манипуляции какими-то намеками. Погибли родные мои акробаты. Так что...

— На головы всех вышеупомянутых граждан типа Бухарина и Муссолини мне лично насрать прям со спутника,— сказал Степан Сергеевич.— Головы эти сами хороши насчет кровищи народной хлобыснуть, а горюшком нашим подавиться в Берлине и в Кремле. Папе твоему и маме — Царство Небесное... Кол-лек-ти-ви-за-ци-я-ве-ло-си-пе-ди-за-ци-я всей страны...

— Жаль мне тебя, Юкин. Жаль. Сядешь в одночасье. Сам петлю затягиваешь на своей беспозвоночной трекале. Шею имею в виду, говоря официально.

— Я — невменяемый первой группы. Свободен говорить все, что думаю. Для того, чтобы меня захомутать, докажи теперь, что я вменяемый. Вот как дело обстоит с нашим заколдованным кругом. Понял?

— Предъявите, товарищ, документы, чтобы я хоть знал, с кем поминать сейчас будем бедного Евгения, трагически погибшего при исполнении интернационала долга,— как бы даже взмолился участковый. Я протянул ему руку и представился.

Видимо, присмотревшись в уме к имени моему и к фамилии, он детективно эдак оглядел мою фигуру с головы до ног, особенно к носу, и детективно же спросил:

— Вы, простите за выражение, из них будете? — я, не засмущавшись затравленно, как в детстве, подтвердил кивком головы его догадку.— Ну, ничего... ничего... вот жахнем — полегче станет... родился кошка — мяукать будет, как говорят армяны...

В тоне участкового было такое искреннее, неподдельное сочувствие к столь горестному, на его взгляд, происхождению человека, что я засмеялся.

— Канай отседова, мент, ни хрена тебе сегодня тут не обломится,— сказал Степан Сергеевич с простотаки испугавшей меня ненавистью к представителю власти.— Ты есть враг всех народов!

— Ну, Степ, ты совсем очумел! Я не враг, а как раз наоборот. Я, если хочешь знать, пострадал за ихнего брата,— по-человечески возмутился участковый.

Я счел нужным высказаться в том смысле, что совершенно ничем не задет, да и давно, слава Богу, привык не чувствовать себя как-либо задетым даже самыми дремучими, низковатыми репликами насчет моего родного, «всекаверзного» племени.

— Спасибо тебе, человек с большой буквы, за правильные чувства... мы вот-вот с тобой назюзюкаемся, и я расскажу, как пострадал за тебя лично! — воскликнул участковый, обняв меня дружески.

— Отчепился бы ты, что-ли, от человека,— сказал Степан Сергеевич,— мораторий-крематорий прямо хренов!..

Тут возвратился Федя, обтирая полой майки матовую бутыль.

— Ей-богу, православные, подавиться нечем,— виновато, но весело сказал он голосом быстро выздоравливающего человека и все также стихийно рифмуя:

Народный десант не возвратился еще
из продуктового рейда на нашу столицу.
В доме — ленинградская образовалась блокада.
И нечем, повторяю с сожалением,
нам с вами подавиться...
Был там, правда, один рваный пакетик
порошкового лимонада,
но, наверно, Катька взяла его и выкинула — гад!
Никаких теперь бабам не положено медалей
«За взятие Колбаски», «За оборону Пива»
и «За покорение Тушонки».
Хоть кипяти лебединую песню из крапивы,

да заправляй ее козлиным монпасье
и чернью мышиной пшонки.
Занюхаем-ка давайте этот рывок листочками смородины,
Вот до чего довели партийные паразиты...

— На святую реформу советую не покушаться,— с раздражением предупредил участковый.— Всему есть предел, понимаешь.

— Может, мы, Федор, тогда поквакаем? — сказал Степан Сергеевич.— Только я сходить не могу. Рука, вишь, одна занята.— Он с любовью пригляделся к своей странной самоделке.

— Я враз сбегаю, там, небось, полна уже коробочка моей КПЗ,— сказал Федя,— хотя меня ревматизма с утра по...— восприняв служебно-угрожающее движение желвака на щеке участкового, он выразился гораздо интеллигентней, чем намеревался,— помучивает она меня, сукоедина.

— Ты, писатель, тиснул бы, что ли, телегу, как на родине Сусанина завсельпо кислород нам перекрывает — сука! — скрипнул зубами участковый.— А район родственно поддерживает эту зловредную цитадель спекуляции.

— Не цитадель, а ци-да-тель,— угрюмо поправил Степан Сергеевич своего врага. Тот миролюбиво возразил:

— Любой дуре известно, что по всем правилам движения букв внутри слов — ци-та-дель. Чего уж ты, Степ?

— А я говорю: правильно будет ци-да-тель.

— Ци-та-дель, Степ!

— Ци-да-тель!

— А я что вмозговываю тебе целых пять минут?

— Люди! Так это ж я сказал — ци-та-дель! — начиная выходить из себя, возопил участковый.

— Ты говорил ци-да-тель!

— Я го-во-рил ци-да-тель...— повторил участковый с саркастической интонацией моего деда и точно так же, как он, горестно покачивая головой...

Это уж потом, подумалось мне, что люди — существа более глубокородственные, чем это иногда им кажется, и как бы ни старались убедить их в обратном бездарные теоретики человеконенавистничества.

И точно так же, как человеку с внимательным умом и добродушным слухом открываются вдруг в языке русском неприметные иноязычные корни или слова, уходящие корнями своими гораздо глубже целой группы языков — туда, к праматеринской стихии еще не разделенной, до-вавилонской речи,— совершенно так же замечаем мы иногда нечто гишпанское, непонятно откуда взявшееся в жестах, скажем, литовки, сроду не знакомой ни с одним испанцем, а в созерцательном движении души грузина, не выезжавшего никогда за пределы Мцхеты,— нечто японское и так далее. И, отметив сие обнадеживающее обстоятельство, вы не можете не почуять, что игра подобных любовных заимствований в нашей людской жизни — поистине таинственна и прекрасна; что, более того, игра эта историческая — Божественна. Нисколько не мешая ни отдельному человеку, ни народу существовать в собранном виде, ставшим национальным Целым, делает она необходимой мысль о тупой нелепости ксенофобства и стыд за неблагородство расистских умозаблуждений...

— И это я го-во-рил ци-да-тель,— повторил участковый, взглядом своим, тоже напомнившим мне взгляд деда, как бы выпрашивая поддержки у Небес.

Очевидно, трагический сарказм был им заимствован вместе с жестами библейского Иова у какого-то погоревшего «под балдой» еврея-водителя, который при задержании, должно быть, то и дело повторял заплетающимся языком: «И это я вел ма-ши-ну в пья-ном ви-и-де...»

— Да! Говорил и говоришь,— продолжал настаивать Степан Сергеевич, лицо которого, кстати, сразу вдруг напомнило мне подзабалдевшее лицо лукавого крестьянина с картины какого-то фламандца.

— Ци-да-тель?

— Вот именно.

— Конечно, я и затрекаться мог с похмелюги,— растерянно сказал участковый.— Поправиться надо бы, Степ.

— Привык настырничать на больших дорогах,— подобрел слегка Степан Сергеевич, одолев врага в словесном поединке.— Так и быть — поправься, рублесшибало асфальтово-шоссейное.

Рука участкового тряслась, когда медленно подносил он спасительную кружку к устам.

Скосив увлажненный взгляд, он смотрел на нее и на смердящую поверхность сивухи так, как встречающий человек еще издалека вглядывается в лицо друга, которого не видел несметное количество лет и как бы даже не верит, что тот выходит из вагона и движется ему навстречу. И точно так же, как целуют дорогого гостя,— разом и взасос,— участковый приник к кружке и не отникал от нее, пока не жахнул все — до последней капли. Жахнув — моментально заговорил. Это вновь разом вспыхнул от алкоголя угасший было в речи поправившейся личности словесный хворост.

— Начальство, значит, дергает меня и говорит: стой у Арагви и жди, когда сядет один Абрамович в свой Жигуль. Он выпить не дурак. Хомутай его, отбирай права и — на Раппопорта. Скоро мы и эту зловредную реакцию переименуем в наш приоритет. Спровоцируй того Рабиновича на оскорбление твоей личности и даже удар по служебной морде. За вредность удара получишь набор с икрой и воблой. Он тебе — в бубен, в бубен, а ты ему оборотку — в печень, в печень. Не врежет по морде — будут свидетели, что врезал. У них сегодня экзамен по этому предмету. Доставляй в отделение. Остальное - дело техники госбезопасности. Понял боевое задание? Отвечаю, что понял. Пасу этого Крахмалера

на следующий день. Останавливаю возле Долгорукого. Пожалуйста, права и техталончик. Так, так, так, говорю, значит, вы есть, на самом-то деле, не Абрамович-Рабинович, а Фогель Аркадий Юрьевич? Пройдемте на Раппопорта. Вы — из ресторана сели за руль и прете прямо на памятник первому председателю Моссовета. Он говорит: лейтенант, я не пью, завязал, хотите дыхну? Принюхиваюсь. Ни грамма нет в человеке — по глазам и манерам видно. Что мне было делать? Ну, не мог я его трезвого захомутать. Я ж — ОРУД, а не Лубянка. Я за нарушения привык либо брать, либо лишать прав. Зачем же изгибать трезвую законность?.. Поезжай, говорю, Аркан, изловлю тебя все равно, когда пьяный за руль сядешь. А начальство, наверно, давило на меня косяка. Назавтра же переводят суки из центра куда-то в глиняный понос. Потом провокацию устраивают. Ловят с поличным червонцем и — аля-улю — ссылают на родину. Ну, я им сказал напоследок, что Родина — не ссылка, а место, понимаешь, первого взгляда на жизнь. Если б не большой один Человек в Москве, то упекли бы в дурдом — как тебя и Сахарова. А ты, Степ, говоришь: враг народов!..

2

Не буду уж пересказывать всего того, о чем мы, помянув погибшего, бестолково говорили и спорили, пока Федя не возвратился с авоськой, полной здоровенных зелено-бурых болотных жаб. Лапы их торчали изо всех прорех авоськи и неимоверно дергались, так что Федина ноша походила на нечто заморское и дикообразное.

Зрелище это, поверьте, могло бы сделать смешным и жалким все живописные поделки самых хитроумных сюрреалистов нашего века.

Не буду также описывать недоуменного состояния всего моего организма и воинственного ополчения в нем благородного воинства антител, возмущенных враждебным видом возможной пищи и готовых к отражению нашествия каких-то болотных жаб на тоскливо подзанывший желудок.

Воля во мне внезапно и существенно ослабла от нежелания показаться в глазах собутыльников городским фраерюгой. Я обреченно, как пленный, покорно следующий за мучителями своими к месту казни, наблюдал, как бы уже со стороны, за всеми в высшей степени целесообразными действиями Феди.

Он налил в чугунок бутылку уксуса. Поставил чугунок на электроплитку. Вскарабкался, нисколько не смущаясь участкового, с рысьей быстротой и ловкостью, на столб, торчавший у самого заборчика и подсоединил к проводам концы размотанного шнура от электроплитки. Спираль ее огненно оживилась и затрещала в местах неоднократных соединений после перегорания.

Должно быть, Федя паршиво себя почувствовал, вскарабкавшись на столб столь быстро, а главное, сразу же после сердечного недомогания. Подсоединив зачуханную плитку к энергосистеме нашей сверхдержавы, он начал очень медленно спускаться вниз. Заключил он столб в объятия так крепко, что пару раз неподвижно зависал на нем. При этом он жалко старался выдать свою смущенную улыбку на усмешку подшучивания чуть ли не над силой тяготения деревенской земли.

— Все ж таки неописуемо великодушны сердца гонимого и вечно преследуемого враждебными вихрями русского человека! — воскликнул вдруг Степан Сергеевич.— Этот змей-портупей отключает нас, как тунеядцев, от электрификации всей страны, а мы его сейчас поить и кормить будем прыг-скоком Бонапарта!

— У человека не сердца, в смысле грамматики, а одно лишь сердце. Сердца же — у многих людей,— только и возразил весьма отвлеченно участковый.— Похищения у государства всенародных киловатт я сегодня не видел, но пока крадем мы их на местах, не иметь нам электрификации всей страны, плюс коммунизма Советской власти,— добавил он фальшиво и сурово, но с максимальной сердечностью, вызванной, разумеется, внутренней сломленностью и необходимостью долгожданной опохмелки.

Подобные словесные перестрелки то и дело возникали между моими собутыльниками, и я уже как-то не очень внимал им.

Пока уксус закипал, Федя на глазах моих отчленил от всех жаб — лягушки предварительно лишены были жизни сравнительно благородным способом — задние лапки. Движения его рук, вооруженных ржавым штыком от трофейного карабина, были бессознательно пластичными и точными, как, очевидно, у заправского французского кулинара.

Затем он бросил лапки в закипевший уксус. Вынул их из чугунка минут через пять—семь. Выложил в оловянную миску. Посыпал солью, укропчиком, перчиком и облил смесью мутноватого постного масла, размешанного с дурно вонявшей горчицей, которую он, по его словам, спи...кировал в городской столовке.

Степан Сергеевич разлил по кружкам. Вздохнув, помянули мы погибшего Евгения. Жахнули. Согласно вздрогнули всеми мышцами тел, алчущих поддержки в противоречивой жизни и не брезгующих при этом даже такой несовершенной отравой.

— А теперь, мадам и мусье, квакнем! — с большим аппетитом воскликнул Федя. Он страстно заурчал, обгладывая нечто мышцеватое с ошметками кожицы.

Разило от миски шибче, чем от нашатыря, что само по себе было оздоровительно для слабеющего моего дыхания и некоторой аритмии бедного сердца.

Но я, скрипнув зубами, дал жесткий приказ внутренним своим антителам тихо сложить оружие, подчиниться действительности и вспомнить, как, спасаясь от «архипеллагры», неоднократно хавали мы в бедственные годы таежных сов и даже крыс болотных.

Взял я двумя пальчиками лапку и, стараясь при этом не дышать носом, как в вокзальном сортире, кусанул,— чтобы не выглядеть, повторяю, столичным фраерюгой,— лягушатинки.

Это было весьма недурно, но могло бы быть, чисто осязательно, нежней, если лапки вымочены были бы в смеси, скажем, коньяка с оливковым маслом и посыпаны гвоздичкой, кориандром да мускусной пылью... Сочок лимончика с чуточком чесночка достойно увенчал бы дикое блюдо, облагороженное бесстрашной кулинарной выдумкой.

Жахнув еще полкружки, я смело допустил ноздрю к вдыханию аромата вареных в уксусе амфибий и — ничего!

Только как-то печально стало на душе. Безотчетно и безысходно печально. Думалось о собственном сиротском детстве, и даже показалось, что вкус лягушачьей лапки напоминает мне вкус лапки цыпленка, трагически отставшего от родного выводка и одиноко проблуждавшего целый день в непроходимой болотистой местности, по душераздирающе худенькие, невозможно угловатые коленки в ржавой жижице.

— Почему все ж таки все так устроено на Земле, что одно живое существо поедает другое существо, бывшее только что живым, а картошка, которая никого не жрет, но которой все питаются, все вырождается в дегенерата? — нарушил минуту ритуального молчания Степан Сергеевич.

— Юкин, я тебя умоляю: ну, не инакомысли ты хоть в эту минуту! — взмолился участковый.— Ну, какого ты хрена отягощаешь страсть народа выпить и закусить упрямым своим инакомыслием? Дай хоть лапку как следует обсосать! Без тебя в душе — столовская горчица, в уме — уксус сплошной. Советская власть — это одно, а культура выпивки — совсем другое. Если покочумаешь — сообщу тебе на закусь одну сугубо государственную тайну. Клянусь погонами!

— О'кэй! Пардон! — с неожиданным смирением сказал Степан Сергеевич, который, подумалось мне, конечно же, нахватался разных словечек в дурдоме, от тамошних образованных обитателей — инакомыслящих полиглотов.

Правда, он тут же добавил:

— Ты запомни раз навсегда, портупея, что Степан не инакомыслящий, а свободномыслящий, едрена бабка, крестьянин. Это твой Брежневила с политбюро мыслят иначе, чем народ. Мы же отчаянно свободомыслим, хоть жрем самогонище — безбожники адские — и вскоре, видимо, пропьем авансом всю остальную нашу бедственную историю... Помянем, что ли, Жеку!

Мы жахнули еще и еще — за помин погибших в этой афганской бойне, примыслившейся, к несчастью народному, каким-то бесчинствующим и слабомерцающим партийно-полководческим мозгам в ихних железобетонных кабинетах.

И сивуха, надо сказать, вновь сделала свое дело: дух общего, пусть даже временного, здоровья воцарился за нашим столом. Не весельем застольным прониклись мы — нет! Но каждый из нас, уняв головоломность тревожно-мнительных мыслей и внутренне несколько собравшись,— каждый из нас готов был упрямо и весело противостоять дальнейшей неизвестности почти во всех областях личной и общественной жизни.

Должно быть, походили мы на подзаморенных в бою рядовых богатырей, благодарно подкреплявшихся в полевых условиях всем, чем Бог послал, и вновь готовых устало втянуться в дальнейшее затяжное единоборство с какими-то нетопырствующими фантомами нелепой нашей Системы...

Вон, думалось мне тогда под балдой, повсеместно, систематически и принципиально ощерившись, не допускают призраки эти ни крестьянина, ни негоцианта, ни строителя, ни шалопайствующего певца красот Творенья к источникам достойного труда и нормальной жизни...

Участковый потянулся было за последней в миске лапкой, которая, казалось, шипела и пузырилась, словно кусок карбида в лужице,— такой гремуче-острой была уксусно-горчичная приправа к нашей закуске,— но Федя остановил дерзкое движение его властительной, в здешних масштабах, руки:

— Последняя ляжечка — гостю!

Я деликатно дал понять, что вовсе на нее не претендую.

— Пусть администрация дожирает окружающую среду,— великодушно сказал Степан Сергеевич и подвинул миску с остатком закуски участковому.— Что у нас сегодня на третье?

— Смертельное пике на муху в кислом молоке, а также отрыжка болотом с жестокой изжогой и кишечным переворотом,— сказал Федя и добавил, обращаясь лично ко мне: — Не думай, что курей мне на закусь жаль. Жаль мне, к слову говоря, все сухоканающее, небоносимое и водоплавающее. Но с жабой мы, вишь, враз управились. Лучше удавиться, чем обдирать тощую дичь в такую жарищу. Легче детский галош натянуть на взрослую голенищу.

— Го-ле-ни-ще,— не преминул поправить участковый.

Федя как бы замер в стойке: спорить или нет? Затем высокомерно заявил:

— Ты преследуй свободу и взятки дери, а де-ре-вен-ский стих не ре-гу-ли-руй! Тебе, мудило, ведомо, что есть рифма?

— Я, Федя, по русскому с литературой надежды подавал и жил с нею, то есть с училкой, в третьей четверти десятого класса.

— Видим, чему она тебя, остолопа, обучила. Ну, что есть рифма?

Участковый, начиная слегка заводиться, ответил:

— В зависимости от анапест-дактиля, бывает мужская, бывает и женская.

— Хоть ты — городовой, но необразованность у тебя деревенская,— сказал Федя, ко всему прочему еще и подкрепляя точную рифму удачным каламбуром:

— А я тебе скажу так:
рифмы — есть самостоятельные
и совсем чужие друг дружке слова,
которые вдруг полюбовно сошлись
и живут в стихе, как под крышей —
под неким одним приютственным звуком.
Иногда рифмы слетают ко мне, как птички.
Иногда вся эта мутота — скулеж души
и сплошное ее хожденье по мукам.
Понял? Придумай, например, рифму к слову мужчина.

— Это, конечно, баба, то есть женщина,— умственно натужившись и с большой убежденностью сказал участковый. Мы захохотали.— Но на лужке у Большого театра я педрильников не раз вылавливал. Эти петухи друг с дружкой зарифмовываются. Таково тухлое влияние города на секс любви.

Мы продолжали хохотать. Участковый набычился, несмотря на подобострастное отношение к владельцам спиртного. Еще секунда — и он чуть было не настроился на лад непредсказуемо служебный.

— Ну, Портупей Наганыч, ты там, помнится, насчет справедливости обмолвился,— сказал Степан Сергеевич, разряжая атмосферу подпития. Участковый уже поправился, видимо, так, в общем, удачно, что личность его снова враз возрадовалась внезапному шансу на застольное самовыражение.

— Есть справедливость, Степ, есть! Пропадаю я в том поносе глиняном Конькова-Деревлева, как танк фашистский в смоленском бездорожье. Ночью один раз, на седьмое ноября, ловлю алкашей за рулем. И я и они довольны. Трешек, полтинников и даже стольничков мне уже девать некуда — все краги забиты и голенище... Оба я имею в виду голенища... Мне ведь за аборт надо платить без боли сразу двум дамам сердца, и на какой-то Фонд мира невозможно вымогает начальство. И вдруг — это враги мне подстроили, Степ, уверен я в этом,— проваливаюсь вместе с Коломбиной, то есть с мотоциклом, в неогражденный котлован. У нас ведь даже провалов огородить не умеют. Вылезти не могу — края ямы обледенели. Торчу там, верхом на мотоцикле и в густоте поноса новостроечной глины, понимаешь, как эта самая Башка в шлеме Руслана и Людмилы. Все, думаю, пропало мое злополучное хозяйство — отморожу органы любви, свободы, равенства и братства. Чувствую себя буквально никем невыкопанной, одинокой картошкой, оставленной народом в осеннем поле. А советский человек нового типа? Что он в смысле морального кодекса? Он подъезжает,— я ведь палкой машу, рукой голосую и в свисток свищу, вроде Соловья-разбойника,— он останавливается, видит мента, от смеха усирается, пальцами в меня тычет, разит от него за три версты, даже фотографирует издевательски и со вспышкой, но руки помощи не подает — пропадлина гумозная. Понимает, что я его руки ни в коем случае уже не выпущу. Попал мент из князи в грязи? Ха-ха-ха! Лимита одна даже компашку свою тамбовскую привезла на меня покнокать. Но я хоть несколько частниковых номеров зафиксировать успел в мстительном уме. Они у меня крысы потом попрыгали в мышеловке — у-ух попрыгали! Грязь с сапогов слизывали, чтоб только права отдал.

Ладно. Кто, ты думаешь, руку подал мне в конце концов? Ихний брат, Степ! Евоный соплеменник! Наклоняется надо мной, языком не ворочает, того и гляди — башкой очкастой вниз нырнет в бесхозяйственную грязищу нашей братской могилы. Еле-еле, но помог. С ног валится, песни мычит, а машину свою задом подает, цепляет меня за портупею тросиком, выдергивает с третьего раза из ямы. Хрен ли, Степ, вы тут лыбитесь? Деньги все мои в голенищах промокли, а из краг много капусты в глину выпало. Я сажусь в чем был за его руль. Едем к... попробуй, угадай, как звали того чувака и его жену? Не угадаешь. Так вроде и не бывает, но было. Ввек не угадаешь рифму, которая мне тогда выпала. Ну, там меня обмыли, простирнули, бабки в духовке высушили. У них все уже собрано. Ящики, чемоданы, авоськи. Линяют в Штаты. Я говорю: не линяй, Руслан, пропадешь там со своей рязанской Людмилой к едрени матери и с непривычки. Поедем, говорю, летом под Ельню, я там свой человек в ци-та-дели Глинки. Дня на три арию помирающих лягушек затянем, я тебя теперь дружеской рифмой своей судьбы считаю и с другими рифмачами познакомлю — поквакаем... Подсушили меня там. Вызываю одного знакомого бульдозера. Тоже был пьяный, но мотоцикл мы вытянули из глины сучьей. Втащили на первый этаж. В ванной обмыли теплой водичкой, а то бы было смешно в отделении. Смеха над собой не уважаю... Ну, много о чем мы в ту ночь потрекали. Подруга Людкина, конечно, пришла — Юдифь, и я успокоился тогда в ее объятиях, чтоб заодно не простыть от переохлажденья. Скажи, говорит,— она меня Олоферном почему-то звала,— одно только словечко, и я целый век от тебя из этой вот постельки никуда не уеду. Но я сурово и трагически отвечаю, что, к сожалению, принадлежу всем дамам вместе, но ни одной из них в отдельности... Потом я спасителя моего бесстрашно провожал в Шереметьеве. Носильщиками обеспечил, а то эти гондоны рваные посуду назло перебили бы — крысы багажные... Смотрю, тот самый Аркан Юрьевич — он в отказе пыхтел — тоже провожает моего Руслана Штеймана! Пузырек шампанского даванули на прощанье... Сионизм мне тоже потом припомнил ебаный всевидящий глаз и всеслышащее ухо начальства. А ты, Степ, говоришь: враг всех народов, тогда как все мы — сами себе враги окаянные. Сами, сами и сами!..

В наступившем вдруг молчании нашем невидимо заклубились какие-то враждебные вихри. Невидимки

эти всегда стараются воспользоваться зловредно вызревающей неудовлетворенностью либо перезакусившего, либо перепившего человека. Стараются издевательски накренить его поближе к какому-нибудь безобразию.

Степан Сергеевич окончательно приковал вопрощающий взгляд к собственному кулаку, как бы стараясь подобраться с его помощью к ответу на самый основной вопрос жизни.

Участковый, словно пассажир, не желающий вывалиться куда-то из транспортного средства, попавшего в зону опасной тряски, обеими руками крепко вцепился в ремни собственной портупеи. Очевидно, он переживал перипетии подлого крушения карьеры и одновременно пытался установить, дерзко ускользавшее от ума, значение кулака деревенского диссидента, обклеенного черной кожурою.

Наблюдая за участковым, я не мог не заметить, что к оружию своему он относился с глубоким внутренним лиризмом и с необыкновенной родственностью, словно в кобуре его покоился не револьвер, а спящее, невинное дитя. Заговорившись, задумавшись или прислушавшись к благоприятным действиям сивухи в организме, он вдруг, невесть что вообразив, аффективно, «по-матерински» спохватывался и хватался за кобуру. С большим облегчением вздохнув и погладив ее, он вновь отвлекался к болтовне и подпитию. При этом он и вправду походил на любящую мать, которая — исключительно из-за своей непредсказуемой шалавости — вполне может вдохновенно выпорхнуть на площадь, забыв коляску с ребенком в пивном зале...

На лице Феди — оно просто почернело уже от ежедневных поминок по брату — был страх перед приближением неких ужасных видений, но не мольба об избавлении от них. Наоборот, яснейшее было сознание, что нету на Земле сил, способных от них избавить. Должно быть, душа Феди смертельно от них устала, уверяясь каждый раз, что все это — не прошедший, жуткий сон, что все ж таки не пронесло, но что невыносимый ужас случившегося был, он есть, он всегда будет... Вжик — летит в пропасть с бесчувственных каменьев каких-то отдаленных и чуждых всей бывшей Смоленской губернии гор Женькина, брательникова, бедная голова, и брызги братской крови моросят... моросят... моросят перед безумеющими глазами, но боль того дикого ужаса и ужас той дикой боли не разрешаются в спасительном — как в удушье тягостного сна — крике, а вцепляются когтями прямо в сердце — остро жмут, сволочи, разрывают целое человеческое сердце на рваные куски, и какой обывательствующий небожитель терпеливо и по кровоточащим частям теперь его восстановит в счастливое Целое?..

— Федор,— обратился я к товарищу по беде народной, чтобы начать отвлекать его от состояния страха,— благодарю тебя сердечно за такую отменную хаванину. Помыслить не мог ни о чем подобном в скучном рационе дней. Квакаю от удовольствия. Спасибо... ы-ык... ы-ы-ык... но отку... ды-к... откуда так-ак-ая иноземная традиция?

Федя, слава Богу, отвлекся, засмеялся, тоже отрыгнул жженье пламенного уксуса со зловонно-огненной горчицей и сразу жизнелюбиво отдался жажде отвлечения от своих невыносимых видений.

Передаю его великодушно развернутый ответ на мой вопрос, то есть речь его я передаю без каких-либо самовольных сокращений и полностью сохраняя самобытный ее ритм.

Рифмовал, кстати говоря, Федя бессознательно, как это бывает с натурами одаренными, но дара своего культурно не развивающими. Подобные натуры лишь чувствуют реальное его присутствие в себе и жажду соответствия ему в минуты истинного вдохновенья, когда заключенной в нас художественной силе оставаться наедине с самой собою становится почему-то невмоготу. Вот — его повествованье.

— Это у нас от Наполеона еще осталось.
Кутузов, когда отступал, сжег нахрен весь хлеб
и вакуировал курей со скотиной,
чтоб врагу ничего не досталось.
Не желал он, чтоб русский с французом
сшиблись решительно лбами.
Народ это дело переживает.
Сидит народ на картошке и щах с грибами.
Старики печально побздехивают на печах,
потому что все науке известно
насчет вечного брожения бздо во щах.
Тут французы пришли. Нигде цыплят не нашли.
Нечем им, вроде нас, закусывать красное и белое вино.
Один офицер ихний балакал слегка по-русски.
Это, говорит, не война и не гастрономия,
а обыкновенное варварское говно.
Наш император, даже отступая,
наоставлял бы наступающему врагу
благородной выпивки и почетной закуски.
Французский, говорит, офицер — не крепостной мужик.
У него должен торчать, почти как гренадерский штык.
А при отсутствии надлежащей закуски
разве кого удовлетворить по-нашенски, по французски?
Дикая, дикая, варварская страна!
Разве это красивейшая египетская баталия?
Это— просто отвратительная, неблагородная война,

бесхозяйственный бардак и так далее.
Но тут подходит к тому офицерику каптенармус Жак,
который, как написано в истории для четвертого класса,
закусить и выпить был не дурак.
Подходит и подносит офицерику тому чугунок на ухвате.
Тут такая сытная вонища распространилась по хате,
точно картошки нажарила баба с салом и лучком.
Офицер глаза от удивления выпучил.
Чубчик у него на голове — ажно привстал торчком.
Это, короче говоря, были затушенные
в провансальном масле
задние дрыгалки местных наших болотных жаб.
На следующий день собрал офицер в колхозном клубе
всех стариков, пацанву и молодых солдаток-баб.
Всем, говорит, приказываю выйти срочно
на заготовку лягушек и больших лягушат,
пока не наступила русская зима.
Тут поднимается на трибуну толстожопая Авдеиха —
староста и моего прапрадеда замечательная кума.
Наполеоновская, говорит, шатия и... партобратия
принесла нашей Родине одни мучения и проклятия.
Заявляем, несмотря на угрозы
со стороны штыков и пушек,
что сроду не жрали мы тута ни мышей, ни тараканов,
ни, тем более, каких-то сопливых лягушек.
У нас от них на по всему невинному телу
выскакивают шершавые бородавки.
И ни одна русская душа не выйдет на подобные заготовки.
Хоть загоняйте всем нам под ногти
французские ваши булавки,
хоть даже наставляйте вы на нас
одноглазые мортиры и двустовольные винтовки.
Ну, наполеонов офицер, как известно, не германский,
в отношении к дамскому полу фашист.
Пять минут поподлипал он к Авдеихе, как банный лист.
Десять минут он руки ее крестьянские,
задыхаясь, целовал.
Затем сорвал с погон аксельбанты.
Ручку жареным кренделем захреначил.
Рандеву, говорит, объявляется — пройдемте на сеновал...

Федя сделал паузу. При этом выражение его лица было в высшей степени деликатным и даже, я сказал бы, благоговейно предупредительным, то есть истинно культурным — лицо человека, вынужденного в силу известных обстоятельств любезно оставить в одиночестве, скажем, парочку резко сблизившихся в дороге соседей по купе и на цыпочках удалиться перекурить в вонючий тамбур экспресса Смоленск — Воркута.

Он достал сигарету «Дымок» из такой смятой, измордованной и грязноватой пачки, что сердце у меня враз почему-то сжалось от сострадания к типично советскому, то есть бездарно бескачественному состоянию формы и вещества ничтожного этого, в сущности, изделия.

Федя закурил. Как художник истинный, пусть даже нисколько не осознававший своего натурального таланта, он пребывал в ту минуту в милом мире старинного времени, чудесно возвращенном кровоточащей его душе встрепенувшимся воображением.

Ни нас, ни всей печальной колхозной действительности, ни собственной его сегодняшней судьбы, из которой безуспешно старался Иван вытравить сивухой адское горе, для него как бы вовсе не существовало в пространстве той паузы.

Губы его, почерневшие от пьяни, посвежели вдруг. Но улыбка, оживившая их, не была инфантильно скабрезной, какой бывает она на лицах почти каждого из нас, когда мы порочно, то есть с хищной грязцой в уме, смакуем то, перед чем следует душе замирать восторженно и благодарно.

Нет — в улыбке пьяненького нашего собутыльника и рассказчика была божественно веселая снисходительность, чистейшее благословение двух живых существ на случайное любовное свидание и вообще ревнование всякого такого нормального дела к чему-либо двусмысленному.

Затем Федя щелчком отбросил окурок «Дымка» в огород. Участковый проследил за траекторией и падением того окурка на грядку закосевшим, но привычно осуждающим взглядом.

— Я кидаю в землю органику,— так и взвился Федя, а ты, болтают, взятки с председателя берешь за сокрытие слива говенной химии в Жабуньку! Оба и засираете священную Смоленщину! Неорганические поросята, понимаешь...

— У каждого из нас свое имеется место в заколдованном круг Системы, а вашим инакомыслием

природе не поможешь. Вот вы вдвоем только лодку на моем участке раскачиваете. Не рас-ка-чи-вать!.. Наливай! — нелогично воскликнул участковый после своей невнятной реплики.

Для Феди все это было мелким шумком в зрительном зале.

Он продолжал, никому не налив:

— Потом, значит, выскочив офицер оттедова, с сеновала,
без галифе и рылом, как рак, распарен.
Я, говорит, большое получил удовольствие и понимаю,
почему отседова пятьсот лет назад
отступил монголо-татарин.
Нигде не встречался мне такой триумфальный амур.
Башка пылает, сударь вы мои и сударыни,
как в горящей Москве абажур.
Текет теперича в моих жилах
красное вино и золотая ртуть.
Тут старый хрен Егорыч вставляет:
вас с вашинским Бонапартом
скоро еще не так уебуть!
Надо сказать, что не весь народ в деревне у нас
был патриотически могучий и духовитый.
Имелся, к сожалению, низкопоклонствующий отщепенец,
в сопротивлении супостату слабый и бздиловатый.
Его-то и развратили представители офицерской свиты,
а также тосковавшие по своим французам солдаты.
Как же они совратили целый ряд деревенских баб?
И как же те поддались на антикутузовские провокации?
Француз коварно выдал за цыплячьи ляжки
задние лапы наших болотных жаб.
Он споил всех слабонервных и шибко доверчивых
одеколоном «Шабли» и винищем «Белая акация».
Превратил он наш жабунькинский сельсовет
в публичное заведение, то есть в бордель тет-а-тет.
Он мордатых полицаев расставил на каждом шагу
чтобы мы о политике Бонапартовой — жаме ни гу-гу.
Он себе в баньке с бабами парится,
он себе дрыхнет на печке до самого рандеву.
Наутро опять супостата отпаривают березовым веником.
Плевать ему и на своего обосравшегося императора,
и на родную спаленную нашу Москву —
фактически становится он кавказским,
то есть французским, амурным пленником.
Но Иван Сусанин делал соответствующие втыкания
всем слабобдительным деревенским дурам,
чтобы не предавались они в такую военную компанию
противоречивым, фотографическим фигурам.
Чтобы не дозволяли себе курицы заморского купечества.
Чтобы не сладострастничали эти гадюки зря,
а ложились бы преданно на алтарь Отечества
и отдавали бы радостно свою жизнь за Царя...
Затем весь народ вышел на поголовную заготовку
и стратегическую засолку лягушатины,
чтоб до прихода царского войска совсем не подохнуть.
Зима, как известно по истории партии, была такая,
что ни бзднуть от души, ни характерно
для русского человека охнуть...
Ну, что еще?
Потом Бонапарт отступил очень позорно,
оставив нашей деревне свое чужеземное наследство.
Вылупились вскоре пацанята с криком:
спасибо Наполеону за наше счастливое детство!..
С тех самых исторических пор
мы, официально выражаясь, стали Жабунькой.
Гоним фромбуаз из картошки.
Историцки выпивая, тоскливо бывает — квакаем.
Ну и об Отечественной войне
реалистицки, так сказать, балакаем.
По наследству же от тех самых офицеров и солдатов

в Жабуньке нашей так называемая культура
половых отношений сохраняется, как в Париже,
на уровне самом неимоверно высоком.
Я лично в валенках на бабу свою никогда не залажу,
я слов ей поначалу натрекаю;
я ей, птичке, каждое перышко ласково поглажу;
то есть по-человечески я ее преуведомляю,
пока вся она, понимаешь, не изойдет,
пока вся эта мадмуазель не нальется,
словно яблочко «белый налив»,
березовым, так сказать, соком...
Ну, чего еще?
Мы, конечно, всех некастрированных бычков
называем каждого или Бонапарт, или Амур...
Только ни Амуров, ни Наполеонов
в колхозе у нас ни одного мусье не осталось.
С окончательным развалом сельского хозяйства
у нас, как говорится, всегда тужур.
Эх, доплясалась ты на сопках Маньчжурии
родная Смоленщина!
Наконец-то ты тангов и гимнов
вприсядку у нас доплясалась...
Что касается лягушатины, то мы к ней
давно уже историцки привыкши.
Хотя обвиняемся ин-тел-ли-ген-ци-ей
в повреждении окружающей среды,
а чем прикажете, судари, закусывать,
если в сельпо — ни трески, ни бельдюги,
ни даже беленьких глазок от мельчайшей килечки,
хрен ли говорить о благородной пикше!
В такой горестной ситуации
все ваши лекции — нам до лампочки
и до кутузовской, фельдмаршаловой ялды...
Ты, Писулькин, когда жахаешь-квакаешь,
должен каждую костоньку,
на французский манер, обглодать, хрящики обсосать,
а беленькое мясцо помакать в уксусе и в горчице.
Лягушатина — это тебе не ржануха.
От нее в нашей деревне до самой пенсии
у колхозника штык торчит, а ночью изжога не мучит
и никогда, как говорится, жамэ не бздится...
Насчет этого дела в нашей Жабуньке всегда жамэ...
А с чегой-то, уважаемые мусье, повело меня вроде...
С чегой-то начинаю я, видимо, ни бэ, ни мэ...

Федя выпал в отключку так внезапно, что мы перетрухнули: не сдало ли у него сердце от горя и бесстрашного напряга художественной самостоятельности? Но он, слава Богу, по-детски посапывал, тихо набираясь душевных сил для дальнейшего существованья и похож был на усталую лошадь, опустившую голову в мирную тьму бадьи глубокой, похож он был на смиренную лошадь, припавшую счастливою губою к несравненному чуду воды, совершенно бесшумно, совершенно молитвенно и совершенно своевременно ублажающую на водопое свои живые внутренности и никак не желающую прерывать утоления очередной жажды.

— Наливай,— сказал весьма подзабалдевший участковый Степану Сергеевичу.— Жахнем за весь протокол задержания нашей героической истории и критическое, сам понимаешь, состояние действительности... но этого я ни-че-го не говорил...

— Нам выдача некой тайны была обещана за уважение твоего ментовского режима без матюков. Выкладывай. Тогда и налью,— сказал Степан Сергеевич.

— Ей-богу, выдам, но налей! Налей, говорят! Душа просит!

— Какая у тебя душа? Одна у тебя вместо нее кобура.

— Нет! В глубине той кобуры, то есть души, я не мент. Я разрываюсь, если хочешь знать, между служебным долгом и тайным инакочувствием, Степ. Я, знаешь чего, Степ, читаю? То, что на шмонах у вашего свободомыслия изымают. Психиатричка мне одна дает. Я с ней живу на партактивах. Говорят тебе: наливай, а то стрелять начну по воробьям, как царь-мученик Николай!

Степан Сергеевич, смилостивившись, разлил всем еще по полкружки.

Мы жахнули и занюхали адский миазм принятия весьма запыленными листьями смородины, растертыми в наших пальцах, у которых был — так мне, во всяком случае, показалось — вид задумчивый и удрученный.

Ах, как вдруг вознесло меня тогда над тяжкой непонятностью общей жизни дивное сияние в безвоздушной ноздре черносмородинового духа! Как сам тот день — милый, пропащий и жалкий денек опохмелки — преображен был в чистое облако душевного здоровья неисчислимо малым количеством молекулок личного запаха какого-то запыленного листика!

Растворилась вдруг в словами не отверзаемой тайне этого запаха, словно в небе или в океане, безобразная скверна сивухи, и волшебным каким-то образом сообщена была нутру моему, вернее, всему моему существу, травимому моей же грешной волей, простая надежда!

И с какой, если бы знали вы, сладчайшей, неутоляемой любовной, многозначительной тоской подумалось мне о натуральном запахе невидимых молекулок терпкого, в пальцах растертого листика черной смородины — запахе, воспринимаемом благодарной ноздрею и столь чудодейственно вызываемом в памяти внезапным помышлением.

И как-то само собой, но именно в тот самый миг потрясло меня захватившее дух и пронизавшее вдруг всю мою расстроенную плоть чувство совершенно простой явности нашего Богоподобия.

Это было так просто, как, помыслив о ягодке, ощутить на языке и в гортани ее неповторимый вкус и запах. Или же, как выкладывая на столе головоломную картинку высшей сложности, скажем, подлое искушение Адама в Райском саду (из серии «Основные вехи грехопадения человека»), случайно после долгих и безуспешных поисков напороться на ячеечку для кусочка картона с одним из кончиков языка сатанинского змея.

Вдруг мне даже не поверилось что случайное соотнесение такой ничтожной, временной частички Вселенной, какой являюсь я в собственных глазах, с Тем, Чьей Волей сотворена была — в целом — вся эта необозримая Вселенная, могло произойти столь просто, причем в одном из, казалось бы, напрочь забытых Богом закоулков российского пространства.

И явилось ко мне это чувство явной с Ним соотнесенности — вот что самое главное! — в путанице мыслей и как бы на самом краю беспроглядной, угрюмо смущающей ум и отвергающей жалкие наши частные, пьяненькие, затерянные, прерывистые облики от невообразимо бесконечного целого.

Господи, взмолился я в трепете счастливого неверия в явность свершившегося чуда, Господи, неужели Ты отыскал в Твоей Вселенной и меня, и моих замечательных собутыльников, и эти косточки лягушек, и Твой дар, не закопанный Федей в землю, и ветхие дощечки в штабельке, и провода, воровски вытягивающие в рваную спиральку плитки Твои собственные электроны из Тебе принадлежащих природных веществ, и кальсоны вон те, которые на веревочке сушатся, и ласточку, стриганувшую в театральную ложу гнездышка под наличником окошка, и ошметки картофельных мундиров,— неужели, Господи, отыскал Ты нас и уютно помещаешь теперь слабых людишек вместе со всеми их вещичками, вместе с их временем и пространством туда, куда следует?

Не есть ли мы — Твоя Память о Самом Себе, хотя что же мы сами с собой выделываем и как мы сами себя с отвратительным бесстыдством обезображиваем, как распадаемся, Господи, если, тем более, Ты в нас во всех запечатлен не так ли, как загадочно запечатлен состав молекулки черносмородиновой в памяти трезвого, а то и поддатого, мозга!

Вот интересно, почему-то подумалось мне, постоянно ли видит Господь перед Собою всю Свою Божественную Головоломку, все частички бытийствующей Вселенной собранными в Целое? Или пока только собирает-возвращает Он их всетерпеливо и любовно в загадочную даже для Него Самого картину Первоначального Целого — по бессчетному количеству миров, различных образов, отделенных друг от друга вариантов жизней, по планетке, по лягушачьей косточке, по молекулке, по бедным нашим душам, по черной дырочке, по смородиновым ягодкам? Вот ведь как хорошо и интересно! Вот ведь ты, мелочь хмелеющая, вспомнишь вдруг, ни с того ни с сего, скажем, посреди асфальтового ада городов шум одновременного прикосновения мириадов дождинок к картофельной ботве в надземной части огородишка и пасленовый ее душок, а мог бы вовсе и не вспомнить — вспомнишь, и живет в тебе в тот миг вся эта прелесть в смысле, может быть, более истинном, чем мимолетно живешь ты на глазах у самого себя...

Господи, не есть ли Жизнь — красота никогда не прекращающегося Твоего собирательного воспоминания, где каждому камешку есть место, где птице и траве жить намного легче, чем якобы разумному человеку в какой-то удручающей Истории? Как так получается, что то ли мы Тебя то и дело забываем,— если совсем не вытравляем из памяти,— то ли мы не так уж часто попадаем Тебе на глаза в общей, обширной картине Творенья? Рассмотри Ты нас, Господи, что ли, собирай нас немного почаще, ломающих головы над самособиранием себя в Твое Целое, не обрекай на бесконечную нескладуху-неладуху!..

Я замер от неожиданного душевного вознесения, смутно, но совершенно непонятно предчувствуя какой-то благоприятный скрип и начало оборота колеса всенародной фортуны к лучшему.

Участковый тоже, очевидно, переживал подобное состояние. Смородиновое волшебное снадобье и его возносило над самим собою. Он еще крепче, словно парашютист, вцепился обеими руками в свою нелепую, времен гражданской бойни портупею и, подчиняясь неведомой возносящей силе, резко встал из-за стола. Встал, и с таким выражением на лице, с каким безвозвратно сигают в пропасть или жгут за собою все мосты до единого, выдал он нам свою «государственную тайну»:

— Тс-с!.. *Там, наверху начали ждать!!!* Ленька вот-вот врежет дубаря. Он уже ширинку с галстуком путает, а вместо ордена Победы слюнявчик вешает.

— Тайна, бля! — саркастически скривился Степан Сергеевич.— Стакашок конского шампанского с желтой пеной — красная цена такой тайне.

Участковый был так почему-то взволнован, что не обратил внимания на не совсем, на мой взгляд, корректные именно в тот момент подъебки. Он продолжал разглашение «тайны»:

— Как только врежет он, значит, дуба — с ходу решено увековечить все говно нашей эпохи и в дальнейшем именовать его застоем... Дано будет «добро» на всеобщее покаяние и решительную перестройку!.. Землю получите в свои руки... такого не было с 17 года... данные у меня, гад буду, прямо из Кремля... так что — наливай!

— Это за что ж тебе наливать? — спросил Иван.

— За эти оптимистические данные. Их даже в Москве никто еще не знает.

— Параша,— сказал Степан Сергеевич.— На дурдом ты уже натрекал сполна. Но Юкин на тебя не стукнет. Чего ты опускаешься до фуфла ради стакана самогноя? Лучше велосипедизируйся и мотай в сельпо. Там у них всегда есть заначка для ревизии подприлавочного блядства.

— Степ, это — не параша! Скоро все к покаянию двинемся в район, а может, сгоношим такой прогрессивный процесс на месте, в сельсовете, чтоб порядку больше было. Само собой — развитой наш тухлый социализм превратим с ходу в свободный рынок. Умирайся! Торгуй! Гуляй! На червонце золотом цыганочку бацай! И-и-ех! Чавела!.. Наливай! Не дрочи органы,— очень тихо сказал участковый.— Не унижай жалкий нерв моей слабости. Я вам тут интимную тайну выдал. Не параша все это, поверь, не параша. Мой человек в Кремле гонит чистый верняк.

— Говори — кто таков этот шишка? Тогда налью. Не боись — не продадим.

— Официантка обедов и банкетов Самого Верха. Их там в Верхах тоже достало. И они, Степа, по галстуке в говне, то есть в застое эпохи. Не только мы с Жабунькой. Всем нынче светлое учение поперек кадыков встало. На том банкете Степа, человек мой не травит, на том банкете один Туз — он, видать, и первачом, то есть генсеком, будет — налопался, заплакал, что, говорит, наделали мы, товарищи!.. Оказывается вдруг, ежели верить бухгалтерии поступательного хода истории прогресса, что не к коммунизму мы маршируем строевым шагом, а по-пластунски и по кошачьим какашкам к вокзальному сортиру карячимся! Оттедова нас могут ой как захреначить в «столыпинских» на пересылку адского кризиса. И рыла наши, говорит, вовсе не в блистательном снегу вершин, а в подножной, сортирной харкотине, потому что Время скурвилось и начало работать не на нас. Вот как!.. Ты, Степ, верно кричал тогда, извини от всего сердца, что руки я тебе скрутил слишком туго, в том смысле, что если кухарки начинают руководить государством, то вся страна превращается в кормушку для жуковатых тараканов, а на кухне, в кастрюлях и сковородках — хер ночевал в жирном фартуке... И этих слов, Степ, я не донес до истории твоей болезни, потому что и сам мыслю даже на службе не протокольным макаром... Пожалуйста, налей, прошу тебя еще раз не официально, Степ! Не вырывай ты из моего хлебала воздушный шланг!

Произнеся довольно складно столь длинную тираду, участковый дышал тяжело и даже затравленно. Я потянулся было к бутылке, но Степан Сергеевич,— он, кстати, внимая неслыханному откровению и униженной просьбе своего врага, успел сколупать с кулака картофельную кожуру,— Степан Сергеевич остановил чистосердечный мой порыв.

— Ты в этот раз обещал, что сыграешь со мною лично в игру Руру, про которую сам же и натрепал, если тебе нальют? — спросил он беспощадно участкового.

Участковый признался подавленно и предельно честно, что, выпив в тот раз еще стакан, он неожиданно почувствовал дальнейшее уважение к жизни и решил, что игра в Руру есть дело бесперспективное, после которого никогда нельзя будет с удовольствием опохмелиться. Русский же человек, особенно пьющий, должен во что бы то ни стало иметь уверенность в завтрашнем дне,— довольно разумно, но с некоторым трогательным лукавством втолковывал участковый и себе и Степану Сергеевичу,— и не только в своем собственном эгоизме завтрашнего дня, хрен бы с ним в конце концов, но и в том должен иметь уверенность русский человек, что даже инакомыслящий Юкин сможет встать, опохмелиться, чем Бог пошлет, и ожидать с веселою надеждой в душевной жиле организма образумления родной партии и правительства.

В своеобразном последнем слове участковый снова крайне униженно попросил смилостивиться и налить ему, не дожидаясь какого-то резкого З. С. П.

Впоследствии я понял, что он корректно грозил злоупотребить своим служебным положением.

— Слово — есть слово,— сказал Степан Сергеевич с такой устрашающей трезвостью в голосе и с таким упрямым выражением лица, что я и сам совершенно вдруг отрезвел, как от холодного вихря опасности, овеявшего наше жалкое, беззащитное застолье.— Доставай «дуру», возвращай благородно должок, я стрельну, как и выпало мне в тот раз, первым — испытаем давай взаимно судьбу нашей жизни, потому что мы ведь не живем, а говно куриное ногами месим, хотя начальство давно их у нас из тощих жоп повырывало, как из подопытных, еще раз подчеркиваю, лягушек.

— Ты вот выстрелишь, с тебя, как говорится, как с гуся вода, а меня судить будут за соучастие в пьяном самоубийстве и из органов пошарят, где я есть натуральный придурок и сравнительное лицо, то есть фигурирую. Давай, лучше я первый в лоб себе шмальну халатно, а ты в случае чего сам все это расхлебывай. Ты — невменяемый. Тебе ни хрена ничего не будет. Пошнуруешься в психушке и — снова на воле. Игра есть игра, и никому нету от нее страховки...

— Вот что, Анатолий, товарищ Сочинилкин свидетелем будет, что я, обнаглев, выхватил насильно оружие из кобуры, когда ты меня вновь повязывал, и покончил с собой навсегда. Доставай, говорю, «дуру»! Продемонстрируем гордость крестьянской души, чтоб перед смоленскою нашей картошкой не было нам стыдно и перед Жекой, которому орденоед бровастый башку снес афганской саблей! Внесем, Толя, замечательную торжественность в невозможные эти поминки!

Участковый внезапно уронил голову прямо в миску с обглоданными лягушачьими косточками, притягивавшими, надо сказать, к себе мой взгляд благородной белизной и природным изяществом строенья.

Рыдал участковый так бурно и судорожно, что даже портупея скрипела на его сотрясавшейся спине, словно сбруя на запаренной кляче, из последних сил одолевающей тяжкий подъем. Рыдая, он всхлипывал, что плачет не от бздиловатости и окончательного алкоголизма, но от смоленской радости, что инакомыслящий Юкин, что Степа назвал его не ментом, а первоначальным именем Анатолий.

Не знаю, что произошло с душой этого человека во время рыданий. Но он успокоился столь же внезапно, сколь разрыдался. Отвлек голову от миски с косточками, глядя странно прояснившимся взглядом куда-то вдаль, поверх нас, поверх даже самого себя и всех прочих обстоятельств неприглядной действительности.

Ничего, замечу, безумного во взгляде том я не заметил. Наоборот — в нем отсутствовали бегающие искры постоянной похоти ублажения хамского чувства власти. Крысиное это чувствишко, как известно, тем тоскливей изводит всякую чиновную сошку, чем мельче и придавленней чует себя сошка эта в поганых трясинах отечественной нашей властосферы.

Промыт был также взгляд его от нервозно-мутноватой неопределенности, точнее говоря, от непутевости, застилающей очи человека, измученного, как бы то ни было, потерей душевного чутья и дара различения в жизненной мгле источников достойного спасенья.

Непонятно что разглядев поверх себя и нас, участковый достал из кобуры револьвер. Крутя большим пальцем барабан,— в каждом его щелчке слышалась мне, помню, какая-то зловеще завораживающая притягательность,— он подставил под выпадавшие патроны ладонь другой руки. Пересыпал их в карман брюк. Доверительно дал Степану Сергеевичу убедиться, что в барабане наличествует один-единственный патрон. Тот точно так же, доверительно — в соответствии с тайно возникшим вдруг в их отношениях чувством чести,— рассеянно и как бы даже не совсем понимая, ЧТО именно происходит в данный момент времени, кивнул.

Тогда участковый заложил револьвер за спину, пояснив, что оружие это некогда принадлежало знаменитому врагу народа. Лицо его при этом стало совершенно детским, то есть наивно напыщенным. Такими бывают лица детей, польщенных прямым порученьем Рока тайно разыграть жребий на жутковатой кухне Случая...

Затем участковый несколько раз крутанул за спиной барабан, как бы уставившись немного выпученными глазами прямо во всепроницательные зенки этого самого своего поручителя — Рока.

Стасовав за спиною, так сказать, роковую колоду шансов, он положил смертельное оружие на садовый стол перед Степаном Сергеевичем.

Несмотря на преступную абсурдность и житейский идиотизм замысла, все деловитые движения и жесты обоих игроков были в высшей степени сосредоточенными и даже как бы исполненными вдохновенной целесообразности.

Вместе с тем, от всего их поведения различимо попахивало безобразной, поистине дьявольской пародией на совершение какого-то внушенного свыше, абсолютно неотложного, то есть исторически необходимого — в пределах двух частных жизней — дела.

Ужас парализовал меня. Но прекрасно помню, что в те именно минуты в пьяном моем расхлябанном воображении и в смятенной памяти ни с того, вроде бы, ни с сего мелькнули бесовские кинообразы в кожанках и единорожьих шлемах с пятиконечными пятнами кровищи во лбах. Все передвижения их, мелькания, даже ничего не значащие реплики, жесты и разговоры, все действия их в коридорах и кабинетах несчастного Смольного исполнены были того же, как у деятельного участкового и примолкнувшего Степана Сергеевича, безответственного самоупоенья.

То было, как, слава Богу, я различил впоследствии, не вдохновение на любовное дозволение саморазвития бесподобных чудес Творенья, желанное не только Творцу всего Сущего, но осеняющее божественную широту весеннего жеста сеятеля, сердцеобразный мастерок каменщика, скрепительный гвоздь плотника и певчее перышко стихотворца, которое одержимо снует себе по всей Вселенной в поисках слов, разнесенных во все стороны Света при сокрушении каменного гнезда Вавилонской башни.

Нет! От фигур, мельтешивших в самом центре адской бездны,—выбранном, кстати говоря, Дьяволом не без издевательского остроумия и страсти к полноте иммитации именно в Смольном,— за звучание в дивном названии строенья торжествующего потрескиванья и кипенья штрафной смолы в котлах преисподней,— от бесовских этих фигур так же, как от моих собутыльников, несло поистине адским душком жутковатого апофеоза самоубийственной деловитости...

Я тихо, чтобы не потревожить спавшего Федю, попытался образумить обоих, но внушение мое только подтолкнуло Степана Сергеевича к совершению преступленья.

До этого он какое-то время со страстной гадливостью вглядывался во внешний вид оружия.

Взяв в руку револьвер, он взвесил его на ладони и усмехнулся в последнюю, быть может, минуточку жизни как над дурацким своим действием, так и над напрасной попыткой соотнести ничтожный вес подобной вещи со зловещим ее предназначеньем.

Затем он внезапно и быстро отвлекся от оружия. Думаю, что, оказавшись, вопреки собственной воле, во власти старинных чувств прощанья и дорожных сборов, он бессознательно же заспешил.

Правда, он торопливо и рассеянно огляделся вокруг, держа в руке револьвер...

Так оглядываемся все мы, стоя уже на пороге покидаемого жилища, и покидаем его, вынужденно махнув рукою на все, что было забыто в сумасшедшей спешке и за совершеннейшим, как нам кажется, неимением никакого лишнего времени — эх, мать твою так, что забыто, то забыто, и пропади ты все пропадом, со всем оставляемым прощаюсь одним махом, иначе — никогда не уехать, разъетит твою карету вместе с кучером в печальный облучок...

Рукою свободной погладил он жалконькие ошкурки картошки, как гладят головку родного дитя перед ужасным с ним расставанием навек. Пару раз сжал в кулак ладонь той самой, левой руки. Уставился на миг на костные останки лягушатины. И снова усмехнулся каким-то то ли предсмертным мыслям, то ли посмертным образам, мелькнувшим в торопливом уме.

Меня, при всем моем оцепенении и бессилии, не могло не поразить то обстоятельство, что одному из двух его шансов — шансу на удачу и, следовательно, спасение от дурацкой смерти — Степан Сергеевич, да и участковый тоже, как бы не уделяли ни малейшего психического внимания. Наоборот — в отношении их обоих к мрачному, смертельному шансу выпасть из круга жизни, в странном отношении их к как бы заведомому преимуществу этого погибельного шанса над шансом спасительным наблюдался момент слепого и безраздумного ритуального поклонения...

Точно так же вот — никак не могу пренебречь этим наблюдением — отечественные наши, остолопствующие лакеи и ординарцы, почему-то считающие себя памятливыми патриотами, и по сей день приникают устами не к источникам спасительной надежды, но вылизывают штиблеты генералиссимуса, замызганные по самые лямки народной кровью и остатками плоти нормальной жизни, вживую разодранной злодеем на куски и безжалостно им растоптанной.

Почему окровавленная штиблетина палача, то есть безобразнейшее из всех возможных обличий насилующей Смерти, притягательней для них образа достоинства Жизни, с муками вопиющей к восстановлению в живое и прекрасное Целое из пылинок вроде бы начисто развеянного праха?

Почему столь нетопырски сопротивляются они достойному складыванию человеческой Жизни в нормальное Целое из того, на что была она, повторяю, разодрана, перелицована, измордована, многажды перекроена, растерзана и расколошмачена обеими — ленинской и сталинской — смертельными гвардиями,— из кожурочек сиротского земледелия, ошметков поруганного права, кусков труда, жилочек собственности, осколочков искусства, лоскутков веры, любви, надежды?

Но вы поглядите, как отвращаются они от дуновения всего достойно воскресшего, казавшегося этим упрямым, этим принципиальным носителям генералиссимовых хромосом навек погребенным и отлученным от права быть в памяти и в жизни народной!

Поглядите, как корчит их — словно попали-таки они наконец в руки Бога Живаго! — от Реквиема великой женщины, от ужасной, отверстой бездны Котлована, от вечнощебечущей птичьей фигурки поэта, свободно, то есть истинно по-птичьи, серанувшего прямо на те самые злодейские штиблеты, а заодно и на макушку рябой хари и поплатившегося за то бесстрашное озорство безумием и некоторой смертью.

Всех и всего, от чего корчит больную и керзовую нашу, ординарную и лакействующую отечественную бездарь, не перечислить.

Как отвлечь бессовестные нетопырьи носопырки самых жалких жертв «лучшего друга всех народов» от пары его шевровых палаческих штиблет, на мысках и рантиках которых никогда не запечься ни кровище, ни слезе, ни кожице невинной, ни звездному крошеву искромсанного мозга?

Как пробудить сокрушительный стыд в предателях кровоточащей памяти о всех униженных и оскорбленных за то, чем все они глумливо и столь по-рабски, столь подобострастно гордятся,— стыд за любование тем самым праздничным тостом генералиссимуса, лукавенько поднявшего фужер с ершом из русской крови и слезы да и хлобыстнувшего тот фужер с безнаказанной улыбочкой урки-кровопийцы и с торжествующе наглым намеком на беспредельное долготерпение вырубаемого им же русского народа,— как? Того не ведаю и не знаю, но молюсь за исцеление обезумевших трупопоклонников и за брезгливое отвращение их губ гунявых от пары ужасных штиблет...

— Может, Степ, посошок, как говорится, на дорожку? — тихо и уважительно спросил участковый.

— За рулем! Понял? — с явным злопамятством на что-то намекая, сказал Степан Сергеевич.

— Ты, Степ, извини уж, прошу тебя, за отнятые права и навечное их лишение. Я ведь только отнял. Ты был на День Победы под опасною балдою. Хорош ты был, Степ. Сельпо протаранил нахер. А лишала область. Прости напоследок.

Странно мне все ж таки вспоминать, что непонятно по каким причинам царил в отношениях между двумя этими нелепыми игроками душок такого вот благородного соответствия игровым ролям и роковому жребию каждого.

Ни тени сомнения не было у Степана Сергеевича в обреченности на немедленный смертельный итог всего этого соревновательного безобразия, а у участкового — в своем заведомо благополучном из него выходе.

— Область я, Степ, просил обмозговать крутое лишенье прав навек, но область, сам знаешь, не район, где я с Первачом по корешам... Область — она в беспределе... хочешь, я от стакашка откажусь, а вы жрите тут сами и — провались в жопу джунглей вся эта вьетнамская игра в нашу русскую рулетку! А?

Случайное это сказанное словцо «область», видимо, совсем отвратило Степана Сергеевича от настроения прощанья и придало решительного отчаяния последним его действиям. Он только вымолвил, не глядя, правда, на спящего Федю и не обратив внимания на благородное предложение партнера:

— Зря разбужу человека...

Затем поднял револьвер, мысленно прицеливаясь, приладил его к виску, и в этот миг мелькнул в глазах его ужас воспоминания о чем-то важном, что, показалось ему, совсем упустил он из виду.

Может быть, это была мысль о записке, то есть о последних словах к жене, заботливо совершавшей колбасно-апельсиновый рейд в столицу.

А может быть, была это просто немая просьба позаботиться о чьих-то стареньких, но свежестираных кальсонах, которые коготками стянул с веревки котенок и игриво поволок их по земной пыли в подзаборный малинник? Именно за ними, этими некогда сиреневыми, к тому же чужими кальсонами случайно проследовал в тот последний момент взгляд Степана Сергеевича, так и не сумевший, однако, превозмочь инерции сумасбродного движения своего же родственного указательного пальца...

Человеческое воображение таково, что я, зажмурившись, как бы оглох от предвосхищенного выстрела, и сердце мое тягостно сжалось от боли и непоправимого несчастья, но, открыв глаза, я увидел все еще живого и невредимого Степана Сергеевича и даже подумал, что он, одумавшись вдруг, шмальнул мимо.

Рука его находилась еще в том же самом угрожающем положении — с дулом револьвера, не отнятым от виска,— но с побелевшим его лицом, да и со всей фигурой, только что еще производившей впечатление какого-то наспех упакованного, неодушевленного предмета, совершалось существенное преображенье.

Словно жизненная Сила человека, одною ногой преступив было в ночи душевного ненастья роковой, соблазнительный порог, стукнула себя вдруг по лбу, опамятовалась вдруг и воротилась обратно за чем-то случайно позабытым.

Тогда в мрачной темноте телесной избушки вновь тихо занялся фитиль светильника, безнадежно уже чадивший горестною гарью и поминальным воском, и всполошенные тени существованья охотно затрепетали в так и не покинутых никем из живых стенах бедного жилища.

Фигура Степана Сергеевича была как бы парализована страхом задуть ту самую свечечку неосторожным порывом внутреннего движения. Только натуральная тяжесть револьвера медленно отводила от виска правую руку.

Вдруг произошло нечто безобразное совсем в ином роде. Я взглянул на участкового, и брюшину мою буквально вздернуло к горлу и скрючило от спазмы смеха. Я схватился, задохнувшись, за живот и начал сползать с табуретки наземь, в ужасе, кроме всего прочего, от мысли о подобной же кончине родного дяди, стебанутого смертельным ударом в пароксизме нелепого комического впечатления.

Помню еще, что мне невыносимо было стыдно в тот момент за беззащитность мою перед своевольной стихией столь неуместного, пусть даже беззвучного ржанья.

Но и по сей день не уверен я, что какой-нибудь иной свидетель жутковатой дуэли смог бы оказать вихрю той таинственной стихии действенное сопротивление. Сила ее неизмеримо превышала силу переживания беды происходящего безобразия. Стихия эта сметала со своего пути все, что могло ей возразить или успеть обдумать тайную природу ее возникновения, не оставляя ни для того, ни для другого ни мгновения времени.

Общий вид участкового был неописуем. Мало сказать, что фигура его моментально стала какой-то вытряхнутой, сиротливой и крайне обиженно, крайне наивно удивляющейся внезапной потере всех преимуществ, всех шансов, только что обещанных ему, но вдруг его надувшим Роком. А игра выражений, произошедшая в лице его, совершенно не подготовленном к такому вот резкому обороту дуэльных событий и к ужасающей, не разорванной выстрелом, взыскующе обращенной лишь к нему одному тишине, казалась какой-то гениальной и неотразимой клоунадой.

Никогда прежде, вне цирковой арены, не видел я лица человека, которое на глазах моих то надувалось бы и багровело, то шло пятнами, то искривлялось бы, косорыля по всем направлениям, то совсем белело. Вопиющие к кому-то письмена смятенных мысленных значений пробегали по нему, беспорядочно сменяя друг друга и оставаясь для меня, задохнувшегося от постыдного хохота, беспросветно темными символами смерча, безжалостно бушевавшего в существе ближнего.

А руки участкового Толи казались от его внезапной сокрушительной растерянности, не натуральными вовсе руками, чье назначение — в совершении как всяких обычных, разумных, так и необычайно глупых действий, но тряпичными руками затрапезной марионетки. Согнувшись, вернее, как-то бескостно обломавшись на две половины в пояснице, он просто рухнул на табуретку.

У меня еще хватило ума прикрыть лицо руками, чтобы показаться не ржущим беззвучно, а сотрясшимся от истерических рыданий.

Привели меня в себя стук револьвера, не положенного, но брошенного на стол, голос Степана Сергеевича и последовавший затем, после некоторой паузы, ответ участкового.

— Побаловались — и хватит. Притырь свою «дуру». Я тебе, Толяна хренов, и так налью,— сказал испугавшийся за чужую жизнь Степан Сергеевич.

— Ну, уж эт-та-то мы ебем-окунаем!.. Эт-та мы пояб-бываем!.. Мы в дуэли на Пушкине и Лермонтове воспитаны! И ты мне не перечь сейчас,— раскураживая самого себя, решительно заявил участковый.

— Один игрок вправе освободить другого от всех обязательств, не нарушая при этом кодекса чести,— вякнул я, обретя дар дыханья.

Участковый — он вполне успел взять себя в руки — удостоил меня усмешкой презренья.

— Тогда уж ты сам, что ли, жахни в виде посошка,— сказал Степан Сергеевич, поглядев на револьвер так, словно примеривался немедленно выкинуть его вон из рокового круга безобразного соревнования.

Участковый не только не обратил внимания на предложенье жахнуть, но быстро схватил оружие со стола и с ухарским воплем «И-э-э-х!!!» — так вопят, выскочив из парилки, перед нырком в ледяную прорубь и дрожа каждою клеточной плоти от стигматического озноба,— с воплем этим, перешедшим затем в краткое мычание, сунул он дуло револьвера в рот и, зажмурив глаза, нажал курок.

Раздался только щелчок...

Я и сегодня вспоминаю о нем, о щелчке этом, как о наиболее, так сказать, серьезном и значительном изо всех услышанных мною в жизни отдельных, самостоятельных звуков. Мало сказать о нем, что это был звук истинного счастья или же — редчайший в коллекциях счастливых случаев — звук победного шалабана по личному лбу самого посрамленного Рока.

Звук этот тоже был совершенно неописуем. Общий наш слух переполнила чистой воды необыкновенность, мгновенно отстоявшаяся в непостижимой продолжительности звучания неприметного щелчка, и еще нечто такое, что поражало явностью единоутробного его братского родства с небесным светом, при всей огромной разнице их бытовых скоростей.

И я как-то обалдело, возможно, в пьяном, глупом вдохновении думал, что ежели Звук младше, то Свет намного быстрее гаснет, а ежели Звук старше, то брат его — Свет — дольше идет, поскольку он одинок и нету у него в жизни никакого эха...

Не знаю, как долго внимали мы ему — звуку того последнего щелчка. Но внимали так, как внимают дети невнятной речи, то есть без малейшей — с обеих сторон — попытки перевести чудесно темное звучанье в ясный смысл...

— Степ! — прошептал вдруг участковый. Степан Сергеевич пододвинул к нему бутылку сивухи.— Я не о том, Степ, я насчет жизни хотел заявление сделать...— Видимо, каждое произнесенное слово как бы выталкивало онемевшего от потрясения человека из адской бездны в течение обыденной жизни.— Теперь, Степ, сам Бог велел жахнуть нам с тобой на брудерштраф!

— Душа что-то говна этого больше не принимает,— сказал Степан Сергеевич с некоторым даже удивлением и как бы прислушавшись к своей давно позабытой сущности.

— Я и сам, Степ, завяжу, вот те крест — завяжу, но ты уважь меня, мента проклятого, и прими одну на бру-дер-штраф!

— Хватит с меня твоих штрафов,— беззлобно сказал Степан Сергеевич, разливая по кружкам нашим неблагородную жидкость.

— Так, Степ, в Кремле жрут штрафное шампанское главы государств, когда они мир на Земле устанавливают или мильярды друг другу одалживают. Вставай, давай!

Степан Сергеевич смущенно подчинился настырному давлению участкового. Оба они встали из-за стола, как обычно встают пьющие на брудершафт — вплотную друг к другу, неуклюже тыркаясь оловянными кружками и комично перепутывая суверенное чувство левых рук с чувством правых. Затем коекак выпили, слегка обоюдно облившись «смоленским шампанским».

Некоторое время стояли они все в той же дружественной позе, и почему-то показалось мне тогда, что и тот, и другой, ничем не успев ни занюхать выпитое, ни подавиться, представили себя не с кружками самогона в руках, а с револьверами, приставленными к голубеньким жилкам жизни, замершим на висках. И любой из них в силах, согласно уговору, нажать курок первым, с ходу обеспечивая себе жизненную удачу, но оба они вправе либо выстрелить одновременно, либо одновременно отказаться от такой мудацкой пальбы.

— Да-а-а! Дела-бля-грабля! — задумчиво произнес участковый, высвободив руку и явно набравшись в том молчании некой мудрости.— Живи, Степ, долго! И падлой мне быть навек, если область я не выебу в райком и правишки тебе не верну! Скоро жисть, я тебе говорю, возобновится вместо дрисневого застоя.

В голосе, в словах и жестах участкового было столько, так сказать, непонятного в тот момент самоотстранения и боления не за себя, а за общую жизнь и своего бывшего врага, что я почувствовал никак не предвиденную гордость за Человека, который «звучал» благородно и просто.

— Есть у меня такая маза, как сказал Шаг Вперед, то есть информация, Степ. Инакомыслить теперь начали на самом Верху. Вот до чего дело дошло! Призрак кризиса бродит возле Мавзолея, как лицо бомж на улице Горького!

— Травишь ты все, Анатолий. Нету у тебя никакого своего человека в Кремле,— без тени злобной раздражительности сказал Степан Сергеевич.

— Вру, Степ. Но мы все врем, потому что, как сказал Два Шага Назад, жисть, господа, начинается мучительно тяжкая и без личной мечты можно загнуться,— поправившись после поддачи на брудершафт, восторженно согласился участковый.— Я, если хочешь знать, мечтаю о своем человеке в Кремле. Везу, например, тебя — инакомыслящего — в область, а сам беззаветно мечтаю. Ты в кузове валяешься, выкрикиваешь такое, что весь УК РСФСР дымится, матерно перечисляешь всех наших руководителей с 17 года. А я, зубы сжав, мечтаю... Человек этот — Она! То есть женский пол. У него, вернее у нее, допуск имеется высшей секретности. Но не за это дело, а за недоступность красоты, Степ. И она обслуживает обедо-банкеты на самом Верху! Деятели эти под балдой вроде нас трекают. Поддадут и повело их рассуждать. Что и как? Может, Зимний отдать обратно? Пусть сами распоряжаются, если ишачить никто уже не хочет, но каждый только водкой в потолок секает... А я тоже лежу в нашей однокомнатной, в Черемушках, и гляжу хоккей. Потом приходит она с того банкета. Я — с ходу под одеяло, а Олимпиада Марленовна душевно так говорит с кремлевской растяжкой: пог-о-о-ди, То-олевой, сначала выпей и закуси-и-и. Сымает она с себя передничек с брильянтовой заколкой и эту самую... забыл, как корона у официанток называется... ну, типа боярыни Морозовой она... под общим названием «диадема»... Неважно... Открывает моя полюбовница... мы ведь еще не расписались, потому что я по-смоленски, по-нашенски ее выдерживаю, Степ, как огурчик в рассоле и чтобы не залопалась от превосходства на высшем уровне... открывает она, короче говоря, импортный кейс из дубленки крокодила, вперемежку со змеей и на электронных молниях. И вынимает оттуда, знаешь что, Степ?

Чистосердечная энергия мечты участкового была такова, что Степан Сергеевич, полностью захваченный ею, нетерпеливо воскликнул:

— Ну!

— Я, может, и вру,— сказал участковый, обращаясь ко мне как к литератору, но мечтаю я самостоятельно, без бригады запаренных кляч, которых Бровеносец подхлестывал к своей премии, сука такая, по *Целине Малой Земли*... И вынимает оттудова, из заначки своей банкетной, Олимпиадушка-оладушка... *балык особого копчения... окорочек нарезанный... полдюжинки папиров*, то есть *партпирожков с секретным фаршем из черной икры и царской вязиги*... тут и *заливные гребешки фазанов* высыпаются из кейса... *Столицу* вынимает недопитую... *пиво-раки*, конечно... *сигареты верблюд*... потом *пару орденов Ленина с медалями за различные взятия*... Я уверен, Степ, что деятели их теряют по пьянке, а потому и награждают ежемесячно друг друга... Выпиваю. Закусываю солидно. Ты, говорю, птичка в белоснежном фартучке, осторожней жрачку-то притыривай, а то обшамонают у Спасской башни. А она на колени ко мне — прыг-прыг, чирик-чирик... Нас, отвечает электроникой шамонают, а она закусон со стеклом не берет... Потом информацию получаю из первых рук насчет перемены общего курса загнивания на покаяние в промышленности группы А и Б... Я же не с потолка беру эти данные, Степ, и не из *мечты* — поверь... у меня ведь кореша в Москве... Ну, потом я еще выпиваю и еще... А уж потом...

Видимо, участковый дошел в мечте своей до таких пределов и до такой ее на глазах истаивающей кромки, за которыми вместо обворожительной галлюцинации вновь открывается трагически очухивающемуся взору мечтателя реализм, как говорится, действительной жизни.

— Потом, Степ... ты погляди вокруг! Ни одной бабы стоящей не осталось ни в районе, ни в области! Участковый лейтенант, то есть почти майор в отставке, ре-гу-ляр-но живет со вдовами вышесреднего возраста и с прочими легкомысленными авоськами! Вот до чего дело дошло! Весь семенной родимый фонд на ветер, можно сказать, бросаю. А ты говоришь «вело-си-пе-ди-за-ция!» Иногда кандехаю на велосипеде, а собственная душа показывает на меня же пальцем и мне же и говорит: ну, чего ты себя везешь, дурак,— рулем руки занял,— и куда ты вообще едешь-то? А я продолжаю ногами вертеть, педали накручивать. Куда стремлюсь — не знаю. Сейчас вот чуть не добрался до конца Света.

— Чего еще пророчат в твоих Верхах? — спросил Степан Сергеевич.

— Водяру Верхи немедленно запретят всухую, и начнется борьба с нетрудовыми доходами Низов, Степ... ты уж извини. Но я лично с этим планом не согласен. Нас он обойдет теперь стороной. А уж потом двинемся мы с чистой душой к покаянию. Пока что мне, Степ, не прет в карьере. Невезунчик я. Галя Брежнева один раз остановила около меня свою Чайку и спрашивает с намеком на резкую близость: «Эй, старшой, где бы тут лошадей перезаложить с легким томлением и метелицу на печке переждать?» Я варежку разинул, палку вокруг пальца покручиваю игриво и отвечаю, что за рулем у нас, по идее, не пьют. Она смерила меня цыганским взглядом с ног до головы. «Ду-у-рак»,— говорит и поехала дальше. Там и встретился ей Чурбанов наш. Этот прохиндей не стал церемониться — пройдемте, мадам, в постельку, там я вас разок-другой штрафану, и мы быстренько разберемся-гужанемся... Сейчас, Степ, я мог бы быть на его месте, а тебя завхозом вызвал бы и сразу врезал бы капитана. Нет, Степ, тебе я бы подполковника дал. Клянусь должностью и чином!

— Надо было честно регулировать движение и не тянуть с людей трешек с пятерками.

— Пребывал в заколдованном кругу, Степ. Все сейчас берут, и я клал «лысых» за крагу. Почему брал? Стиснут был алиментами от четырех баб. Я судью спрашиваю: на что мне теперь прикажете питаться? На гривенник в день? А он отвечает, что чем меньше я буду мяса жрать, тем мне же и спокойней будет. У меня, Степ, хронический, если хочешь знать, донжуан. Нездоров я в этом смысле.— Мы со Степаном Сергеевичем от души захохотали. Участкового — как это бывает с людьми выздоравливающими или избежавшими большой опасности — одолевала ненормальная словоохотливость. Он продолжал свой рассказ: — Умнейшему одному адвокату отдал я по глупости все взятки, накопленные за крагой. Он меня тащит в женскую консультацию — закосить экспертизу.

— И ты штаны скинул? — все смеялся Степан Сергеевич.

— Нет. С меня снимали исключительно мозговые данные. Выяснилось, что нырнул я однажды в юности в Жабуньку и врезался лбом в корягу. С тех пор поддался сексуальной революции. Но на суде такая хитрая масть не прошла. Судья сказал, что все это не травма, а донжуан, многоженство и половая распущенность. Я в последнем слове просто взмолился. Господи, говорю, пошли Ты мне с первого взгляда и до гроба одну-единственную кровать или софу, где находится не подлая дама сердца! Но от молитвы атеиста, сам знаешь, толку мало. И теперь, Степ, пошел я по рукам пенсионерок. И все ж будет у меня любовь! Будет! Взятки же после покаяния... со взятками я решительно завязываю, хотя почему не взять с сельпо или «Заготскота»?..

Мы помолчали. Федя, спавший все так же,— уткнувшись лбом в согнутую руку,— всхлипнул во сне и вздрогнул.

Степан Сергеевич встал, выдрал из коготков котенка те самые — бывшие сиреневые — кальсоны и заботливо подложил их под голову спящему собутыльнику.

После этого никто из нас не знал: что делать дальше?

Но думается мне, что несмотря на привычное в те поганые времена состояние безысходности и пребывание в трясине некой безответственности, встрепенулось в нас — поскольку непонятно как наступила эта минуточка,— встрепенулось все же в нас родовое чувство последнего какого-то предела на общих жизненных путях.

За ним, видимо, брезжило нам вовсе не мгновенное облегчение участи, не волшебное преображение беспомощного нашего «винтикового» ничтожества в фантастически свободную рабочую силу и прочие

вспомогательные чудеса, но брезжило нам самое главное — сокрушение всесильным временем обрыдших всем и вся нелепых нагорождений головоломной вымороченности. А там, даст Бог, каждый, того пожелавший, примется за собирание целого безжалостно, неосторожно, хорошо еще, если не необратимо, изодранного некогда на части. За складывание по картошечке, по страсти, по колоску, по куренку, по буковке, по дощечке, по волюшке, по обязанности, по тропинке, по милости, по почвинке, по совести, по прилавочку, по капле водицы — вплоть до некоторого хотя бы воссоздания в истерзанной нашей действительности Образа Истины и Достоинства трагического существованья.

Странно, но даже в участковом — он был намного моложе всех нас — внимание к каким-то тайным движениям души стало вдруг сильней страсти поддать по новой. Точным движением он вынул из барабана ту самую роковую пулечку и протянул ее Степану Сергеевичу.

— Притырь, Степ, свою и мою смерть куда подальше. А я доложу в рапортичке, что предупредил ночной налет на сельпо заведующего этой грешной лавочкой с целью кражи излишков сахара в количестве одного выстрела.

Издалека донеслись до нас голоса женщин, возвращавшихся с продуктовой ношею из утомительного рейда, и в глазах Степана Сергеевича появилось выражение вины, любви и полного сочувствия к близкой подруге своей жизни.

— Шмальни-ка ты, мечтатель кремлевский, пульку эту в воздух — дай салют над афганской могилой Женьки и в честь возвращения на родину женского отряда с «бациллой». Да и Федора пора будить, а то Катька даст ему сейчас просраться кальсонами этими по башке,— сказал он, притыривая бутылку и выкидывая в пустыню огородишка останки лягушек.

Участковый вложил патрон на место и, снова крутанув за спиной барабан, как бы повторил тасовку случая. Затем, поднял руку и нажал курок. Выстрел, оглушив нас, раздался на этот раз незамедлительно. Бывшие игроки странно переглянулись.

— Дела, бля-грабля,— потрясенно сказал участковый.— Как смерть-то сучка играет гадина с нами! А?

— Федор!.. Федя, ты что? — Степан Сергеевич затряс дрыхшего и нисколько даже не вздрогнувшего от безвредного выстрела друга.— Вот придавил — так придавил! Вставай, певец французских закусонов,— баба надвигается! — Он стоял над спящим и не мог увидеть того, что открылось мне — сидящему с ним рядом.

Холод неизвестности и тишина тьмы того света коснулись и моего лба, враз остудив его и напомнив о большей своей, чем обычно предполагаем мы, близости ко всему видимому и живому.

Но и до Степана Сергеевича с участковым быстро дошло, что человек вдруг помер — помер во сне. У него само собой либо разорвалось, либо целиком уравновесилось — до полной остановки — сердце. Слишком затянувшиеся поминки, явная инфернальность сивухи, порыв истинного вдохновения и душевное горе, конечно, сыграли тут свою роковую роль — то была смерть поэта.

Голоса женщин все приближались и приближались.

— Братцы, я прибыл, так сказать, профиксировать протокол кончины во сне,— умоляюще обратился к нам участковый, видимо, припугнутый какими-то возможными последствиями этого смертельного происшествия для остатков своей карьеры.— О'кэй?

Я поднял на руки тело умершего и положил его на травку, под тусклыми мальвами.

— Надо ж... Мы ведь могли вместе предстать... Головоломен наш жребий, а вообще-то так и так — все подыхают *одновременно*,— сказал Степан Сергеевич, как бы ставя все в себе на свои места этим странным тезисом.

Я не мог удержаться и попросил внести хоть какую-нибудь смысловую ясность в его странное оптимистическое звучание.

— В психушке одного инженера лечили от этой хорошей мысли. Но не вылечили. Он нам с утра до вечера внушал, что ежели самый первый человек, Адам, допустим, помер тыщи лет назад, то время для него сразу кончилось — нету больше времени ни секунды! И выходит, что помер он в тот же миг, что все, все, все последующие поколения и, конечно, наш Федор, Царство Небесное и ему и Адаму! Мне такое положение очень нравится.

— Не согласен! — вскричал участковый, охотно отвлекаясь от происшедшего, но чрезвычайно запутываясь в витках рассуждений.— Живем, можно сказать, в разных веках и эрах, а подыхаем в одну секунду с Наполеоном или с Гитлером и Сталиным? Выходит, что с ихней колокольни, я как бы и не живу больше, а мне только кажется, что это они дуба врезали, тогда врезал его лично я? Это они, может, подохли *одновременно* со мною, но я подохну в другой исторический момент. Зачем я тогда позже живу? Не один ли мне тогда хер — что жить, что помирать? Да и стреляться в Руру нечего было в таком случае. Я не хочу одновременно. Не согласен! Например, ликвидирую в погоне рецидивиста. Ужас — что зверь этот наделал! И как это он подыхает одновременно с гражданином Икс и с двумя гражданками Игрек и Зет, если он их сначала обокрал и угробил, а потом пропивал тряпки два месяца?

— Так вот и подыхает — *одновременно*. Потому что там, еще раз подчеркиваю, времени нету. С нашей точки зрения, дубина ты регулировочная, мы еще сопим в обе норки — живем. Но с точки зрения Федора, мы — с ним, *тама*. Живыми, конечно, быть приятно, но зато нам тяжельше, а ему легче, потому что мы с ним расстались, а он с нами фактически — нет. И я лично с таким фокусом бытия очень даже согласен. Оттедова глянешь — все померли *одновременно*. Тут оглядишься — все *одновременно* живут, хотя поминки следуют за поминками. Всеобщим же Воскресением даже не попахивает. Хотя приятно было бы воскреснуть всей честной компанией... Очень приятно... *А знаете, ведь мы все тоже еще помрем...*

Степан Сергеевич сказал это с такой какой-то интонацией пронзительно счастливой тоски ожидания в голосе, словно он говорил не о смерти и был не рано состарившимся человеком, а мальчиком, задолго до дня рождения друга или до Праздника Светлого Воскресения предвосхищающим в душе очередную поездку в гости и для которого поэтому будущее вообще никогда не бывает безрадостным и темным.

— Они ж тебя, Степ, вроде бы не долечили,— крайне сочувственно сказал участковый, найдя вдруг выход из умственного лабиринта, в котором он еще плутал по инерции.— Куда ни глянь — везде у нас халтура и бесхозяйственная бордель тет-а-тет, как говорил покойный.

— Тебе самому надо уличное движение мыслей регулировать в голове. Эх, Федя!.. Что ж ты, Федя? Кто ж теперь за тебя детей рожать будет? — засетовал Степан Сергеевич, подойдя к помершему другу и уложив его так, чтобы он уже не показался какому-нибудь постороннему человеку временно уснувшим пьяницей родной Жабуньки.

— Непорядок! — энергично и отчасти бестолково воскликнул вдруг участковый.— Даже померший мужик должен быть побрит в такую минуту и перед самым явлением дамы разрыва сердца. Я его сейчас враз поброю! Как огурчик в банке будет!

Он быстро направился к своему старенькому велосипеду, дремавшему на травке, под забором. Отвязал портфель от багажничка. Достал футляр с электробритвой «Нева».

Мы, без указаний поняв, что надо делать, перенесли покойного поближе к столбу.

Участковый тем временем как-то подключил бритву к той же самой энергосистеме нашей сверхдержавы, отсоединив от нее все еще горевшую нахалявую электроплитку.

Должно быть, живой человек с трудом выдержал бы такое бритье старинной «Невою», хотя участковый выбривал Федино лицо не казенным образом и даже уговаривая безжизненного клиента потерпеть, а заодно и простить, как он выразился, «промышленность группы «Е» за жестокую халтуру качества бесстыдно выпускаемых изделий». Он также обещал Феде, что непременно «поброет» его перед религиозно-гражданской панихидой, поскольку борода «снова, конечно, отрастет из-за разгона жизни волос и ногтей после врезки дуба». Затем причесал своей же расческой Федины волосы, свалявшиеся в поминальном запое, сказал, что «в таком виде покойник вполне теперь может быть представлен и тут и Там», и попросил Степана Сергеевича поторопиться.

Степан Сергеевич просто-таки заставил себя пойти навстречу деревенским женщинам — сообщить им всем о случившемся.

Шел он, подавленно сгорбившись не столько от наваленного жизнью на душу за все прошлые годы, сколько за один этот день.

Участковый пылко дал вслед человеку, потерявшему последнего друга, ряд деловых наставлений:

— Ты, Степ, первым делом сумки возьми у Катьки из рук. И — с ходу успокаивай. Скажи, что под постоянным током она теперь будет, одной, мол, тебе, Катька, на столб по утрянке не вскарабкаться. Толяна подключит сегодня же. Понял? У нее — глаза на лоб: как-так «Одной»? А ты тогда быстро развивай тему и говори, что у *Жизни* есть рифма такая хитрая и точная, то есть *Смерть*. Поэтому, скажи, в том смысле сногсшибательно повезло человеку — позабыл Федор дышать во сне. Дорифмовался, мол. Бабу надо загодя успокаивать, когда мужик дуба дал... Но если ты ее кидаешь по-флотски, с вывихом настроения, то лучше успокоить потом. Так бабе легче удар судьбы перенести... Порадуй также, что теперь хоть для поминок жратвы навезла Катька навалом — как чуяла. Бабы все чуют. Ее иногда бросить не успеешь, а она, правда что, *од-но-вре-мен-но* — скулит, ноет, скосорыливается. Так жалко ее станет, что и впрямь бросаешь намного раньше, чем планировал. У них ведь — интуиция, а у нас — донжуан. Беда... Скажи, значит, Катьке, что все мы, включая трупоносца Брежнева, можем только позавидовать Федору насчет такого замечательного появления в Царстве Небесном и что гроб с музыкой правление выделит на этот раз бесплатно. А также *од-но-вре-мен-но!* За это я отвечаю. Душу выну из проказы бюрократии!

Степан Сергеевич, как бы существенно подбодренный точным знанием того, что ему теперь говорить, кивнул с некоторым облегчением, выпрямился и по-житейски заторопился навстречу несчастной вдове, обвешанной сумками, авоськами с апельсинами и гирляндами бубликов...

Август 1985. Май 1990.

Низаметдин Ахметов

Камушки для кумалака бабушки Шамсии

в защиту судьбы

В ноябре 1989-го я принес в редакцию журнала «Юность» биографическую заметку о Низаметдине Ахметове: в третьем номере (1990) шло его эссе «Улица Свободы». Автор жил тогда в Германии. Редактор, с которым мы работали над публикацией, пробежал глазами заметку — перечисление тюремных и лагерных сроков — и упрекнул меня: «Что же вы не написали самого главного? Как он возвысил свой голос, как он выступил в защиту...» Я растерялся от неожиданного поворота разговора и буркнул: «Да не был он идиотом. Голоса не возвышал».

Мой невежливый ответ относился, конечно, не к тем, кто некогда «возвысил голос»; просто ... те же шкафы, те же столы, те же сотрудники — но на столе лежит машинописный (перепечатанный с западного издания) текст погибшего в тюрьме Анатолия Марченко «От Тарусы до Чуны», но сотрудники просят помочь им в поиске какой-нибудь более свежей и пикантной «антисоветчины». Нельзя ли, например, достать «материал о связях советских властей с международной наркомафией»?

Низаметдин Ахметов — насколько я могу судить по личному общению с ним, по его письмам, по его стихам и прозе — всю свою сознательную жизнь «выступал в защиту» лишь собственного человеческого достоинства, отстаивал целостность того образа и подобия, что вложены в нас, но принадлежат не нам.

●

Одинокая борьба человека за «образ и подобие», за верность судьбе и стала главной темой в творчестве писателя Н. Ахметова. В одной из публикуемых здесь глав даже колеса арестантского вагона отстукивают бетховенскую «тему судьбы» из Пятой симфонии («На железной дороге»). Эта тема присутствует в самом названии романа — «Камушки для кумалака бабушки Шамсии». Кумалак — это распространенный среди тюркских народов Приуралья и Средней Азии способ гадания на камушках, способ определения судьбы.

Двадцать лет лагерей, тюрем и психбольниц «за стакан ворованного шампанского» («Эскимосник в доме Мюллеров») становятся лишь местом и временем, в которых разворачивается эта, как сказал бы Лев Шестов, «великая и последняя борьба» за смысл того, что значит быть человеком. Вот как тема верности судьбе впервые появляется в «Улице Свободы»:

«13 сентября 1967 года меня арестовали, но не отсюда начали отсчет мои худшие годы... Я выжил, хотя, конечно, эту двадцатилетнюю войну не выиграл. Я каждый день терпел в ней поражения, каждый день сдавал позиции, и уже казалось иногда, что бессмысленно сопротивление, потому что нечего было отстаивать, все уже потеряно и предано, но всегда находилось что-то, какой-нибудь пустяк непременно, за что ты дрался снова. А пока было что защищать, стоило жить и заставлять врага считаться с тобой».

У писателя и его героев эта борьба начинается еще до ареста и продолжается после освобождения. Поэтому особенно важно отметить: выйдя на волю после двадцати лет за решеткой, Н. Ахметов никогда не работал в жанре лагерных мемуаров, в жанре «свидетельства». В «Улице Свободы», так же как и в публикуемых здесь главах нового романа, лагерные пространство и время разомкнуты в обе стороны, для автора они принципиально не отличаются от долагерной «воли» (эпизоды в Кунашаке и Ташкенте) и послелагерного «Запада» (немецкие сцены романа): все это — пространство и время «великой и последней борьбы», моменты испытания на верность собственной судьбе.

В первой «горсти» («Абсурд») это ощущение единства судьбы передано прихотливым чередованием сцен из жизни героя, «эскимоса Ниси»: Гамбург в 1988 году — Владимирская тюрьма — опять Германия — психбольница — Германия — гулянка в Ташкенте 1967 года — Германия — эвакуация южноуральской деревни, подвергшейся радиоактивному заражению в результате испытания ядерной бомбы в 1954 году,— школа в Челябинской области в начале шестидесятых — снова Германия.

Тема верности судьбе возникает и в очерке об Илье Габае («Юность», 1990, № 12), где герой вроде бы принадлежит к миру «шестидесятников» — московской оппозиционной интеллигенции,— к миру, для автора чужому и далекому. Но перед нами не Илья Габай «московских кухонь», о самоубийстве которого Юлий Ким, автор предисловия к публикации, говорит со вздохом: «Если бы это был не 73-й, а 87-й...» Н. Ахметов видит Габая совсем по-другому. Заметьте, как контрастирует со вздохами Ю. Кима о «87-м» сам подзаголовок очерка: «Памяти неперестроившегося».

В конце очерка «тема судьбы» звучит открыто:

«Москва и москвичи живут без Ильи, все спешат перестроиться, и недосуг вспоминать о тех, кто ломался, не умея перестраиваться».

И даже самоубийство Ильи Габая, выбросившегося с балкона своей квартиры, становится у Низаметдина «последней попыткой продолжить полет», последним актом верности.

●

В лагерном стихотворении «Я говорю с тобой по-русски» башкир Н. Ахметов обращается к России на языке классических четырехстопных ямбов:

Прости за то, что не могу я
Любить тебя ценой измен.

Речь идет, разумеется, об изменах самому себе. Жизнь постоянно пытается навязать Н. Ахметову и его литературному двойнику, «маленькому эскимосу Ниси», готовые социальные роли, но «маленький эскимос» все время нарушает правила игры. Он не стал «хорошим эскимосом», но и «настоящим политзаключенным» он тоже не стал. Он не «возвысил голос», он сел за украденное другими шампанское и двадцать лет провел в неволе — просто из-за «скверного характера»: он не хотел свободы «ценой измен».

Но вот в 1987 году «узник совести Н. Ахметов», лауреат нескольких западных литературных премий и почетный член английского, французского, датского и австрийского ПЕН-клубов, оказывается на свободе и в Германии, о нем много пишут в немецкой прессе.

Однако правильным политэмигрантом Низаметдин тоже не стал. Он не разоблачал ни ужасы коммунизма, ни ложь перестройки, он оставался частным человеком и писателем. В ночь с 7 на 8 ноября 1990 года, не дождавшись официального разрешения вернуться на родину, Н. Ахметов нелегально пересек польско-литовскую границу, был арестован и доставлен в следственный изолятор КГБ г. Вильнюса. Потом был долгий этап на родину — в Челябинск. «Я окончательно почувствовал себя дома,— рассказывал Низаметдин,— после того как на пересылке в Смоленске меня обобрал и избил конвой». 11 января в Челябинске он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Центральная пресса стилизовала Низаметдина под положительного персонажа наших героических будней — «бывшего диссидента». Так величает его автор статьи в «Комсомольской правде» от 5 февраля 1991 года. Между тем в Башкирии, где шла кампания в его защиту, Низаметдину уже была приготовлена гораздо более интересная социальная роль — башкирского национального героя. Ведь мы живем в великую эпоху пробуждения национального сознания угнетенных народов, и поэтому возник повышенный спрос на бесспорных героев, символизирующих величие нации.

Конечно, попытка «национализировать» Н. Ахметова тоже не удалась. Многие из его башкирских заступников были разочарованы в своих ожиданиях.

«Великая и последняя борьба» продолжается.

Сергей Лёзов

Горсть 1

Абсурд

1. Голуби

Утром 17 мая 1988 года в Гамбурге не было дождя. Цвели каштаны, оторвалось небо от церковных шпилей, ветер вспузыривал блузу сидящей неподалеку девушки и доносил до него запах чистой кожи и дешевых духов. Он сидел у канала на загаженных человеческой блевотиной и птичьим пометом ступенях, окруженный голубями.

— Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! — раздались удары в потолок из верхней больничной камеры. Ни́си бросился к окну.

— Говори!

— Внучок, держи коня!

— Подожди, кука́н достану.

Он достал из заначки пучок палочек, работая всеми пальцами и зубами, связал палочки нитками: получилось удилище более двух метров в длину. На его конец он привязал крючок из черенка алюминиевой ложки. Кукан готов.

— Слон! Слоняра! Ты чо мышей не ловишь? Вставай на атас! Поехали, Цы́ган!

Цыган подогнал толченых сухарей из белого больничного хлеба и отделенное от костей мясо вареного голубя. «Внучок,— писал он в ксиве печатными буквами, распределяя их по правилам цыганской орфографии,— наделай еще петель из безразмерных носков: твои петли счастливые, хорошо на них ловится. Привет Слону».

Через неделю Цыгана с «хи́пишем» завели в камеру, после драки с ментами у него расползались послеоперационные швы. Всласть выругавшись и положив от Владимира до самой Москвы, он перетянул живот полотенцем и первым делом внимательно осмотрел решетки на окне. В этой камере их было три ряда, промежутки в них последовательно сжимались и через внутреннюю не проходил и палец.

— Зато жалюзи нет. Слон, мышей ловить пора, дорогу делать будем.

Слон согласен «мышей ловить», но голубей он есть не может, ему бы лучше хлеба.

— А этого ты не хочешь? Хлеба он хочет! А еще чего хочешь? Как дам, и обсерешься!

Слон зажмурил глаза и наклонился к Цыгану.

— У, кобыла бельгийская! И что ты такой бздиловатый?

Маленький Цыган за что-то любил большого и робкого Слона, и, если ему удавалось иногда с простодушной цыганской наглостью «выкрутить» у баландеров лишнюю пайку, он делил ее так: себе он брал приколотый деревянной щепкой тоненький довесок, третью часть отламывал Ниси, а остальное доставалось Слону.

— Хули ему пайка? Он здоровее нас двоих вместе. Совсем пацан ведь, всего боится, мамки хочет да каши. Меня-то они не заморят! А, ерло в перло!

Он поднимался во весь свой маленький рост и шел к двери.

— Янек, Мопс на смене! — испуганно шептал Слон, с трудом поднимая костлявую голову от койки. Всякий раз, когда он поднимал голову, казалось, что вот сейчас слабая нитка шеи порвется от тяжести головы.

— А вот ему, козлу! — живописным жестом показывал Цыган.— Положил я на твоего Мопса, понял? И на тебя тоже!

Он был из венгерских цыган, их табор заблудился в осенней беспутице 1956 года, и Янеку полюбилось воровать на Волге. Читать и писать он научился уже после того, как его осудили за антисоветскую пропаганду. Он и в тюрьме хотел жить вольной цыганской жизнью, не признавал он ни тюремный режим, ни нормы арестантского общежития, и политзаключенные били его не реже, чем надзиратели. После 45 суток карцера он возвращался в камеру пьяной походкой, и из штанин его полосатых брюк сыпалась двумя белыми дорожками пеллагрическая шелуха. Но через неделю «общака» щеки его округлялись и снова смуглели, и все его маленькое тело наливалось упругой силой. Ему приедались баланда и сокамерники, как свеженакачанный мяч, он летал и прыгал по камере, задевая всех. Когда ему становилось совсем тошно, он бил лампочки и стекла, ломал рамы и тумбочки, рвал матрасы и сжигал «Правила внутреннего распорядка». За три месяца до освобождения он сошел с ума.

Несколько дней осторожно расшатывали прутья решетки деревянной ручкой совка для мусора. Начало проходить два пальца вместе.

— Харя́! — сказал Цыган.— У них кости мягкие, пролезут.

Журнальный вариант.

Цыган щипал голубей живыми.

— Потерпи, милый, потерпи! — сердечно говорил он, ощипывая дрожащего от боли голубя. Оставшись без перьев, голубь синел от холода. Когда он расхаживал по камере, греясь, нельзя было не смеяться.

Голубиное мясо вкусное, приятно волнует нервы охотничий азарт, но неприятно протаскивать через щель в решетке взрослых голубей. В отношении молодых Цыган оказался прав: хотя они громко пищали, когда Ниси сминал им грудь, но все же затянуть их в камеру не стоило труда. У матерых голубей с хрустом ломались ребра и крылья, но они только вздыхали и смотрели в глаза Ниси.

— Да тащи ты, чего клопа жаришь! — не выдерживал Цыган и брался за дело сам.— Дай сюда! Ни украсть, ни покараулить! Политики, ерло вам в перло...

Торопясь и нервничая, Цыган иногда втаскивал голубя по частям, а потом слизывал кровь с рук. Даже когда он рвал голубя, птица не издавала ни звука, только вздыхала и глаза из желтых делались голубыми.

После отбоя украдкой от Мопса варили голубя и ели.

На плавающей деревянной плахе непонятного назначения лежал полуистлевший мертвый голубь. Рядом плавал неопрятный одинокий лебедь с грязной шеей и время от времени отщипывал что-то от мертвой птицы. Иногда лебедь возбуждался и принимался яростно теребить труп клювом.

Рядом с трупом приземлился голубь. Он надул шею, зло трепыхнул крыльями и изнасиловал мертвую голубку. Издавая злобное и страстное урчание, он стал бегать вокруг трупа и изнасиловал его еще два раза. И улетел вместе с остальными голубями к семье японских туристов: мать с малышом крошили булку, отец щелкал фотоаппаратом.

Съев булку, птицы вернулись. Тот же самец снова приземлился у трупа и изготовился запрыгнуть на него, но его с ходу долбанул грудью другой самец и сам взобрался на мертвую голубку. Десятки самцов закружились над трупом, за обладание им началась драка. Однако воинственный треск крыльев скоро смолк: самцы самоорганизовались и по очереди изнасиловали труп.

Вновь подплыл грязноШеий лебедь и начал задумчиво отщипывать от трупа, запивая грязной водой из канала.

Он затушил окурок, пересек площадь и скрылся в дверях ратуши.

2. Непричастность

Сегодня переполнено фойе концертного зала, очереди у баров и туалетов: дают московского скрипача. Спорят о том, сколько столиц было у России.

— А я ихнюю мать видела, во! — кричит рыжеволосая бойкая бабенка. И рассказывает.

В матери русских городов это случилось, уже к концу поездки. Много марок поменяла бабенка на рубли, и рубли пропадали, надо было их срочно отоваривать.

— Дюжину ленинов! — говорит она и кладет на прилавок кошелек с рублями.

— Дюжину ленинов каких: нагрудных, набрюшных, нашейных, наручных, настенных, настольных, походных, карманных?.. ленин-пресс-папье, ленин-ступка, ленин-гвоздодер?..

Растерялась рыжая и спрашивает осторожно:

— А у вас, например, какой ленин? Покажите, пожалуйста.

— Вот он где у меня сидит! — и продавщица по горбу своему хлопает.

При чем тут ленин, если ты уже два срока за растрату гнулась, думает немецкая туристка и говорит, что хочет ленинов получше и подешевле.

— Получше ленинов не бывает, стандартные они, и цена на них государственная.

— Однако государственная цена одного ленина 37 копеек, а вы с меня по руб тридцать семь дерете.

— Так это ж эмалированный ленин!

— Ладно, заворачивайте. Все равно у вас кроме ленинов и матрешек ничего не купишь.

— За валюту сталинов найдем,— шепчет продавщица.

— Как, сталины? Откуда?

— Отечественные. Государственные — по килу на марку, самодельные — марка штука.

— Почему не государственные? Почему самодельные?

— Потому что государственные на складах законсервированы, но кому надо, тот достанет! — подмигивает горбунья.— А еще народный промысел у нас есть. Смотри, девка, какой сталинчик!

— Но тут написано: «Максим Горький»!

— А я и говорю: лучший друг Сталина.

— Так вот в Киеве в марте 1988 года было,— закончила рыжая бабенка.

Немцы вежливо поулыбались и спрашивают Ниси: а как, мол, в вашем городе бывало? Всяко бывало, отвечает Ниси, только Ленин тут ни при чем.

— Не дай вам Бог сойти с ума! — воскликнул он, начавши рассказ не ленинской, а пушкинской строкой.

Через 20 лет он снова в Челябинске, врачи обещают уже через полтора года освободить его. Но не об этом он думает: загнила левая ягодица от уколов, вот о чем он думает, после обеда введут ему сульфазин в четыре точки, вот чего со страхом он ждет.

Он разжирел, неопрятно и помногу ел, часто стекала из его раскрытого рта струйка слюны. Шевелились непрерывно его пальцы, приплясывали ноги, гримасничало лицо, иногда заворачивало скулу ему в сторону и выползал изо рта искривленный судорогой язык.

Ночью начинался жар, и приходили кошмары. Он осознавал их, он знал во сне, что это сон, и заставлял себя проснуться. Но просыпался он не в палате, а в новом кошмарном сне. Так продолжалось всю ночь: переходы из сна в сон, из кошмара в кошмар; он метался в этих кошмарных мирах, отчаиваясь вернуться в истинный.

А днем он не мог найти себе места. Похожу, думает он, но, пройдя по палате несколько раз, понимает, что ходьба только усиливает его страдания и тревогу. Прилягу, решает он, но, лежа, мучается еще больше. Попробую читать, озаряет его ежедневная идея, но давно уже не может он читать: чтобы прочитать название газеты, ему нужно несколько минут, но что это значит, он все равно не поймет, а стоит ему начать думать об этом, как беспокойство и неусидчивость вновь овладевают им.

Так чувствовал и вел себя не он один: большинство больных были такими, и это нормальное состояние нормального пациента психбольницы. Никто в этом не виноват: ни сами больные с врожденными или приобретенными дефектами психики, ни работники больницы, ни Ленин. Скажем, если молодой, абсолютно невменяемый парень мешает ночью санитарам играть в карты, так ему и надо ввести в вену раствор аминазина — «на игле» еще заснет, к утру совсем успокоится, остынет, строгим и осмысленным станет лицо дебила. А как прикажете быть с такими? Доброго слова не понимают, окриков не боятся, к побоям привыкли: иных бьешь, а они смеются. Аминазин виноват, а не Ленин. И в самом деле, при чем тут он? Ведь парня похоронили в мае 1987 года.

Все ж не все больные были больными, были и нормальные парни — призывники и солдаты: война идет в Афганистане. Нормальные парни, здоровые, тренированные, вместе держатся, с санитарами дружат, водку с ними пьют, порядок поддерживать помогают, иные боксом увлекаются. И санитары нормальные ребята: студенты они, врачами хотят стать, физиками. Учатся и дубачат. Так вот однажды нормальные ребята, поспевающее пополнение русской интеллигенции, выпили с нормальными парнями, противниками войны в Афганистане.

Студенты и солдаты народ бедный, но что-то много бутылок сообразили они. Где деньги взяли? У Пушкина, разумеется. С Южного Урала кое-кто в заячьем тулупчике уехал. С тех пор и расплачивается он: за всех все делает, всем все достает и за все в ответе. Пушкин, он может и денег на десяток бутылок водки запросто занять, если ему полную миску каши наложить. А что ему, Пушкину? Дебил он от рождения, а богатые родители его тем не менее любят. Пойдет Пушкин на свидание с родителями и топнет ногой: подайте мне сейчас 100 рублей, а то не буду ничего кушать! И дадут мама и папа Пушкину десятку, чтобы съел он все, что они принесли с собой. Другому Пушкину бабушка даст пятерку. Студенты и солдаты народ изворотливый, так вот они и жили.

Они начали разгуливаться сразу после отбоя. Но избиение еще не было массовым, да и не били они еще по-настоящему, хохмили пока: загонят в одну постель двух больных и требуют, чтобы половой акт совершили, нет-нет да и по бочине, по морде обоим дадут, чтобы делали, что им приказывают, и больные пробуют это сделать, тогда они смеются... Так вот, например, хохмили.

Начинал действовать сульфазин, он пошел в умывальник, чтобы набрать в грелку горячую воду. Сгорбил его сульфазин, раскорячил руки и ноги. А навстречу ему рыжий санитар идет.

— Ты, а почему ты такой гордый?

И в нос ему, в зубы. Спасибо, санитар Санек вмешался: не надо, Витек, говорит, хороший это мужик, он нам денег даст. И укрывает одеялом, ноги ему закутывает. А он зубами лязгает — сульфазин ли, страх ли? — и отвечает, что его мать пенсионерка.

Нет так нет, они других бить пошли. С ними солдаты пьяные. Да не надолго они ушли: всего 4 палаты в отделении, 80 больных в них, что это десятку здоровых парней? Снова у его койки они.

— Ты, а почему ты нас не уважаешь?

И ногами его, кулаками. Опять Санек Витька урезонивает: хули ты торопишься, говорит, в умывальник его вести надо, тесно здесь. Но и в умывальнике Ниси на своем стоит, бедным прикидывается. А они не верят: знают они, что Родину за большие деньги предают.

В уборную они его потащили, там Санек за дело взялся, в толчок толкает его голову. А сам сердится и не про деньги уже думает:

— Ты, а почему ты Родину предал?

В коридор они его вывели, солдата-боксера кликнули. И началось! Сковал ему все мышцы сульфазин, трудно подниматься после нового удара, а надо.

Но всему настает конец, пошли они дальше других больных бить. По второму разу, по третьему... Всю ночь солдатики удалью молодецкой тешились, всю ночь студентики хохмили.

Вот так в нашем городе было в ночь с 7-го на 8 марта 1987 года, закончил Ниси. Так что сами видите, что Ленин тут ни при чем: опять кругом Пушкин виноват.

Душно в фойе и тесно, он вышел и увидел на пути полицейского.

Кинулась одна его рука ощупывать пуговицы рубашки и застегнула верхнюю, поднялась другая

рука к голове, чтобы снять несуществующий головной убор, нарочито глуповатыми и робкими стали глаза, а мысль уже четко заработала: что в карманах? Где он был вчера и сегодня? Что соврать, если спросит, почему я здесь? Ударит в лицо, живот или пах? Пообещать ему пятерку или десятку?

— Простите, пожалуйста,— посторонился полицейский, желая пропустить его.— Вы хотите присоединиться к демонстрации?

По улице шло много людей; с установленной на автомобиле трибуны мужеподобная женщина каждые две минуты выкрикивала в мегафон отборные немецкие ругательства по адресу полицейских, потом две минуты звучала кустарная рок-музыка.

— Они против загрязнения окружающей среды,— объяснял словоохотливый молодой полицейский.— Я солидарен с ними.

— А я-то при чем? Я на московского скрипача пришел.

Нарастало раздражение к этому симпатичному парню в униформе.

— Мать вашу за ногу!..— обложил он по-русски полицейского, демонстрантов и опаздывающего московского скрипача.

Сначала их было трое: находящийся в побеге уральский бандит Костя, крымский татарин карманник Карим и гитарист Серик, пятнадцатилетний казашонок, уже сидящий на игле. Четвертым подошел Ниси

— Махмуд пришел! — обрадовался земляку Костя.— Жрать хочешь? У Сереги в гитаре полбуханки хлеба, отломи, сколько надо. Кирюша, забей «косяк», земляк пришел! Сыграй, Серега!..

Играла гитара, ходил «косяк» по кругу, жевали хлеб, глотали кукнар — отвар из головок опийного мака, подпевали блатные куплеты и самодельные русские тексты песен «Битлз», спорили о «Братской ГЭС» Евтушенко и значении слова «карма», играли на деньги в карты, пили вино, целовались с подругами... Проходящие мимо девушки и парни поворачивали к ним, скоро тесно стало им под тентом автобусной остановки.

— Пошли! — сказал Костя и вышел вместе с длинноногой Ритой на середину улицы. Взвизгнул тормозами автомобиль частника, воинственно размахивая руками, выскочил оттуда разъяренный узбек.

— Ах, мать твою в сердце японского городового до пятки бабушки твоей через плечо ядрить! Твой глаз не понимай, красный ходи не надо?

Поставили на крышу автомобиль, положили рядом присмиревшего узбека и дальше пошли. Подходят к ним по пути девчонки и ребята и от нечего делать вместе идут. Не так уж их и много, может, 70—100 рыл, но узки улицы в Средней Азии, сплошные дувалы вдоль них, и скоро стали попадаться первые жертвы.

Нарядная молодая женщина попыталась бежать, она закрывалась зонтиком. Пошли дальше, выплюнув в арыки у дороги изжеванных супругов.

Свернули к озеру, образовавшемуся на месте карьера. Остановились у столовой. Два смуглых узкоглазых парня в плавках покупали пирожки.

— Звери? — спросил Костя.— Как ты думаешь, Серега?

— Чучмеки, сразу видно,— ответил Серик.— Короче, заходим.

Парни стали быстро говорить, что хотя они и не русские, но и не узбеки и не казахи, слава Аллаху: крымские татары они, да и то лишь немножко, а на самом деле нормальные парни они, как и все. Кто пирожки хочет?

— Слышь, а чо вы белого коня Гитлеру подарили? — спросил в лоб Костя.— Кирюша, верно же говорю?

— А чурки они все такие,— сказал Карим.— Вообще-то бить их надо: рожи у них комсомольские, не люблю таких.

— Махмуд, ты грамотный: скажи, за что их выселили из Крыма?

— А я-то здесь при чем, Костя?

— Как Махмуд сказал, так и будет. Бей их!

На берегу разделись и пошли в обхват озера, клещами. Народ взял детей на руки и в воду полез. Топтали оставленную одежду и игрушки, искали врагов. Попались трое: двое бросились в воду, их уже настигли там, а третий — худой и длинный — прорвался и бежал по вспаханному полю. Побежали ему наперерез. «Предупреждаю, я боксер!» — крикнул белобрысый парень и запрыгал на длинных ногах.

Рассмеялся Костя и перешиб пополам голубоглазого ударом в живот.

Рита прибежала последней, Ниси ждал, пока она била бесчувственного боксера комком окаменевшей пашнины.

Пошли дальше, но уже скучно становилось, расходились девчата и парни. Рита пошла с ним, он повел ее к своим друзьям: те пили ворованное шампанское.

— Махмуд, выпить хочешь?

Пили шампанское и целовались, оставалось еще два часа до ареста.

— При чем тут я? — спросил Ниси милиционеров и огляделся: ни Риты, ни друзей его в комнате уже не было.

3. Эскимосник в доме Мюллеров

Богат и либерален инженер герр Мюллер, умна и мила его рыжеволосая жена, с утра до поздней ночи звенит дверной звонок их гостеприимного дома. Константин Мюллер, белокурый задумчивый мальчик пяти лет, бежит открывать дверь вперед всех.

— Слышали новый анекдот? — орет с порога известный своим обжорством поэт.

— Сегодняшний анекдот про канцлера? — зевает Константин, а потом строго сдвигает свои белые брови и говорит: — Дядя, вы не садитесь на унитаз криво, а то мама говорит, что у вас кал такой же гадкий, как и ваши стихи.

Опять звонок: «Слышали новый анекдот?» Это пришел музыкант, имеющий обыкновение надевать свежие рубашки поверх грязных.

— Дядя, утритесь: вы на бороду себе сплюнули. А почему вас мама козлом вонючим называет? Вы безрогий козел, да?

Потом приходит страдающий дезурией террорист, проворовавшийся правозащитник, хромая феминистка, наглый, как бульдозер, бывший узник совести и «прочие мошенники», как любезно сообщает им Константин со слов мамы.

«На здоровье!» — говорят немцы по-русски и чокаются. Как всегда после первой рюмки, герр Мюллер с большим юмором вспоминает, как его учили русскому в бундесвере.

— Как поживаешь, товарищ эскимос? — спрашивает он со смехом по-русски.

— Добро пожаловать в Эскимосию, герр Бундесвер! — отвечает со смехом Ниси.

— Мама, почему «эскимос»? Папа, почему «Эскимосия»? Ниси, тебя в бундесвере научили русскому?

— Нет, Константин, в школе я научился русскому.

— А как ты тогда говорил до школы? На никаком языке?

— Ты прав, старик: на нерусском я говорил до школы.

— Эскимосничал, да? Расскажи, Ниси!

— Хорошо. Но пусть эскимосник начнет папа.

Марксизмом студент Мюллер увлекался и дипломную работу о чистых источниках энергии писал. А на побережье Северного моря тогда видимо-невидимо ветряков стояло: поскрипывают кособокенькие, малокиловаттный ток из морского ветра вырабатывают. Посмотрел Мюллер на это безобразие и закон перехода количества в качество вспомнил. Садится он за расчеты и чертежи, и так хорошо все начертил и вычислил, что его дипломной работе практический ход дали. В общем, снес Мюллер 100 тысяч ветряков и выстроил ветряковину до неба. Ветряковину что надо он выстроил, и под ураганным ветром не шелохнутся ее крылья. А что вы думаете? Герр Мюллер немецкий инженер с марксистским размахом! Да и при чем тут ветер, если крылья ветряковины марксизм крутит? Недаром герр Мюллер рядом с ветряковиной атомную электростанцию выстроил.

Слава Богу, у нас на Южном Урале не так ветрено, как на Северном море, поэтому не строят у нас ветряковин до неба: в земле мы роемся, марксизм кайлим и бомбы им начиняем. Так что ветер нам совсем некстати: выдует марксизм из бомбы той и не мировой буржуазии, а нам же мозги так запорошит, что мясо от костей отвалится. Но однажды задул ветер на Южном Урале...

Это были резиновые чудовища: резиновые балахоны, резиновые противогазы, резиновые перчатки, резиновые сапоги. Поспешно расстреливали лошадей и коров, кошек и собак, поджигали дома, поспешно заталкивали людей в военные машины. Мальчик пытался спрятать щенка за пазухой. Увидел солдат и рукой в резиновой перчатке щенка схватил. Понял щенок, что конец ему пришел, и рванул зубами резину.

— Немедленно дезактивировать руку! — закричал резиновый офицер резиновому солдату. А мальчик схватил щенка и к матери в машину запрыгнул. Стряхнула мать с его стриженой головы белесую пыль и вскрикнула испуганно: «О, Аллах!»

— О, Аллах! О, Аллах!..— восклицали все люди в машине.

Вши лезли из их одежды и голов, прыгали на пол кузова и ползли прочь, щенок ловил лезших из него блох...

— Ниси, щенок был белый? — спросил Константин.

— Да, белый и добрый щенок это был. Но ты не расстраивайся: щенка и мальчика я придумал. Может, это была девочка с котенком. Не все ли равно? И котят с щенками, и девочек с мальчиками — всех припорошило.

— А почему же тогда ты их сразу, как только придумал, не дезактивировал?

— Понимаешь, Константин, дезактивированные девочки и мальчики в школу потом пошли, от родного языка, песен и игр их там отучивали: в «красных и белых», «русских и немцев» играть учили. «Ленин всегда со мной» петь заставляли, тарабарщину из слов «революция», «родина», «партия», «коммунизм» русским языком называли. А один мальчик среди них ни от чего не отучался и ничему не научился: весь урок он сидел разинув рот и все пялил глаза на глобус. Смотрит мальчик на большую белую Гренландию и думает, что крепко ее припорошило южноуральским марксизмом, жалко ему эскимосов и их красивых собак, хочет он в большой белой Гренландии дезактивационную зону создать и маленько зеленой Эскимосией ее назвать. И настал день и перемена,

когда в классе остался он один и срезал зеленый прыщик с восхитительным названием Датское Королевство с отвисшего носа старухи Европы. Он прилепил Датское Королевство в центр Гренландии и улыбнулся, довольный собой и глобусом. Конечно, мальчик получил двойку и кличку «маленький зеленый эскимос», но отцу его в сущности было глубоко наплевать на новые двойки и новые клички своего сына, а вот на Датское Королевство он крепко обиделся, когда получил счет за школьный глобус. В сердцах он сказанул, что это говно, за которое он должен выложить цену трех бутылок водки, он давно уже где-то видел.

— Врешь, папа: у мамки волосатая и черная, совсем на Данию не похоже.

— Не учи отца план по приросту населения выполнять! Если хочешь знать, я все твое Датское Королевство вдоль и поперек перемерил!

Мальчик внимательно посмотрел на отца и задумался.

— Папа, на линейку померяй, надо масштабы сравнить.

Совсем рассердился папа: тройным узлом масштаб свой он завязал и через крышу сельсовета на Южном Урале до самой Японии им махнул, на аудиенцию к императору сводил, развернул да промеж кривых ног учительницы в Москву направил и в очередь к Мавзолею поставил.

— Папа, ты хочешь и с ленин-бабаем то же самое сделать, что и с японским императором?

Константин допытывался у мамы: что сделал с японским императором папа Ниси? Ничего особенного, то же самое, что и с Ленин-бабаем, отвечает фрау Мюллер и спрашивает Ниси:

— Можно, я своего кота маленьким зеленым эскимосом назову?

— Не понял.

А чего тут не понимать? Владимиром Ильичем Лениным назвала я своего кота, и все хорошо было.

— Владимир Ильич, как вы мышиный вопрос решаете? — спрашиваю я его.

— Мыр-р-р, мыр-р-р, всех переловим, всех в норы загоним! — отвечает умница.

А соседки недовольны, жалобы в общества защиты прав животных и человека пишут, меня каждый день клюют.

— Такой интеллигентный кот, и вы его так назвали! — возмущаются одни.

— И этому животному вы дали такое имя! — возмущаются другие.

Надоело мне все это, и переименовала я кота, графом Толстым он у меня стал. Так перестал ловить мышей, мошенник!

— Лев Николаевич, как вы к мышам относитесь? — спрашиваю его.

— Мяу, не ядим мясного мы. Из графьев мы сами, Бога уму-разуму учим.

— А чем же вы кормитесь тогда, ваше сиятельство?

— Анну Каренину под ленина подгоняем, тем и кормимся.

— А кто же мышей ловит?

— Аннушка ловит. Что ей еще делать под лениным?

Под Лениным мыши завелись, да? — спрашивает Константин. А если маленького зеленого эскимоса под Ленина подогнать, кого он будет ловить: мышей или Аннушку?

Эх, старикан, под кого только не подгоняли маленьких зеленых эскимосов! Вот как раз одного из них к доске вызывают, урок ответить требуют

— В Казани он татарин,
в Алма-Ате казах,
В Полтаве украинец
и осетин в горах...—

затрещал он бойко и запнулся.

— Ну, кто он, «и осетин в горах»? — поощряет его учительница.

— И армянин в морях?

— Нет!

— И белорус в облаках?

— Нет!

— Эскимос в ссылке, значит.

— Ну и что? У нас дети за родителей не отвечают, все они в пионерской организации имени Ленина и поэтому стихотворение заканчивается так: «...он девочка, он мальчик, он юный пионер!» Понял теперь?

— Да. Только при чем тут Ленин, если юный пионер двухснастный?

— Ниси, у тебя две писки, да? Покажи! — говорит Константин. Смеется рыжая мать его и просит дальше рассказывать.

А потом неладуха-нескладуха любопытному Ниси на глаза попалась, но не в учебнике русского, а над классной доской буквяки те:

Да будь
я и негром
преклонных годов,
И то б,
без унынья и лени,
Я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал
Ленин.

В. В. Маяковский.

Унылый и ленивый негр преклонных годов тоже из эскимосов, жалко его. Этот Вэ-Вэ-Маяковский хотел сказать, что будь он самой паршивой эскимосской собакой, и то бы Ленин-бабая любил и с энтузиазмом учил бы его язык, чтобы когда-нибудь поговорить с ним об эскимосских делах.

— Однако моржи ушли к Аляске нынче, кого бить будем? — спросил бы старый эскимосский негр, набивая Ленин-бабаю трубку.

— Однако найдем кого бить! — ободрил бы старого эскимосского негра добрый дедушка Ленин.

— А почему твой Ленин всегда такой моржовый? — удивляется Константин.

— Эх, приятель, не беда, что Ленин моржовый, а беда, что эскимос хреновый!

Как оно кончилось-то? По-эскимосски, друг мой Константин, по-эскимосски! И двадцати лет еще за стакан ворованного шампанского не отсидел, как освободили его. И месяца он у своей мамы не пожил, и свыкнуться с крюком в потолке, на котором отец его повесился, не успел, как вызывают его важные эскимосы.

— Плохой ты эскимос, мне сказали,— говорит мудрейший и старейший.

— А где ты видел хороших эскимосов?

— Эх, земляк, среди плохих всегда можно найти тех, кто еще похуже! Иного эскимоса пригласишь присесть на минутку, так он как рассядется, как рассидится!

— На то он и эскимос. А сами где чалились, земляки?

Мнется старейший и мудрейший, о реабилитации что-то мямлит.

— Врешь! — говорит его заместитель.— Это меня реабилитировали, а тебе судимость сняли по давности лет, хотя ты до сих пор воруешь.

— Ша! По сталинбабаевщине тоскуем, товарищ в Японию ядреный?

— Не, мы ленинбабаевщиной теперь больше промышляем.

— Меня ты, сука, промышляешь! Но ты у меня подохнешь в замах! Мой дедушка все-таки к Ленин-бабаю чай пить ходил.

— А Сталин-бабай видел, что твой дедушка и к Троцкому чай пить ходил.

— Это не Сталин-бабай видел, а твой подлый отец!

— Врешь, однако! Первый донос не мой, а твой отец написал, японский городовой детей его в душу разъядри!

Спорят эскимосские начальники, японских богов и городовых свидетелями тянут, просят Ниси рассудить их.

— Дык это самое, оно тово, короче говоря, всяко-разно быть могет, приблизительно, чо-то чаво-то...

— Псс! Ленин-бабай! — задрал вверх указательный палец старейший и мудрейший. Притих и его заместитель, зачарованный великим ленинским Словом на эскимосском языке.

— Ну, что, земляки, уходить мне из Эскимосии, значит?

— Уходи, земляк.

— С Ленин-бабаем в Эскимосии жить будете?

— До последнего эскимоса, земляк, до последнего эскимоса!

Ниси, давай играть, говорит Константин: ты эскимосом будешь, а я Ленин-бабаем, я тебя в Японию ядрить буду.

— Не хочу быть эскимосом, геморрой у меня.

— Ах, как жаль! Тогда ты Ленин-бабай, а мама эскимос. Иди, мама!

Эскимосник продолжается.

Горсть 4

Дубравлаговские зубры

1. На железной дороге

Велика Эскимосия и прекрасна! День едешь и ночь, неделю едешь и месяц, а нет конца Эскимосии.

— Ту-ту-ту-ту-у-у!— гудит паровоз.

— Трак-така-так, трак-така-так!— отсчитывают километры и секунды колеса «столыпина».

О чем не вспомнишь, о чем не подумаешь, на нарах вагонных едучи сидя! А ведь врешь, брат: посади тебя на эти нары, и ты тоже вспоминал бы о сроке полученном и думал бы о том, чтобы в сапог твой кто не нассал. Смотри, брат классик, за окнами Эскимосия! Видишь, дом красивый у дороги? Свечи горят, духами и сигарами пахнет, луна, рояль, Бетховен, часы на камине... И я соврал, брат: нет камина и рояля в этом бараке, а только крюк в потолке, и не Бетховен, а железнодорожник на нем качается, луну пугает, еще не кончился завод карманных часов его.

— Ту-ту-ту-ту-у-у!

— Трак-така-так, трак-така-так, трак-така-так!

Славная осень! А год идет 1970-й, и это последняя пересылка перед Дубравлагом. Во дворе они уже, пересчитывают их, с места на место перегоняют, тасуют, группируют, к этапу готовят. Прощаются товарищи, приветы передают, уж речи бодрые послышались.

— Ничего, товарищи, в феврале соберется партсъезд! Еще есть в партии честные ленинцы!

Посмотрел Ниси на профессора и ошалел совсем от элегантного пальто его и желтых туфель. Не раздели его жулики, уважение оказали, только студентов его обобрали.

— А у нечестных ленинцев ленин честный?— спрашивает Ниси симпатичного студента Ваню.

— Что вы, как можно! Впрочем, не знаю, неомарксисты мы.

— Сколько ему дали?

— Сидору Поликарпычу? Профессору нашему? Три.

— А тебе?

— Семь. Но это ничего не значит! У Сидора Поликарпыча ленин в сердце!

— Так в мешке ведь у него сало, при чем тут ленин?

— Сидор Поликарпыч выдающийся человек! Нет, вы посмотрите на него!

— Орел! Но сало с лениным путать не надо.

Славная осень! Глушить бы этот ядреный воздух стаканами, чтобы забыть про крюк в потолке, чтобы не слышать больше Бетховена и часы на камине!

— Ту-ту-ту-ту-у-у!

— Трак-така-так, трак-така-так, трак-така-так!

Это уже на стыках спецветки Дубравлага: приехали.

— Огонь, огонь!— кричали на станции дети.— Бах-бах-бах!

Они палили из палок и просто из пальцев. Застиранные школьные курточки, на левой стороне — розовощекий и кудрявый ленин, губки ангельские, глазки сахарные, октябрятами детей зовут.

— Папа, вон очкарик спускается, убей его! Бах-бах!

— Шевелись, козел!

Захлебнулся Ниси синим небом, поперхнулся свежим ветром в грудь и прикладом в спину.

2. За уборной

Чудесно спится в карцере днем! Голова — на цементном столбике, зад — на параше, ноги — в прутьях решетчатой двери. А ночью он бил комаров и пел блатные песни. Был май, свистели соловьи, он чесался от комариных укусов, рука его, попав случайно под трусы, надолго там задерживалась, и комары без страха пили кровь его, тотчас хмелея от нее.

Из карцеров выводили на оправку ровно в шесть. Он вылил свою парашу за уборной, поставил ее вверх дном и повалился на буйно вымахавшую от мочи траву у колючей проволоки. Уже солнце стояло выше забора и вопли иволги и треск воробьев на крыше уборной слышнее стали соловьев.

— Карцера-а! По дома-ам!— скомандовал старшина Глинкин.

Его соседи из других карцеров поплевали на экономно нарванные сержантом Глинкиным прямоугольнички «Правды», покрутили ими в волосатых задницах, размазывая остатки кала, и давно ушли. А он лежал за уборной и с интересом слушал, о чем спорят воробей с воробьихой.

— А я тебе говорю чир-чир-чир, чертовка! В уборной гнездо делать? Еще чего-чего-чего?

— Чир-чир-чир! Дур-рачина! Мы с Яшкой...

— Я чир-чир-чир положил на твоего Яшку! Сейчас голодающих приведут, тогда увидишь!

Но воробей ошибся: вывели не голодающих, а кого-то из общей камеры: крепко приспичило человеку с утра пораньше. Ниси заглянул в щель: так и есть, это срака Мурде́ля.

— Слышь, земляк, дай закурить.

— Какой я тебе «земляк»? Между нами три тысячи камэ.

— А что это у тебя на жопе нитка? Нет, ниже, к мудям прилипла. У тебя пальцы в говне уже. Подожди!

Ниси просунул руку в щель и потянул за нитку.

— Что это?

— Рукописи. На свиданку сегодня могут дернуть.

— Слышь, профессор, давай я стихи напишу, затолкаешь заодно, а?

— У тебя своя жопа есть.

— Разве сравнишь? Хули тебе не писать! Слышь, а не выпадает, когда идешь?

— Ты же видишь, я нитки винтообразно накручиваю. Эх, еще подальше надо!

Он выгнул спину и завернул голову, как корова под быком, а указательный палец его вбуравливался все глубже.

— Чир-чир-чир!— заволновался воробей.— Зачем яичко снесла? Зачем-зачем-зачем? Идут уже!

После Мурделя, толкая друг друга, в уборную ворвались голодающие. Они зашарили поспешно под толчками, зашуршали использованными бумажками, зашастали пальцами под толем крыши.

— Чи-иррр, чи-иррр!— заголосила воробьиха.

Тот, что нашел гнездо, глазами зыркнул и бросил яйцо в рот. Мгновенно кинулись все на него, сдавили горло, полезли пальцами в рот, потекло воробьиное яйцо, ловили вязкую струйку на лету и лизали руки.

За уборной стали они разгребать мусор на сетке, что над ямой для слива параш.

— Нашел!— крикнул один.

— Какая сука на это место парашу вылила?— засверкал глазами с седой щетиной на вожака похожий.

Промокла пайка в газетной обертке, не разделишь ее теперь, пока не подсушишь, и стало страшно Ниси, в уборную ему захотелось.

— Братцы, если и завтра утром встретимся, я пайку свою вам вынесу!

Пошла назад ватага голодающих, плотно окружив парашу, понуро свесили клювики воробьи.

— Опять параша «заряженная»,— говорит сержант Глинкин старшине Блинкину.

— Вот еще, буду я в парашу носом лазить! Пусть жрут, тьфу!

Снова слышно, как кто-то тужится в уборной, и Ниси снова смотрит в щель: по прыщатой желтой ягодице татуированная синяя мышь убегает в «норку» от татуированной синей кошки на другой ягодице.

— Привет, Сруля!

Сруля заманипулировал «норкой», безуспешно попытавшись перекусить котяк. У него было маленькое худое и злое лицо, всегда готовые к обиде и слезам круглые глаза и истеричный безгубый рот.

— Ты меня не называй Сруля!— голос его задрожал и начал набирать высоту.— У меня имя есть!

— Сруля, извини, пожалуйста! Как жизнь-то?

— Какая «жизнь»? Все преследуют, все терроризируют, в одиночке покоя нет!.. Постой, я тебе стихи почитаю!

Рукав закатан, закат приближен,
рукав закапан кровавой жижей.
Прикладом в зубы — и губы к трубам:
шагайте, зубры, вперед по трупам!
. . . . . .

— Слышь, у тебя котяк в кальсоны упал. Потряси штаниной! Ага, выпал. Ногу не ушиб? Сруля, а ты и вправду не чувствуешь, когда во сне во двор ходишь?

— А-а-а! Я же не виноват! А-а-а!

3. Перед подъемом

Как всегда перед подъемом, в камере стоял особенно спертый воздух, настоенный на том крепком и остром смраде, что исходит от редко моющихся, редко бывающих на воздухе, мучимых голодными, кошмарными и сексуальными снами людей, питающихся скверной зловонной пищей.

Вот крепко спят его одиннадцать сокамерников. Собственно, спят десять, а страдающий манией преследования Армяк, конечно же, все слышал, и уснет он теперь только тогда, когда Ниси залезет к себе на шконку и захрапит. «У, мразь, опять завел свой трактор!»— успокоенно выругается Армяк и будет спать до тех пор, пока не встанет по надобности еще кто-нибудь. Всякие надобности бывают, думает Армяк, а береженого и Бог бережет.

Над Армяком спит его подельник Кукишка, человек в своем роде уникальный: он отрезал себе левое ухо, кончик языка, треть носа и две трети мужского беспокойства. Будьте осторожны, если Кукишка предложит вам пари, что он за полчаса съест больничную койку: заодно он проглотит ваши шахматы, зубную щетку и ложку! Если вы не очень брезгливы, то можете пощупать и увидеть ваши вещи в кукишкином желудке: он охотно задерет рубашку и покажет покрытый омерзительной розовой пленкой пузырь на животе. Осенью этого года Кукишка послал в Верховный Совет прошение о помиловании: «Исполнилось 60 лет Советской власти, 28 из них сижу не освобождаясь + 13 с передышками до этого, но тоже при Советской власти. Прошу помиловать».

Справа от Ниси лежит политзаключенный Поросенок, он в грамоте силен. Под ним шконка его красивого друга Емельки. Емелька сексуальный партнер Поросенка. У окна спит Ленчик, этот пухлороты мальчик уже умеет убивать..

Крайняя слева шконка принадлежит Ниси. Ниси любит наркотики и влюбляется во всех тюремных фурий, а дружит он с Гошей. Гоша — бродячий администратор, гроза театральных касс Ленинграда, у него шрам а ля Скорцени, Гоша обжора, убийца и педераст. Через шконку от Гоши спит Антихрист, самый симпатичный и веселый мужик в этой камере. Когда он бодро хромает вам навстречу, лучатся глаза его из-под смешного полосатого чепчика, приветливо светятся его желтые зубы, но есть что-то такое в его лучистых глазах и подбородке, что — вовсе не с угрозой, а так, промежду прочим,— напоминает: «Надо будет, зарежу!»

Поп-самозванец отец Ермолай всю стену у своей шконки самодельными крестами и иконками обвесил. По молодости лихой он был, воровские шайки на монастыри наводил, а теперь по архимандритам да патриархам ходит. Покойный патриарх, когда отец Ермолай спросил у него 300 рублей, дал ему только 270. Ну, я тебе морду на тридцатку набью!— говорит отец Ермолай. И что вы думаете? Бьет! Уже на два червонца набил, когда духовная братия пристыдить его попыталась, Богом пугнуть. И Богу морду набить надо, говорит отец Ермолай, чтобы не выдавал ордена ленина русским патриархам.

Вон похрапывает Нога. Поэт он вообще-то, а еще кулаки у него крепкие, Ниси знает это: однажды Нога долго бил его, согласия на половой акт добиваясь.

На шконке под Ниси лежит Писатель, его роман «Гнилые корни» у всех на слуху, но никто еще не читал его. «Мужики сиволапые», говорит он про своих сокамерников, «образовательный ценз какой?», лупит он в лоб майорам. Он пишет для Вечности и каждую новую главу относит Апостолу Вечности майору Шкуркину. Но однажды Поросенок вернулся из карцера и рассказал, что будто бы рукописи Писателя выдают как туалетную бумагу.

— Чо, я твои не знаю? И пишешь неграмотно: «пидарас». Ха-ха! Не «пидарас», а «педераст», запомни! Я все 15 суток читал: голубая муть, бред сивой кобылы. Да и что этот старый козел может написать?

— Врешь, пидарас!— возопиял Писатель и бросился на Поросенка с кулаками.

Через час он зашел в кабинет Шкуркина с пробитой лысиной.

— Федор!— задушевно спросил Апостол Вечности.— Кому ты больше веришь: мне или Поросенку?

Не спится старому писателю, сходил он на парашу и оделся.

— Как ты думаешь, в какой брючине у меня сейчас мошонка: в левой или в правой?

Писатель запустил руки в карманы брюк.

— Понимаешь, до обеда в левой брючине, а после обеда — в правой. Что за система?

— Ша! Замрите, козлы! Счас встану, всем бошки пораскалываю!

Это политзаключенный Забодай-Соловушка, хороший он мужик, но крут в дискуссиях: «Как дам я тебе счас по башке!»,— говорит то и дело Забодай-Соловушка.

Ниси вздохнул и полез на свою шконку, до подъема можно полежать под бушлатом.

Прислала сестра Кукишке 200 граммов табаку в бандероли, и не отдают табак Кукишке, не положено, говорят. Не любит Армяк работать, здоровье слабое у него, так не верят майоры этому, хотя Армяк друг Кукишки. Вот так и началось все это, а там уж пошло!

4. Третья система

Майор Окуркин полусумасшедший, и один глаз у него стеклянный. Пришел к нему Кукишка, доложил, как положено, и сидит на стуле у двери, ждет, когда уйдет сержант Глинкин, что привел его.

— Ну, что у тебя, Кукишка?— и смотрит стеклянным глазом.

— За водкой пришел.

— Что-о?

— За водкой, говорю. По скольку бутылку продаешь?

Кукишка снял левый носок, поставил его на пол и отодрал от подошвы ног рублевку.

— Налей пока на рубль: попробую, не сильно ли разбавил. Жулики вы все, никакого доверия нет. Наливай!

Майор опешил, засигналил его стеклянный глаз.

— Ты с ума сошел, Кукишка? Я сорок...

— Сорок? Сорок, говоришь? Ах ты, козел! На́ тебе! На́ тебе! На́ тебе по сороку́ бутылку!

— А-а-а! Сорок лет честно работаю я! Богом клянусь, никогда не брал 40 рублей за бутылку! А-а-а!

В общем, не стал покупать Кукишка водку у майора Окуркина, назад в камеру он пошел. А что ему, Кукишке? Непьющий он, а табачком балуется, так что пошел майор Окуркин табак искать. А табак искать — не водку по сороку толкать, тут система нужна, системы ж те у всех все разные: у Кукишки — одна система, у майоров — другая, а у Армяка — третья: «ленинской» Армяк ее называет. Но о ней мы за десертом расскажем, о майорской системе сказать теперь время, потому как ленин без майоров, как Кукишка без табака.

Кто сказал, что два майора не уживутся в одной санчасти? А майоры Зубов и Дубов уживаются. Во-первых, в санчасти два окна и у каждого по столу. Во-вторых, у каждого майора свои помогалы: у майора Зубова политзаключенный Мартын, у майора Дубова — белокурый вольный мальчик с круглой попкой. Прием пациентов майоры ведут тоже по-разному.

У майора Дубова простая система: сам он занимается болезнями выше пояса, а у кого что болит ниже, тех он перепоручает своему помогале. А тот и рад: трясет попочкой, хлопочет, все посмотрит, все пощупает, кроме геморроя, что мучает мужика.

Система Зубова старомодна, и сам он престарелый глухой майор. Давно уже испорчен слуховой аппарат его, вот отчего и система.

— Ну, что слышно, Мартын?— орет глухой майор своему сумасшедшему санитару.

Мартын приставил стетоскоп к животу больного и к чему-то заинтересованно прислушивается.

— Как у быка бурчит!— орет Мартын.— Жрать хочет!

— Все ясно. Пишем: субъективно жалуется на кашель, но объективно хочет жрать и здоров как бык. Мартын, ты дай ему все-таки лекарство, не так скоро помрет.

Мартын разламывает таблетку пополам:

— Это вот — от кашля, а это — от живота. Смотри, не перепутай!

Так и жили майоры Зубов и Дубов, но последнего эта исто́рия как-то не коснулась. Да и с чего бы? Не курит майор Дубов.

Сержант Глинкин повел Армяка в санчасть. Молчит Армяк, дует губы и щеки.

— Чего злой? Зубы болят? Ишь ты, как воды в рот набрал.

Армяк вошел в санчасть, молча посмотрел на двух майоров и повернул к столу майора Зубова. Мартын красил зеленкой ногти, старый майор ковырялся в слуховом аппарате, Армяк сидел против него и молчал.

— Мартын, что он говорит? Ничего не говорит?

— М-м-м! — тянется Армяк через стол к майору и пальцем на рот показывает.

— Мартын, что он говорит? Ладно, показывай, что у тебя там.

Хлопнул Армяк обеими руками по щекам, закапало с майорского подбородка, пошло зловоние по комнате, схватил Мартын процедурный таз и ноздри трубами раздул:

— В рроот переворот!

Крепко Мартын рубанул, лихим сомбреро выгнулся таз на голове майора, а Армяк в сторонку отошел. Вновь засветилось в глазах Мартына:

— В рррот мне компот!

Не кулак у Мартына, а молот кузнечный, крутой дугою он пошел, и быть бы бедным Армяку, не пропусти вперед он майора Окуркина: видит Армяк, торопится мужик, табак Кукишкин ищет. А что Армяку табак? Не курит он, и совсем не табак у него во рту был, а солидарность арестантская. Так, во всяком случае, подумал майор Дубов и велел окно открыть. Ему на табак тоже начхать, а солидарность уставом запрещена: каждый сам по себе майор. Кроме того, табаком уже и не пахло.

Армяк, он всегда хитрым был: давай, говном намажемся, говорит он Кукишке, бить не будут.

Пораздевались они, из параши руками черпать стали и по телу размазывать, спины друг другу натирать, спешат друзья: сейчас бить придут! А топ майорский у дверей уже, Глинкин замки открывает. Закричал Кукишка: «Мед в горло Брежневу!», а Армяк еще громче: «Мед в горло ленину!» — кричит. Выскочили они в коридор и кричат, подлецы, всем мед в горло льют. Не хочет их ловить сержант Глинкин, сам лови, товарищ майор, говорит старшина Глинкин.

Вот те и табак! Не верите? А у Армяка с Кукишкой документ имеется: по 15 лет на брата. У нас ведь все говном или приговором кончается и цитатой ленинской завершается. «Чо ты все рыпаешься со своим лениным? При чем тут он?»— спросит обязательно Ниси. А ленин у нас сам по себе, он мед кушает, не с него началось, а с табака.

5. Директор Солнца

Хорошо праздновать со Шпаклеванным День Победы! С утра он чистит зубы и надевает свежую рубашку, а вечером прокопченный чифирбак стоит прямо на столе, под ним мазутная верхонка, второй верхонкой он накрыт, через нее просачивается ароматный пар. Ниси смотрит, как Шпаклеванный разрывает упаковки с желтыми таблетками от кашля, в каждой из которых 0,02 *г* кодеина. «Кашлевыми» их называют наркоманы.

— Слышь, Шпак, дай мне тоже!

— Не будь фраером, Мамед, не спеши.

«Кашлевые» он разбалтывает только в эмалированной кружке, в алюминиевой «реакция» будет, говорит он. А это «шлак», от него цирроз печени бывает, показывает он на осадок от 150 таблеток.

— Дай Бог, чтоб не в последний раз!

Шпаклеванный осеняет себя несуетливым мужицким крестом от лба до пупа и выпивает свою долю. С минуту не дышит он, лопаются глаза его, пухнут губы и щеки.

— У-ух! Хорошо берет! Пыр-р-р! Чо говоришь, Мамед?

Задымились глаза Шпаклеванного, отвисла губа, поет он:

...Так здравствуй, поседевшая любовь моя!
Пусть кружится и падает снежок
на берег Дона,
на ветви клена,
на твой заплаканный платок.

— Мамед, после кодеина хорошо сладкое покушать, где наше повидло?

— У Любки в жопе!

Без половой жизни мужику нельзя, говорит Шпаклеванный, *шишка* завянет.

— Слышь, Шпак, у меня тоже *шишка* есть. Почему повидло покупаю я, а к «Любке» ходишь ты один?

— И ты хочешь? Ну, политики пошли! А еще в очках...

Они делают второй «замес» из таблеток и снова варят чифир, после этого обоих рвет. «Реакция», объясняет Шпаклеванный, пожрать надо.

— Бум-бум-бум! Командир, вызывай зава, черви в каше!

— Так на ужин суп ведь давали!— удивляется надзиратель.— А обед еще когда был!

— Вызывай, тебе говорят! Вены вскрою, голодовку объявлю, говном оболью! Я кашу с обеда специально оставил: генерал приезжает завтра.

— Какой генерал?

— Из КГБ. Короче, завтра все узнаешь.

— Зава, говоришь, надо? Сейчас я его! Червей развел, понимаешь ли!

После блинчиков зава Шпаклеванный и Ниси наперегонки бегали на парашу. «Реакция», сказал Шпаклеванный, новый «замес» надо сделать.

Они делали новые «замесы», варили чифир и все говорили, говорили.

— Мамед, я сейчас Директор Солнца: куда хочу, туда свечу. Помнишь, как в 49-м воровали в Ростове?
— Не помню уже, Шпак, давно было. А ты с тех пор и сидишь?

...Огни Ростова встретили в пути меня,
перрон от снега белым был.
Тебя больную,
совсем седую
наш сын к вагону подводил.

Шпаклеванный умер через пять лет не от цирроза печени: он умер на руках самого красивого педераста в политзоне, обожравшись ха-ароших наркотиков. Дай Бог такую смерть каждому ростовскому жулику!

6. Рождество

Кэгэбист майор Шкуркин уже ждал Шпаклеванного у дверей «сапожки».

— Какие сапоги?— искренне удивился Шпаклеванный.— Не опохмелился еще, что ли? Знаешь, что мне сказал Залупкин?

— Что?

— «Если я еще раз увижу у тебя этого козла...»

— Что-о?

— А что слышал. Залупкин, серьезный мужик: говорит, до партсобрания сапоги буду в сейфе держать.

— Козел Залупкин, пропил сапоги! У него в сейфе мешок пшенки с вашей кухни третий день стоит, никак продать не может.

— А кто ж ее купит? От этой пшенки куры слепнут.

— Я о том и говорю. А где его сапоги? У Судака? Что ты там делал?

— Командир, я под пытками никого не закладывал. Сам видишь, босиком по снегу иду.

Судак поплевал на старый шерстяной носок и наводил лоск на сапоги Залупкина, радуясь, что они ему впору, когда в портняжку зашел Шкуркин.

— Снимай сапоги!

Не любил Судак спорить с майорами, молча разулся он и молча отдал сапоги, а Шкуркин быстрей их в сумку пихать!

— Командир, аккуратнее! Не дай Бог, Залупкин увидит! Дай сюда!

Судак толково сложил сапоги и завернул в газету. Когда он передавал сверток Шкуркину, он выпал у него из рук в большой ящик с портновской рухлядью.

— Что за день такой сегодня? Все из рук падает!

И он наклонился и достал сверток, Шкуркину в руки подал. Сшей женскую душегрейку, Шкуркин говорит, теща давно просит.

— Опять даром?— хмурится Судак.

— Не будешь чужой товар перехватывать!

Спешит майор Шкуркин к зуботехнику Раззубаеву, целую неделю он шкрябал по зубам майора слесарным напильником, соловьем пел: командир, я тебе золотой рот сделаю, век помнить будешь, честное ленинское! Жулик! Полный рот котловой меди, позеленело за ночь «красное золото».

— Что ты мне все о сале? Ты на зубы посмотри! Разве это золото?

— А что ты хотел? Ты посмотри, разве это сало? Морду набить надо за такое сало!

— При чем тут я? Окуркин мне такое продал, куда мне теперь его девать? Дубов к Рождеству кабанчика заколол, хочешь попробовать?

— М-м-м! Это сало, я понимаю! Хочешь, новые коронки поставлю? Смотри, как играет на свету, какой тяжелый! Царской чеканки червонец. А то смотри, как хочешь, ко мне уже Залупкин подъезжает...

Договорились они быстро.

— Ты гляди у меня, Раззубаев, чтобы теперь было золото!

— В рот мне компот, командир! Честное ленинское!

Пошел Шкуркин дальше к жестянщику Акуле, самоварную трубу он для тещи Шкуркина делает.

— Смотри, командир, как красиво получается!

Акула показал на рисунок: солнечная поляна, белая береза, русоволосая девушка с самоваром в руках.

— Я тебе трубу заказал!

— Так самовар вскипел уже! Зачем я буду трубу рисовать? Слышь, командир, мне по ошибке вместо жести кровельное железо выдали, а майор Залупкин уже узнал, подъезжает с чаем, как быть?

Они долго шептались и торговались, Шкуркин несколько раз расстегивал и застегивал сумку.

Долго ли, коротко ли, добрался Шкуркин и до зава, взял у него 10 банок повидла, дал 10 таблеток и в свой кабинет пошел.

Уж было время послеобеденное, обрушилось небо на Дубравлаг, как серая шинель майора, а в стеклянных банках вместо повидла был солидол, из пакета Судака, как две дохлые щуки, ощерились старые зыковские сапоги... Шкуркин сплюнул: и зачем он пробовал «повидло»? ведь по запаху ясно было. А вечер был рождественский, и майор Шкуркин думал о том, что сегодня выпьют все

православные, выпьет майор Залупкин, выпьет и он, прямо сейчас, еще раньше Залупкина! Хорошая у Шкуркина теща, каждый день на работу он с фляжкой браги идет. Да и как, приблизительно сказать, не пить майору в Дубравлаге?

Шкуркин задумчиво гладил рукой небрежно вылепленный из сырого лагерного хлеба фаллос, который он нашел в той самой красивой картонке с ленточками и надписью «Made in Зап. Germany». Вот на эти-то приписанные шариковой ручкой родные буковки *Зап.* и клюнул Шкуркин, а вовсе не на Germany, где он служил три года и ничего хорошего в магазинах не видел.

— Фирма́! Маде не у нас! — шепнул таинственнно Губа, оглядываясь по сторонам.

— «Маде не у нас»! — передразнил Губу Шкуркин.— *Мэди ин Уэст Джормэни* это читается. Неграмотные вы все, политзаключенные называются. Что хочешь?

— Две упаковки «кашлевых».

— По «кашлевым» у меня перерасход. Две упаковки барбамила, идет?

— Лады! — сказал Губа и передал пакет.— Гляди-ко ты, *Мэди ин Уэст Джормэни*, а я и не знал.

Шкуркин рылся в сумке: чай, наркотики, куски хозяйственного мыла, целлофановый мешок селедки, электродвигатель швейной машины...

— Командир, а это тебе зачем? — спросил Губа, показывая на связку казенных трусов.— Купи и у меня!

— Дед Мороз пришел! Дед Мороз! Ур-ра-а! — сбежались политзаключенные к воротам вахты.

Кэгэбист подхватил сумку и побежал под свист и гогот.

7. Командировка

Кэгэбист майор Шкуркин обладает дальнозоркостью, политзаключенный Кузя страдает близорукостью. Разные они люди, как плюс и минус в оптике. Да и что общего может быть у Кузи со Шкуркиным?

Кузя — известный политзаключенный, ему письма из Новой Зеландии ходят, его в Одессе знают, а сам он йогой раскумаривается, когда уж нечем больше. Стоит он на голове час, стоит два — нет, не проходит «кумар». Он ноздрю тогда зажимает мизинцем и на одной ноге стоит: час стоит, два стоит — нет, надо идти к майору Шкуркину!

— Фирменный джинсовый костюм могу достать,— говорит Кузя промежду прочим и щурится.

— За заварку чая?

— Нет, за пять кил.

— Ого!

Деловой, думает Шкуркин, начиная проникаться доверием, заварки не сшибает.

— Фирма́, командир.

И снова щурится Кузя. В Новой Зеландии зима теперь, говорит он, там все наоборот. Кузя, он не любит много говорить, он щурится больше.

Назвал Шкуркин Кузю Кузьмой Петровичем, дал чаю ему на заварку и таблеток на «замес», перевел Кузя Шкуркину записку с русского на новозеландский: так и так, мол, выдать майору фирменный костюм, Кузя к сему руку приложил. Кузе верить можно, он языки знает.

В общем, выхлопотал Шкуркин командировку в Москву. Чернобородые дядьки вы́кают, свежие рубашки на них. У Кузи все друзья деловые.

— Значит, фирменный хотите, товарищ майор? — говорит тот, чья борода гуще и чернее, чем у остальных.

— Так точно!

— На себя оденете или в сумке понесете?

— Так точно, и трусы фирменные по возможности желаем!

Разделся майор Шкуркин догола и ждет, когда принесут ему *фирму*. Смотрит, чернобородый ведро высокое заносит, а в ведре прутья березовые мокнут. Очки, пожалуйста, товарищ майор, наденьте, другой чернобородый говорит, ту записку на новозеландском вежливо под нос тычет. Глянул майор в очках и ахнул: новозеландцы-то, оказывается, русскими буквами пишут!

— Подлец Кузя!

— Вы правы, товарищ майор, но ведь написано: «...и непременно высечь!»

8. Генеральские уши

Болит голова у Шпаклеванного в понедельник утром! Он был уже у Судака в портняжке, но Судак сам перетянул голову мокрым полотенцем. Заходит он к Кузе в слесарку: тот стоит на голове.

— Кузя, голова болит...

— Ты думаешь, если бы у меня болела жопа, стоял бы я на голове?

Пошел Шпаклеванный в швейку. Гербер за машинкой пьет чай с медом: не лицо, а теорема о средней линии трапеции, жирный сок гулко бродит в бочкообразном теле.

— Гербер, голова болит...

— Пшел вон, шакал!

Отвисла нижняя губа у Шпаклеванного, как у зазря обиженной старой кобылы, смотрит он на волосатые руки Гербера, и взяло его любопытство, когда ножницы рядом увидел.

— Ты ему ножницами подстриг уши?

— Кому? Елдыкину? Гы-ы-ы! Какие ножницы? «Мойка» у меня была, а ею разве обрежешь? Визжит генерал, как поросенок! Так я ему надрезал сверху и дернул. Аккуратно отодрал!

Вернулся Шпаклеванный в «сапожку» и плашмя на верстаке лежит, стонет жалобно. Заходит Залупкин к нему.

— А у меня есть кое-что! — майор Залупкин хлопнул по карману шинели и хихикнул.

— Покажи.

— Нет, сначала сапоги мои покажи!

— Пошел ты тогда в баню!

В баню идти неблизко, о многом подумаешь, пока дойдешь. Не полагается политзаключенному начальника лагеря в такую рань в баню посылать, но то-то и оно, что венички для бани наломал майор Шкуркин. Ничего, мы еще посмотрим, кто кого первый скушает, такой же майор! — думает Залупкин и достает из кармана пол-литровую бутылку микстуры Павлова.

— «Павлуша»! На кодеине! — вскочил на ноги Шпаклеванный.

— Сначала сапоги!

— С этого и начинал бы, чего говно жевать?

Не спуская глаз с «Павлуши», Шпаклеванный мгновение напряженно думал, а потом кинулся в «козлодерку». В этой комнатушке без окон хранился сапожный хлам, и именно там кормил он своих «любок» повидлом.

Шпаклеванный вышел из козлодерки, держа за спиной новые хромовые сапоги. Отличная работа, и хотя на задники не хватило кожи, в них посуху очень даже можно походить. А что, Залупкину не клюкву на болоте собирать, ревматизм у него, только водка помогает, так что войлочные подошвы тут ни при чем, лично Шпаклеванному от головной боли «Павлуша» больше помогает, чем кирзовые голенища.

— Шкуркину шил...

Волчья радость в глазах Залупкина, затряслись руки его:

— Давай!

— Сначала «Павлушу»!

— Тогда из рук в руки! Раз, два, три!..

Залупкин засунул сапоги под шинель и выбежал из сапожки.

Едва Шпаклеванный успел выхлебать «Павлушу», как за ним пришел сержант Глинкин.

— К майору Дубову! — ответил он Шпаклеванному довольно неприветливо и сплюнул.

Сегодня утром Глинкин обыск в одиночной камере производил, фонарем в парашу светить стал, голову к отверстию нагнул, а Подсвинский и толкни его в зад! И еще толкает, стервец, подождет немного и еще подтолкнет, тьфу!

— Здравия желаю, товарищ генерал Елдырин! – козырнул и щелкнул каблуками бравый сапожник, обращаясь к политзаключенному с обрезанными ушами и отвисшей челюстью.

Генерал Елдырин сидел на стуле в полуспущенных брюках, а белокурый вольный мальчик стоял перед ним на коленях: левой рукой он придерживал за напружиненный стержень детородный орган генерала, а правой рисовал на его головке зеленые и красные круги йодом и зеленкой попеременно.

— Здорово, Коля! — зашевелил своей страшной челюстью генерал Елдырин.

У него все «Коли» были, он мышей живьем ел. Поймает мышь политзаключенный — к Елдырину идет, поймает мышь майор — Елдырину несет, а тут и другие майоры и политзаключенные подойдут: кусает мышь язык Елдырина, пищит вовсю, но ходит челюсть генерала, и вот уж кровь со слизью на губах его. Судорогой сводит челюсть генерала, когда желчный пузырь мыши лопается, рвется и падает на землю изжеванная мышь.

— Я спрашиваю, где мои сапоги? — уже орал Дубов.

— Вот они, на ногах.

— Покажи подошвы! Нет, не мои. Все равно, снимай!

— Ты чо, командир? Это сапоги Окуркина. Вчера он спрашивает меня, мол, у тебя, гражданин заключенный, складываются отношения, приблизительно, с майором Дубовым?

— А ты ему чо?

— А я чо? Я нечо! Если бить зачнете, гражданин майор, говорю я ему, то все расскажу.

— Что ты расскажешь? — взвивается Окуркин.— Нет, ты скажи: что ты расскажешь?

— Смотря как бить будут. Разрешите идти, товарищ генерал!

Генерал Елдырин не услышал: конец его детородного органа плевался и пачкал халат нарочито визжащего фельдшера.

9. Шахматная школа

Чахоточный Граф — чифирист и антисемит. Не водится у него своего чая и таблеток, болеет Граф, ломает ему кости «кумар», катком асфальтным прет по мозговым извилинам, два дня бедняга в уборной не был...

— Вот жиды!.. Вот жиды!..— вскрикивает время от времени Граф и хватается за голову.

— Морда, а, Морда! Заварим, может? — предлагает Судак.

Морда весело рвет очередной том из ПСС ленина.

— Просраться не можете, ваше сиятельство? Дымоход прочистить, надо, гы-ы-ы!

Умные «дрова» у Морды! Горит бумага синим пламенем, нет дыма от нее и запаха, пепел осыпается сам и аккуратно ложится на жестяную лопаточку. Вскипятив воду, Морда засыпает чай и плавными полукружиями водит чифирбак над огнем, поднимая чайную шапку ровно три раза. Когда пар и желтая пена прорывают шапку чая, по камере идет восхитительный густой аромат.

— Вот жиды!..— Граф сглатывает и закутывает голову бушлатом.

— Слышь, Морда, в «крытой» мы тоже пробовали на ленине чифир варить, так коптил, гад, вонял на всю тюрьму А у тебя умный ленин.

— Судак, ты, наверно, на сталинском ленине варил, на пихте да елке он его печатал, а у меня новый ленин — тряпочный.

— Почему тряпочный? — рыпается, как всегда, дед Криворыленко.— Не кукла, поди. Из чугуна их варят, сынок, чугунный ширпотреб государству способнее: что чугунок отлить, что ленина.

Чай запарился, Морда сливает его из чифирбака в чистую кружку.

— Иди, Внучок, глотнешь с нами! — зовет он Ниси.

Судак достает пробирочку с таблетками ноксирона: «гусиными лапками» их называют ласково наркоманы.

— Давай, закатим по парочке с горячим чифиром.

— Судак, хули там по парочке? Ни в голове, ни в жопе!

Ниси растягивает удовольствие, выпивает по одной «гусиной лапке» на каждом кругу кружки с чифиром. Мерзок вкус разжеванных таблеток, скручивает скулы чифир, но через минуту у всех светлеет в глазах: не было вчерашних обид друг к другу, еще целая вечность до абсурда завтра, жизнь прекрасна сейчас, и хочется прямо сейчас, не сходя с места, осчастливить еще кого-нибудь.

— Граф! — ласково говорит Судак, и рыбьи глаза его обезвоживаются.— На пару таблеточек, садись к нам!

Порозовел Граф, сапоги обул, по камере пролетку бьет, приблатненному белогвардейскому полковнику из фильма подражает.

— Ты, Судак, дай еще таблеточку! Нет, говоришь? Ну жиды, ну порода ленинская!

— Ты думаешь, ленин евреем был? — спрашивает Ниси.

— И Судак тоже жид: не мочки, а сучьи сосочки; скажи, Морда?

— Иди, Внучок, в шахматы посидим! — зовет Морда.

Сидит Судак, скрестив ноги на подушке, отвисла его челюсть, растеклись глаза, хорошо ему! А рядом с ним дед Криворыленко, ему тоже неплохо.

— Говоришь, из говна гнать можно?

— Самый крепкий самогон из говна. Ты летом посмотри, что делается в уборной: как живое шевелится, пузырями идет. В нем дух без сахара бродит, потому как в говне всегда сладость есть. Ты попробуй как-нибудь, сынок.

— Сам ты пробовал?

— Всяко было в колхозе. Морда, сынок, это ты «шипуна» подпустил?

«Черт лысый! — чертыхается Граф. Он стоит у параши и обеими руками ищет что-то в своих полосатых брюках.— Ага, попался, еврей!»

Выигрывает Морда у Ниси, руки трет нетерпеливо, гыгыкает.

— Мат! Лезь под стол!

Ниси встает на карачки и пролезает под стол.

— Тук-тук-тук! — стучит он снизу в крышку стола.

— Кто там? — спрашивает Морда.

— Это я, мудила с Нижнего Тагила.

— Какого хера надо?

— Алексей Иваныч, научите меня, пожалуйста, в шахматы играть!

10. В комнате с портретами

Конвой сдавал его дело охране зыковской больницы, сопровождавшая его медсестра сдавала его медкарту дежурному врачу, а о нем самом как-то забыли. Развели по отделениям всех взрослых больных, остался один Ниси и кучка замерзших малолеток: больные пацаны щебетали, как воробьи, и жались друг к другу.

— Пошли, жулики! — крикнул малолеткам дубак.— А ты, сучонок, чего стоишь?

— Я не малолетка, я взрослый,— обиделся Ниси, но голос подлым образом подвел его, сорвавшись в молодой петушиный крик.

— Хи-хи-хи, хо-хо-хо, гы-гы-гы! — залупились малолетки, взрослые санитары-заключенные и дубаки. Особенно унижал его искренний детский смех.

— Не подымай хвост, сучонок! — пнул его дубак в сторону выстроенных по два малолеток.

В груди у него сидела огромная жаба, покрытая гнойными бородавками, сердце его плавало в густом желтом гное. Когда жаба начинала бултыхаться в своем гнойном болоте, он бредил и женские имена шептал.

От пинка он упал, бултыхнулась жаба в груди, и зашевелил он ртом, ловя воздух.

— Взрослый ты, однако!

На пришедшего в себя Ниси были устремлены девять глаз: явно заинтересованные и неявно сочувствующие очки эскимосского майора, свойский ленинский прищур, холодеющий пепел глаз Дзержинского, два тусклых плевка под величественными бровями и почему-то в эту компанию попал фельдмаршал Кутузов.

— *Эскимос ты, однако!* — следовало понимать удивление майора. Но крепко обиделся он тут же: — Позоришь эскимосов, в тюрьме сидишь.

— Не я один позорю,— Ниси кивнул на портреты.

— Ты на Кутузова бочку не кати!

— Не знаю, но все говорят, что *«не даром Москва французу отдана»*. С чего он тогда весь в орденах, как член Союза писателей?

— Будет врать-то! Не генералы они, поди, чтобы ордена получать.

— И-и, земляк, маршала среди них нынче пошли!

— А на какой, приблизительно сказать, ниве богатырствуют они?

— Подписывают, приписывают, расписывают. Тем и перебиваются: от доноса до орденоносца, от сталинской до ленинской, от вора до майора.

— Майоры, в основном, значит?

— Не говори, земляк, прям серый легион, страх аж берет, как зачнут по команде шаг печатать! И все левой, левой ногой приударяют.

— У них что, правые ноги ампутированы?

— Не, на плечо они правые ноги по команде берут. А как кто попутает левую с правой, так того эт самое, сам знаешь...

— Сажают?

— Да, сажают людей, а вырастают майоры.

— Сынок, у меня дети старше твоего отца. Нехорошо!

— А почему я позорю эскимосов? Приблизительно, Ленин-бабай...

— Ох-хо-хо! — зевнул майор.— Ленин-бабай хотел, чтобы он был последним заключенным, чтобы после него совсем тюрем не стало.

— Ни одной тюрьмы? Даешь ты, земляк! Ни эскимосам посидеть, ни майорам поработать!

Побагровел майор, заерзал задницей по стулу, запрыгали очки на маленьком носу.

— По какому праву старших оскорбляешь? У них научился? Я и в майорах эскимосом живу, понял? У меня бы — ух!..

В комнату зашел наряд надзирателей.

— Знаешь, где я видел твоего...— заорал майор по-русски, делая бешеные глаза,— твоего Барклая де Толли?

— Чего членом груши околачиваем? — орал он уже на надзирателей.— Увести его в отделение! Да смотрите мне, аккуратнее! Больной он.

— *Эскимос он* — следовало понимать майора.

11. Черная бабочка

Умирала кошка Катька, третий день она натужно кашляла, прикрывая лапками рот. Так кашляют грудные дети.

— Ваня, а ты каждую ночь дрочишь?

Студент Ваня-марксист покраснел. Ему столько же лет, как и Ниси, но у него, кажется, скоротечка.

— Как ты мог так подумать? Совсем нет!

— Врешь, Ваня.

Ваня вспыхнул маковым цветом и закашлялся.

— Ты почему сглатываешь откашленное? Ваня, это опасно. Где твоя «плевка»?

— Не могу я с плевкой, противно пузырек с плевками в кармане носить. Старик, ночью опять салазки скрипели у нашего корпуса, это дуборез был?

— За Витькой приезжал.

— Старик, а почему весной только молодые умирают?

— Слышь, Ваня, я давно Людку не видел.

— Пойдем вместе? Старик, пожалуйста!

— Нет, Ваня. Ты не убежишь от ментов. Помоги вылезти!

Как есть — босиком, в кальсонах и нательной рубашке — он полез в квадрат кормушки в двери, а Ваня придерживал его за ноги и пихал в зад.

— Подай трубу. Чего ты к батарее пошел? Смотровую трубу! Ну, я побежал! Кури меньше, Ваня!

— Старик, постой! Извини, пожалуйста, но ты ведь мне друг? Да?

— Ваня, мне же бежать надо, пока ментов нет!

— Нет, постой! Скажи, а у тебя с Людой ничего не было? Правда же?

— Даешь ты, Ваня! Через запретку? Я же не марксист.

— Брось ты, старик, какой я теперь марксист? У меня кровь в мокроте третий день... Постой, скажи Люде, что я доживу до соловьев!

Под лагерной робой еще трогательнее и желаннее было ее тело. Густые, как сироп, глаза и губы, что гроздья свежезасахаренной малины. Горят щеки чахоточной воровки Люды, перепутал ветер рыжую бороду мартовского солнца с ее волосами, сидит она, подстелив бушлат, на крыше уборной в женской зоне, а Ниси с крыши уборной в мужской зоне смотровую трубу из осколков очковых линз на нее наводит.

— Пирожок не отморозь, милая! — ласково орет он.

— Хи-хи!

— Любишь меня?

— Конечно, хи-хи! Посылку когда получаешь?

— Люда, вот если бы у меня от уборной до уборной был!

— И еще 25 сантиметров, хи-хи!

— Сколько?..

Он не упал с крыши: его стянула крепкая рука.

— Зайдем в уборную, поговорить надо! — пригласил парень.

Через минуту он сам залез на крышу уборной.

— Привет, Люда! Помнишь меня?

— Конечно, хи-хи! Посылку еще не получил?

Ниси утер разбитый нос и с горечью подбирал осколки от очков. Насрато было густо, некуда поставить босые ноги. Политзаключенные называются, шмыгал он носом, выковыривая стеклышки из загустевшего от холода кала. Вот это кто-то «родил»! — восхитился он,— потолще моей ноги будет. Интересно, у них в женской уборной эти штуковины тоньше или еще толще?

Было слышно, как по-голубиному ворковал парень на крыше и как хихикала Люда. А про Ваню даже не спросила, вспомнил Ниси, и так грустно ему стало от беззаботного молодого смеха Люды, что он подумал о *ней*.

Она ходила, как уточка, и на каждом шагу лениво взмахивала крыльями-ресницами черная бабочка на ее сонном белом лице. В марте чахоточных мальчишек это сводит с ума, потому что каждый третий из них умрет в апреле, когда, вытянувшись на сухих лапках и трепеща крыльями, поют скворцы, и лишь те, кто доживет до соловьев, будут жить и дальше. Без нее задыхались ее мальчики, без нее умирали они до соловьев, но она была не только фтизиатром, но и психиатром, не только дерматологом, но и гинекологом, поэтому и сидела она весь день на больничной кухне.

Хрустело мартовское утро, тенькали синички, замелькали меж котлов кальсоны Ниси.

— Катька умирает, заразилась...

Она неторопливо облизала ложку и ткнула ею в кнопку под крышкой стола, бабочка лениво качнула черными крыльями.

12. Весенний ветер

В Дубравлаге комаров еще больше, чем соловьев и майоров, грызут они майорских дочерей, и зуд идет у них по телу. Всю ночь слышен майорский топ и зык, всю ночь стоит соловьиный щёлк и комариный писк, не спит дочь майора Залупкина, не спит Ниси: оба хлопают одних и тех же комаров, оба слушают одних и тех же соловьев.

Вогнулась внутрь земля там, где разлегся Дубравлаг: березняк да болота, осины да осока, паровозные гудки да выстрелы.

— Бах! Ба-ба-бах!

Это солдат-первогодок на вышке целует дуло своего автомата, это майоры добивают косулю, это у детей в школе урок военной подготовки: палят девочки и мальчики в фанерную фигуру в арестантском чепчике, громко радуются новым дыркам.

— Ту-ту-ту-ту-у-у!

— Трак-така-так, трак-така-так, трак-така-так!

Везут московских девчонок и рязанских старух, в одном штабеле на нарах беременные с блатнячками. Долго их уже везут, смрад идет из их «купе», мат и смех, плач и песни, а молодая воровка трет суконной тряпкой зубы и губы красит, на оправку просится: пройти мимо единственного в столыпине мужского «купе» она хочет. Стоит у решетки девчушка, с мужиками шутит, хихикает, в плевку поплевывает, горят глаза ее и щеки...

Чу! Снова гудок, еще выстрел! Нет, то не женщин паровоз назад повез, а верхонки, ими сшитые, то не беглеца солдат убил, а пристрелил майор незаконную зыковскую кошку. И снова тихо в Дубравлаге.

Но и в Дубравлаг приходит весна и майорская дочь расстегивает пальто, впуская в разгоряченные груди озябшие руки мартовского ветра. А воробей Яшка с подъема чистится и пробует голос: всю зиму он прожил в камере, прокоптились его перья и горло.

— Чыр-р, чур-р, чир-р...— репетирует он над ухом Пети.
— Ну, чо надо? Кыш!
— Дрочи-дрочи-дрочи! — извиняется Яшка и садится на подушку Ниси.— Чик-чирик, с днем рождения! Чифирни, чифирни!
— Болею я, Яшка, дышать не могу.
— Кричи врача, кричи врача! — всполошился Яшка.
За завтраком Яшка хулиганит: он смахнул крыльями насыпанные крошки, расклевал самокрутку Шпаклеванного и нагадил Пете в миску с кашей.
— Всегда в мою миску насрать старается, блядина! — ворчит Петя.— Яшка, почему ты меня не уважаешь?
А Яшка полетел к форточке и застучал клювом в стекло:
— Тук-тук-тук-тук! Открывай, командир, срок кончился!
Петя открыл форточку. Яшка вылетел не сразу: он сел на ладонь Пете и потерся клювом о его мозоли. Петя одним пальцем погладил ему спинку, а Яшка от избытка чувств дернул хвостиком и уронил на ладонь теплую каплю.
— Привет Ростову! — крикнул Шпаклеванный.— Долети до Дона!
Петя смотрел на каплю на ладони, а в лицо ему из форточки летела ледяная сечка.

Задули ветры в Дубравлаге, раздувая жар в груди чахоточных девчонок и мальчишек, не доживут до соловьев воровка Люда и марксист Ваня, не им, а дочери майора Залупкина и Ниси будут петь соловьи. Стоит он, раскрыв рот ветру, у ворот вахты и ждет свидания. Дует ветер ему в рот, лезет под рубашку, шарит в кальсонах, ищет поры в коже и поит его.

— Тетя Феня, я помогу тебе! — кричит майорская дочка и бросает портфель на снег.— Куда ты воду носишь?
— Зыкам в их комнаты свиданий. Воду им ношу да дрова. Спасибо, дочка, и впрямь тяжело мне одной.
— Комнаты свиданий? Им зычек туда приводят, тетя Феня?
— Эх, девка, всякий-разный народ тут сидит и всяки-разны к ним ездют, а все они не любят нас. Что после школы делать собралась?
— Уеду я, тетя Феня, сразу.
— И то правда, доченька, уезжай отсюда. Господи, страсть-то какая!
Ниси медленно шел по коридору, чтобы взять ведра с водой. Девушка жадно смотрела на него: синюшное лицо, смешные уши на стриженой голове.
— Нет, вы больны, я сама занесу ведро!
Они несли ведро вдвоем до самой кухни, и девушка чувствовала смрад от одежды Ниси.
— А я у Куприна прочитала, что комнаты свиданий в бардаках бывают.
Ниси дышал, как рыба, и молчал. Ее толстенькие ноги были в валенках, школьный фартук слишком тесен для ее грудей, от нее пахло снегом и ветром.
— Вы любите Есенина? Я тоже. А моя самая любимая книга — «Джамиля». Я обалдела, когда первый раз прочитала. Вы тоже?
Ведро было большим и тяжелым, когда они его ставили на стол, их руки перекрестились. Оба мгновенно убрали руки за спины и сделали по шагу назад: в дверях стоял майор и насмешливо улыбался. Девушка покраснела и снова почувствовала острый тюремный смрад.
— Ты предатель! — крикнула она с невесть откуда взявшейся злостью.
— А ты Залупкина! — ответил Ниси, подхваченный тем же вихрем.
У девушки брызнули слезы, она побежала к дверям вахты.

1989—1990. Гамбург.

Анонс

Начиная с № 7 «Искусство кино» печатает новое произведение АЛЕКСАНДРА КАБАКОВА — политический триллер «СОЧИНИТЕЛЬ».

Григорий Рошаль

Рассказы о годах

В домашнем архиве известного режиссера Григория Львовича Рошаля (1898—1983) — постановщика фильмов «Петербургская ночь» (1934), «Дело Артамоновых» (1941), «Вольница» (1956), «Хождение по мукам» (1957—1959) и других — сохранилось много его рассказов, написанных в жанре автобиографической прозы, в которых он вспоминает о прожитой жизни, о работе — о годах... Некоторые из этих рассказов мы предлагаем вниманию наших читателей.

Дорогой Вере Павловне Строевой,
моей жене и другу всей моей жизни,
с любовью и безграничным уважением
посвящаю

Сегодня пушистый зимний день. На крышах, на деревьях, на дворах и улицах снег кажется особенно чистым. Еще вчера слякоть осени старила и грязнила город.

О, этот первый чистый, еще незапятнанный снег, когда звуки делаются ласковей и тише, когда природа празднует первое дыхание морозов.

Мне всегда такие зимние дни напоминают когда-то в детстве виденную свадьбу. Невеста со свечой в руке стоит в белой фате под балдахином. Глаза ее светятся, чуть дрожат ее пальцы. И течет белизна ее платья в ночь, овевая и гостей, и грязь местечковой улицы, и усталую печаль сердобольных старцев, всегда суетливых, а сейчас торжественных и ласковых, одетых белизною.

Зимний день проходит в сумерки со свечами только что зажегшихся огней, как воспоминание моего детства.

Тишина... Вечер... Куда-то далеко уплывают и шум города, и гудки авто, и сутолока афиш, и честолюбие повседневных тревог — мелкий счет жизни.

Я выключил радио. В безбрежных мировых просторах, над белизною снегов, не хочется слышать лающий человеческий голос.

Белый день. По целине снегов я прохожу осторожно в далекие дни моего детства.

Да, надо об этом писать. И совсем не потому надо писать, что необыкновенны идущие мне навстречу воспоминания, а потому, что все чаще и чаще пепел детских лет стучится в мое сердце.

Пройдет зима, протекут потоки веселых вод, яркими пятнами побежит по земле солнце — и вот уже ничего не осталось и от белого снега, и от голубых сумерек, и от ребят на катке, и от бабы с угольками глаз и метлою в снежной ручище.

Так друг за другом катятся дела и дни людей. Но, уходя, не угасают никогда.

Друг через друга просачиваются года моей жизни, друг через друга просвечивают века жизни людей на земле, миллионолетия миров.

Велосипед

Окружив себя оравой голоногих ребят, с гордостью демонстрирую подаренный мне трехколесный велосипед со звонком.

Трехколесный велосипед!!! О, я никогда не променяю его на эти деловые двухколесные приспособления для езды, которые сейчас предлагаются детям.

Скажите, пожалуйста, можно ли на двухколесном велосипеде, поставив сзади двух приятелей, везти их, не употребляя никаких усилий для сохранения собственной персоны, в состоянии равновесия и уверенности?

Скажите, можно ли на двухколесном велосипеде увезти пять человек разом: тащить их на веревке, впрягаясь подобно гнедой паре Прохора Ивановича!

Поверьте, эту радость может доставить только трехколесный велосипед! Именно эта радость — первое мое воспоминание о детстве.

Как это ни странно, из туманных и неясных очертаний моего детства первым резким штрихом возникает в памяти этот солнечный сине-золотой день и коза, жующая ветви у забора Ефросиньи.

Небо синее. На небе две едва уловимые тучки. Как два клочка шерсти, выпавших из бока вон той козы, стоящей у старого перекошенного забора. Схватил эти клочки ветер и кружит, несет, и взлетели они в самую синеву, далекую и горячую синеву летнего дня...

На улице пыльно. Эту пыль вскидывают поднимающиеся от стен домов ветерки. Они дуют со всех сторон.

Кружится пыль. Вихрится пыль, с легким посвистом убегая вдоль улиц.

Жарко... Около торговых рядов сутолока и шум. Пахнет дегтем. Пахнет селедкой. Пахнет кожей. Висят сыромятные ремни у лавки Прохора Ивановича. Неторопливые люди деловито подбирают сбрую, торгуются, хлопают друг друга по рукам и чему-то громко смеются.

Торговые ряды на возвышении. Они под деревянной аркадой. К ним ведут несколько ступенек. На ступеньках я и мой приятель Степа.

Дегтярная вонь торговых рядов, щелканье бичей, скрип колес, базар и — мы у драгоценных источников радости: у трехколесного велосипеда.

Мы все ездили по очереди, мы толкали друг друга. Несмотря на сущь, грязь базара была непобедима, даже в эту жарынь колеса велосипеда с трудом вытаскивались из нее.

На мне была широкополая соломенная шляпа, и эту шляпу пришлось после буйства нашей езды выбросить — мы проехали по ней раз пять. Ее остатки были употреблены на украшение всей нашей компании.

Ясно помню дочку Ефросиньи Дуню, которая была немногим старше нас, но выглядела хрупкой, слабенькой и чем-то отличалась от всех окружающих. Уже тогда, очевидно, она вносила в наше в основном мужское общество прелесть и обаяние своего пола. Когда она садилась на велосипед, мы впрягались со Степой вдвоем; она не вертела педали, она сидела боком. Светлые, как золото, волосы окружали возбужденное и в то же время смущенное лицо ее, ручками она судорожно держалась за руль. Она даже не звонила в звонок — она целиком отдавалась радости езды.

Мы гарцевали, стараясь перещеголять друг друга. Люди на базаре и люди, выходящие из домов Слободской улицы, по которой мы мчались галопом, оглядывались на нас.

И вдруг... на крутом повороте...

У палисадника, окружавшего памятник Александру Второму, у палисадника, где цвели душистые цветы, заднее колесо нашего велосипеда задело за столб. Дуня упала и ударилась головой о железную изгородь. Она не плакала — она лежала бледная, и чуть-чуть вздрагивали ее веки.

Степа был старше меня на год, это был крепкий парень, он знал, как нужно поступать в тяжелую минуту. Прежде всего это событие, по его мнению, не требовало огласки — нужно было только позвать Дуниного брата, дружившего со Степой приказчика из лавки Прохора Ивановича, парнишку лет четырнадцати — и он мигом все уладит.

Степа уже готов был броситься за ним, но в это время из нашего дома (а мы жили как раз напротив палисадника) вышла моя няня. Она, очевидно, из окна наблюдала за нами. Встревоженная, она перебежала через улицу и, наклонившись над лежащей девочкой, стала быстро-быстро креститься, что-то ворча про себя. В каждом ее жесте, и в лице ее, и в глазах мы почувствовали такое волнение, такую тревогу, что от нашей радости не осталось и следа. Она схватила Дуню на руки и быстро побежала. Я за ней. Я даже забыл о нашем трехколесном велосипеде, но потом Степа, подняв его и брошенную веревку, уныло поплелся следом.

Няня принесла Дуню к аптеке дяди Израиля. По дороге к нам уже присоединились несколько человек. Они расспрашивали няню, они бросали свои дела и шли за нею.

И вот из-за поворота навстречу нам выбежала мать Дуни — Ефросинья. Я много раз в жизни был с глазу на глаз со страхом, но я никогда не был так испуган, как в эту страшную, на всю жизнь оставшуюся в памяти минуту.

Ефросинья, очевидно, только что стирала белье. Рукава ее разодранной блузки были закатаны, блузка была расстегнута, видны были ничем не прикрытые груди, которые почему-то показались мне живущими своей самостоятельной жизнью. Юбка была подоткнута. Ефросинья была толста и криклива. Она схватила мое ухо, и мне показалось, что небо опрокинулось на меня всей своею тяжестью и вся жара, скрытая в его недрах, была вылита на мою голову.

Я заорал мертвым ревом. Она не выпускала моего уха. Она меня тянула, приговаривая:

— Нехай Сроель побачит, яка у него зараза... растет... Ось вин тебе ноги повыдирает...

И только потом, бросив меня, она кинулась к дочери и стала голосить над ней, вырвав ее из рук няни и внеся в аптеку.

Я не смел подняться следом за ними. У аптеки стояли возы приехавших мужиков, которых дядя Израиль снабжал лекарствами, лечил и был жизненным руководителем во всех как мелких, так и больших вопросах жизни.

Я залез на один из этих возов. Это был воз Наума, няниного брата. Я прикрылся овчиной, которую всегда возил с собой постоянно мерзнущий, больной ревматизмом Наум Медведев. Я слышал шум, раздававшийся из аптеки. Я видел велосипед, брошенный Степой у ступенек. Я глядел в бездонную глубину застывшего неба. Я старался не плакать, но ухо горело, и все тело дрожало, как в лихорадке... Конь лениво обмахивался хвостом, было слышно жужжание мух. И не то чавканье, не то вздохи время от времени издавал утомленный летним зноем и мухами одёр Наума.

Я шептал какие-то несущественные слова — пожалуй, это были обрывки слышанных мною ежедневных еврейских молитв дедушки. Медленно тянулось время... Что будет с ней? Что будет с ней?..

Я понял, что мне очень дорога Дуня. И боль в ухе, и стыд, и обида были несравнимы с той печалью, которая раскрывалась во мне, вырастая из нежности к лежавшей без движения, с чуть вздрагивавшими веками Дуне.

Сильный порыв ветра, сильный взлет пыли... Где-то ударил гром... Большое горе надвинулось на меня...

Дверь аптеки раскрылась. В доносившемся оттуда шуме голос Ефросиньи растекался над всем — во всех оттенках ругательной мощи. Она ругала Дуню.

Я почувствовал, что жизнь возвращается ко мне, я был рад, что Дуня ревела громким голосом и, стараясь не глядеть на мать, сбежала быстро по ступенькам, пробежала перед самой мордой Наумова коня и юркнула в уличную пыль, завернув в переулок.

Ефросинья, потрясая руками, выкрикивала что-то относящееся уже не столько ко мне и не столько к Дуне, сколько ко всему моему роду-племени, и к отцу, и к матери, и к дяде, самые обидные слова, которые потом всю жизнь обжигали меня. В этот день я узнал впервые, что такое ненависть...

Но Степа уже дразнил Ефросинью, прыгая вокруг нее на одной ноге. Я не могу теперь вспомнить, какое из многочисленных ее прозвищ выкрикивал Степа, но, по-моему, это было нечто относящееся к толщине ее зада.

Она старалась схватить Степу, но он убежал. И тогда всю свою злобу Ефросинья выместила на ни в чем не повинном велосипеде, который сиротливо стоял у крыльца.

Ефросинья подняла велосипед... Я в ужасе почти опрокинулся на спину... Это было величе-

ственно. Руки ее были громадны и упирались в небо. Ноги ее росли из земли и были слиты с нею. Над головой она держала велосипед... Качнула раз... Качнула два... И со всей силой ударила его о камень, лежавший у края дороги... Велосипед был исковеркан. Одно колесо отлетело. Сиденье сломалось. Подобной развязки, по-моему, не ожидал никто. Я даже не плакал. Я просто не понимал, что же это такое происходит...

Ефросинья ушла. Снова взметнулась пыль. Я слез с телеги и с тупой растерянностью смотрел на обломки велосипеда. Ко мне подошла няня, протянула мне яблоко, ничего не сказала и только сокрушенно покачала головой. Она всегда очень мало говорила, няня моя Прасковья Медведева.

Рыжий Бер

Березовая роща чуть-чуть шуршала листвой. Было раннее утро. За рощей над болотцем, над извилистой речушкой еще не развеялся туман. Солнце гуляло между деревьями, только приглядываясь, стараясь не нарушить торжественной утренней тишины. Оно еще не разожгло своих костров, под каждым деревом тени еще не были свернуты и убраны... Коровы проходили вдаль. Пыль окружала их легкими облаками и следовала за ними.

На колокольне гудели колокола. Их ласковый перезвон птицы разносили на своих крыльях. Я шел с дедушкой по дороге к роще. Роща находилась недалеко от местечка, но местечко было большое, мы жили с одной стороны, а роща была с другой. И мне этот путь казался дальним, томительным и ненужным.

Мне вовсе не хотелось начинать учиться. Привлекали меня только те легенды об ангельских подарках, которые сопровождают первый день погружающихся в лоно Торы. А не хотел я учиться потому, что двоюродные братья, которые были старше меня, уже несколько лет ходили в хедер. Они казались мне узниками, потерявшими радость жизни. Когда я бегал, не стесняемый ничем, на свободе своих четырех с половиной лет, мои шестилетние и семилетние товарищи не знали, что такое солнце на ладонях рук, что такое ветер, ласкающий волосы, что такое свежая зеленая трава, на которой можно валяться, что такое запах цветов к вечеру у памятника Александра Второго.

Двоюродные братья учились с восьми часов до восьми. Быстро прибегая домой, торопливо запихивали они отпущенное им количество пищи в свои пустые животики и снова шли поглощать трудную для их возраста, непостижимую мудрость священных законов.

Считалось, что они будут раввинами. Мой дядя часто, поглаживая свою подстриженную бороду и прищурив один глаз, смотрел на них с восхищением. Он говаривал собиравшимся в его кожевенной лавке возчикам, маклерам и сапожникам:

— Эти два будут столпами во Израиле. Поверьте мне, что через два года каждый из них сможет быть раввином не только у нас, но даже и в Вильно.— И при этом он поднимал палец и прищелкивал языком.

Но я не завидовал ни славе, ни мудрости моих двоюродных братьев. Глаза у них были печальные, губы бледные, и мне не хотелось начинать учиться. Больше всего я боялся, что дед решит сделать из меня раввина.

Если быть откровенным до конца, то, идя рядом с моим высоким, чуть сутулым благообразным дедушкой, я с большим трудом удерживал слезы. Не плакал я только потому, что в легенде, рассказанной мне моей няней, говорилось, что если ребенок плачет в первый день своего учения, ангелы отворачиваются от него, драгоценные дары не падают на его книгу, и потом ему уже никогда не убедить небо в своих достоинствах.

Итак мы шли. Я был одет в праздничный костюмчик. Это была новая шерстяная матросская блузочка, воротник которой все время натирал мне шею. Туфли тоже были новые, подошвы их еще тяжело сгибались. Это удесятеряло длину и без того бесконечного нашего пути. Под мышкой я держал толстый молитвенник, и он измучил меня. Прежде я любил перелистывать эту книгу — она обладала каким-то только ей свойственным запахом, запахом книжного шкафа, старинного шрифта, кожаного переплета, нюхательного табака с грушевой эссенцией. Но сейчас она с минуты на минуту вырастала, она делалась все тяжелее, и только из самолюбия и ненасытной гордости я не передал эту отвратительную книгу дедушке, который с хитрой улыбкой поглядывал на меня и подмигивал, как бы говоря: «А ну, поглядим, как ты донесешь ее».

Дедушка оделся необычно. На нем был шелковый сюртук, в руках зонтик с узловатой ручкой, бороду дедушка тщательно расчесал. Из-под густых седых бровей, окрылявших его

крупный выразительный нос, смотрели улыбчивые в лучиках морщинок глаза. На голове его была ермолка, а под мышкой он нес сверток, который время от времени поправлял и который у меня вызывал огромное любопытство. Мне казалось, что сверток этот имеет прямое касательство ко мне и к моей дальнейшей судьбе.

То, что я шел сам-два с моим дедушкой и ни один женский глаз, всегда оберегавший меня, не подглядывал за нами, конечно, окрашивало тяжелые предчувствия и длинную дорогу.

Да, я уже мужчина! Девчонки в хедер не ходят! Это примиряло меня с трудностями.

Роща. Мы пришли.

У самой рощи был домик рыжего Бера, как звали моего будущего учителя. Одна стена этого домика примыкала к березовым стволам, другая его стена подслеповато глядела щелями маленьких окошек на пыльный разлив нашего «шоссейного» пути. Около домика был двор, окруженный невысоким забором. Забор этот имел две стороны: одна шла от дома, вторая была напротив, соединяясь с первой под прямым углом. А третьей стены забора, которая отделяла бы дом от рощи, не было совсем. Так что если не глядеть в сторону дороги, можно было легко вообразить себе, что этот домик затерян в душистой чаще белых деревьев.

Уже на далеком расстоянии мы услышали неровный гул детских голосов, которые, стараясь перекричать друг друга, что-то читали хором. Когда мы подошли ближе, то увидели человек пятнадцать ребят, сидящих за большим тесовым столом. Стол стоял на самой опушке рощицы. Его некрашеные доски лежали на четырех врытых в землю столбиках, так же были укреплены и протянувшиеся по бокам стола скамейки.

Рыжий Бер, человек легендарной высоты, прохаживался на своих цаплевидных ногах вокруг стола, подергивая свою рыженькую бороденку. Он был весь в веснушках — и шея, и руки, и все лицо казались размалеванными от необычного количества и разномастности этих веснушек. На носу у него были очки, которые с одной стороны заходили за ухо тоненькой проволочкой, с другой держались на веревочке; они сидели косо, и лицо его от этого казалось всегда ухмыляющимся. В руках рыжий Бер держал линейку. Одет он был в потертый пиджак. Это меня поразило, потому что все знакомые мне солидные, уважающие себя евреи ходили в сюртуках даже в будни. Мне сразу понравился этот длинный Бер.

Затылок Бера был покрыт ермолкой, а рыжие космы непокорных волос торчали во все стороны. И даже голос его, чуть надтреснутый и очень высокий, показался мне любопытным и заслуживающим внимания.

Бер протянул мне свою длинную руку. Я робко подал свою, и она потонула в его непомерно больших ладонях.

За столом зашушукались. Урок прервался.

Дедушка представил меня, сказав что-то лестное по моему адресу и ущипнув меня за щеку. Я не очень любил, когда дедушка именно так проявлял ко мне свои чувства, потому что он щипал довольно больно и потом с удовольствием смотрел на мои краснеющие ланиты. Но на этот раз дедушкин щипок не показался мне болезненным и неприятным: я чувствовал — это рекомендация, это признание моих достоинств перед будущими моими товарищами, иные из которых уже показывали мне язык.

Я старался держаться вполне благопристойно и солидно. Но я сразу узнал в одном ученике Шлему Злотина, который жил недалеко от нас и всегда пытался мне навредить — уж такая была у него препротивная натура. Это сразу испортило мне настроение.

Рыжий Бер забрал у меня книгу, подвел к столу и посадил на скамейку, отодвинув всю ораву ребятишек. Он погладил меня по голове, развернул мой молитвенник и, пощипывая свою рыженькую бороденку, спросил, что́ я знаю из области Священного Писания, знакомы ли мне все буквы, или хотя бы некоторые, или не известна ни одна. Здесь я не боялся споткнуться — я знал уже весь алфавит. Дедушка хитро подмигнул мне, он был уверен, что лицом в грязь не ударим! Однако я волновался. Волновался потому, что наступила великая минута общения с силами нездешними, великая минута прямого соприкосновения с божественной тайной и, может быть,— кто знает — с самим Богом. По словам дедушки, Бог в эту минуту ласково склонился на небе, чтобы посмотреть, как я начну учиться.

Чуть шелестели березы. Тут же рядом, под столом нашим, бродили куры. Какая-то птица вспорхнула и улетела, уносясь в даль. Прокричал петух. Стол пах соками еще не умершей древесины. Вообще запахов было много и разных. Какой-то особенный запах уюта и ласки исходил от рыжего Бера. Дедушка пахнул грушевой эссенцией и нюхательным табаком. Ребята пахнули каждый по-своему. Из дома рыжего Бера доносился аромат гусиного жира. В одно мгновение, втянув воздух ноздрями, я ощутил всю эту гамму запахов нового для меня места.

Итак, солнечные блики лежат на пожелтевших страницах книги, на руках Бера, на очках его, на глазах моего деда, на головах моих будущих товарищей. И я начинаю:

— Патах, Алев-А. Комэц, Алев-А...

Дальше мне пришлось читать. На страницу открытой книги упали столь любимые мною, одетые в серебряную бумагу медведь, рыбка и рак. Я знал всю утонченность розоватого крема, наполняющего эти шоколадки. Мне всегда жаль было сразу съедать эти конфеты-игрушки, и не так часто попадали они ко мне в руки, чтобы подобное изобилие их не потрясло меня до глубины души.

Я быстро повернул голову назад, желая увидеть, откуда это богатство опустилось на листы моей книги. Но я ничего не увидел. Дедушка стоял с независимым и спокойным видом. Учитель тоже. Откуда же, откуда эти подарки? Я поглядел на ребят. Глаза их выражали зависть. Ничего другого я прочесть в них не мог.

Рыжий Бер снял конфеты с молитвенника и положил их рядом. Я продолжал читать:

— Патах, Вейе-Ба.

Но «Ба» я уже произносил не глядя в книгу, а быстро обернувшись назад. И дедушка был пойман с поличным. В ту минуту, когда пальцы его открылись и из них выпал еще один более драгоценный для меня турецкий рожок, который можно жевать без конца и который имеет такой необычный вкус, «ангел» был разоблачен. Дедушка рассмеялся, а для меня это была первая минута критической оценки всего библейского наследства. Я сказал:

— А разве ты ангел, дедушка?

Ребята захохотали. Шлема Злотин кричал:

— Идиот! Смотрите, он думал, что настоящий ангел придет удивляться его мудрости.

Ребята смеялись еще больше. Но Бер ударил линейкой по столу:

— Ша! Перестаньте дразнить мальчика, у него сегодня первый день.

Дедушка поцеловал меня, смахнул набежавшую слезу, погладил меня по голове, пожал руку Беру и ушел.

Я остался в хедере.

И потекли для меня ничем не замечательные, но ласковые дни моего первого постижения Торы, пророков и поэзии библейских сказаний.

Мне не было скучно в хедере. Правда, потом я понял, что мне просто повезло. Такого хедера, как у рыжего Бера, очевидно, никто из моих сверстников не знал. Недаром дети моего дяди были зеленые и грустные — они учились не у рыжего Бера. Они сидели в затхлой комнате Аврома Лейба, низкий потолок сплющивал каждый день их веселого детства. Сырость стен оседала на них.

У рыжего Бера было не так. Пускай многие считали его новатором и даже отступником, а Авром Лейба клеймил его врагом религии и народа. Рыжий Бер только улыбался в свою клочковатую веселую огненную бороду и поправлял вечно перекошенные очки.

С каждой страницей Библии я впитывал прозрачные трепеты леса, пение птиц и золотой мед солнечных дней. И никогда не сотрется из моей памяти белый стол на опушке березовой рощи и коза Бера — Машка, которая была и нашим развлечением, и нашей гордостью. Мы приучили ее подходить к столу. Мы клали на край стола нарезанную морковку, кусочки капусты, и так как это делалось изо дня в день, то постепенно коза Машка включилась в нашу компанию.

Рыжий Бер иногда оставлял книги и рассказывал нам своими словами то, что, почти не понимая, мы читали в них. Бывало это обыкновенно под вечер. Жар спадал. Мы окружали Бера нестройной толпой, садились на траву у его ног. Злотин обыкновенно усаживался за стол, ему обязательно надо было быть выше всех. Почему-то иногда хотелось плакать, когда рассказывал рыжий Бер.

Бер рассказывал о цветущих полях Энгеди, о холмах Мории, о тяжелой воде Мертвого моря, о горе Гебал. И даже тогда, когда он рассказывал о брате своем, который уехал в Америку и теперь большой человек в этой далекой стране и имеет там собственный дом, хотелось плакать.

Синели сумерки. Сгущались тени. Солнце уходило, и жаль было, что кончался день, и с той поры, когда заходит солнце, мне кажется, что это надолго. Что оно необязательно появится завтра, чтобы светить и радовать. А в последнее время все обостряется предчувствие того, что когда-нибудь, а быть может, и скоро, оно закатится для меня в последний раз.

Рыжего Бера убили во время погрома в 1905 году. До того от него ушла жена. Она ушла к Гельбгофу, к цирюльнику и музыканту местного оркестра, который увез ее в Румынию.

Прощай, мой дорогой, рыжий, неуклюжий учитель! Именно ты впервые передо мною рас-

крыл Книгу бытия. Часто, часто мне хочется положить свои руки в большие ладони твоих рук и понять, что таилось в глубине твоих синих глаз за перекошенными стеклами очков. Прощай!

Семеновка горит

Аптека и дом, в котором мы жили, были соединены небольшой застекленной галереей. С каждым годом моей жизни галерея эта делалась все меньше и меньше. Если в самых ранних воспоминаниях детства она казалась мне почти бесконечным пространством из стекла и пятен солнца, то теперь недавно, посетив местечко Семеновку, я даже вообразить себе не мог, что именно вот этот крохотный в два пролета балкончик так величественно вырисовывался над страной моего детства.

За стеклами галереи было видно небо. На фоне неба торжественные золотые купола церкви. Сияли кресты. Там вдали, на горизонте, вертелись крылья далекой мельницы, стоявшей на холме.

А с другой стороны — фруктовый сад постукивал в стекла ветвями своих деревьев. Весною белели снежинки цветущих яблонь, розовели груши. Осенью ветер перескакивал из сада на площадь, с площади на купол церкви и оттуда вместе с голубями, воробьями, воронами уносился к мельнице.

Зимою мягкий свет просачивался через замерзшие стекла, меня проносили в аптеку, тепло укутав, как будто бы выносили на улицу.

Дом был старинный, и галерея казалась покосившейся от времени ветхой скорлупой. Около этой галереи ежегодно в праздник Кущей строился зеленый шалаш, покрытый хвоей. Небо в эти дни уже бывало серым, набегали первые всплески осенних холодов, но ясные дни еще проносили свои прозрачные осенние тени, и солнце время от времени выглядывало.

Солнце прощалось и с рощей, и с белой церковью, оно искрилось последними искрами в лужах улиц, оно заглядывало в зеленый шалаш, построенный моим дедом.

Я помню дедушку, который с торжественностью ребенка, играющего в полные значения игры, входил под зеленые кущи своего шалаша, садился на диванчик, поставленный там, разглаживал длинными пальцами скатерть на столе, снимал свечной нагар с серебряных подсвечников, украшавших трапезный стол торжественного шалаша. Дедушка покачивался в молчаливой молитве. Он дремал над толстыми фолиантами в рыжих переплетах, переворачивая шуршащие страницы медленно и торжественно. Он напевал какие-то, почти всегда одинаковые, однотонные и плачущие напевы.

Когда вечерело и сумерки бродили по нашему саду, ходили по двору, заглядывали в окна, дедушка любил долго не зажигать света. Тогда весь наш дом наполнялся синей мелодией его вечерних молитв.

Тихо сидела у окна за вязаньем или за чтением таких же, как у дедушки, толстых книг бабушка моя, полная, чуть рыхлая женщина. Но черные глаза бабушки не постарели. Длинные ресницы, как крылья, прикрывали ее взгляд. Тонкие губы чистейшего рисунка часто раскрывались в улыбке.

С самого раннего утра слышались ее шаги. Она начинала «топать», как говорил дедушка, и так «топала» до самой ночи. Она поднималась первой, она последней уходила спать. Поздно вечером она, подкрутив фитиль, тушила лампу, глубоко вздыхала и уходила в спальню к уже спящему деду.

Парик, строгий черный парик, положенный законом, прикрывал серебряную красоту бабушкиных волос. Вся она — и черная кружевная косынка, и мантилья шестидесятых годов, в которой она ходила в синагогу, и голос ее, негромкий, ласковый, словно боящийся нарушить тишину, и походка ее, медленная, плавная, как у человека, страсти и вера которого соединяются в единстве,— вся она, моя бабушка, была исполнена женственной мудрости.

Синие сумерки кружились вокруг дедушки с легким шуршанием в хвое кущ. И когда зажигался первый огонек свечи, его желтые капли падали в синюю тишину, как удар далекого колокола. И казалось, что именно от этой свечи в каждом окошечке, в каждом домике и на синем небе зажигались желтые свечки.

Скрипели колеса — подводы разъезжались по селам. Где-то стучали закрываемые ставни. Блеяли в загонах овцы, вернувшиеся с пастбищ. Мычали тихо и протяжно коровы, у Прохора Ивановича иногда лошадь заливалась долгим и тихим ржанием, провожая день.

Когда я ложился спать, я видел няню мою Прасковью Медведеву, которая стояла на коленях, мелкими крестами многажды осеняла себя и, вскинув голову к образу любимого ею Николы, молилась. Сокровенные ее молитвы всегда казались мне тихой колыбельной песней. Я привык засыпать под этот простой и значительный шепот моей няни. Чуть теплилась лампада. В комнате было немножко душно. Пахло яблоками. Тени оседали по углам. На потолке мерцали желтые полосы отраженных от золотого оклада иконы бликов. В дальнем углу чуть теплился ночничок. В столовой тикали часы. И шепот няни кружился, кружился и падал на меня каплями сна.

Не здесь и не сейчас я расскажу о Прасковье Медведевой. Ее лицо, в котором почти не было плоти — сухое, с натянутой кожей, лицо раскольницы со строгим очерком глаз, носа и скул,— умело так улыбаться, умело источать такую теплоту и нежность, что все потом прочитанные мною ласковые сказки и легенды народов до сих пор кажутся мне рассказанными Прасковьей Медведевой. Она прошла через мое детство в своей беленькой в горошинку кофте, с всегда чистым передником, с тщательно расчесанными волосами, со своими строгими постными днями, со сказками, с воспоминаниями о Иерусалиме, куда она ходила пешком, с деревянными ложками, принесенными ею от гроба Господня, с ладанками, с восковыми свечами в куличах, со знахарскими травами в коробочках, а главное, с любовью ко всем людям, ко всем зверям. Она была полна любовью ко мне, к моему дню, к моим снам, к тишине моего роста.

Однажды я проснулся не так, как просыпался изо дня в день в уюте моей детской. Испуганные голоса разбудили меня среди ночи. По комнате пробегали в тревоге взволнованные мать, бабушка, няня.

Мать мою я помню в те годы плохо. Я знаю только, что она была красивая и талия ее была твердая, стянутая корсетом.

Всхлипывая, она наклонилась над моей кроватью. Бабушка заворачивала в одеяло моего двухлетнего братишку Мишу, который спал у другой стены. Какие-то ухающие удары колокола доносились издалека. Лицо мое умыли холодной водой, насухо вытерли. Я руками продолжал вытирать свои щеки. Я не плакал. Я только озирался по сторонам, в то время как няня застегивала на мне черную шубейку и напяливала на голову теплую зимнюю шапку.

Где-то далеко слышалось пение. Няня вытирала молчаливые слезы, крестилась мелким крестом. Губы ее пересохли. Она завязала свой сундучок, наш чемоданчик, и мы сидели на вещах, как на вокзале.

В это время пришел дядя Израиль. Он сказал:

— Ничего, сегодня ночью можно быть дома.

Моя мать уже стояла в шубе, распахнув полу. Шелковый конец ее шарфа упал и белой полоской струился от шеи до пола.

Бабушка спокойно и молчаливо, без суеты укладывала в корзину старинные дедушкины книги. Дедушки не было. Из мужчин не было никого. Они на минуту только откуда-то появлялись и уходили вновь.

Из детской мы перешли в столовую. Ставни были закрыты, свет не был зажжен. Столовая освещалась только слабым мерцанием ночника из детской. Эта длинная комната с большим столом посредине, с никелированным самоваром на маленьком столике у печки, с дорожками крашеных полов, с белыми дверями и с четырьмя окнами, выходившими на площадь Семеновки, казалась безбрежной, не имеющей стен, переходящей непосредственно в ночь.

Мы сидели у стола на венских стульях с гнутыми спинками. Миша плакал. Няня его качала. Всхлипывая, он засыпал.

Я перебирал бахрому скатерти. Мне было жарко в шубейке и шапке. Я развязал башлык, расстегнул шубу. Страшно хотелось спать. Я опустился на пол у ножек стола, толстых полированных ножек, и прикорнул.

Может быть, я спал секунду, может быть, я спал долго, долго. Но когда я открыл глаза, все расплывалось в серой мути тоскливого рассвета.

В щели ставен набивался этот белесый свет, просачивался в комнаты. Все сидели, как неживые, молчаливые, с лицами, усталыми от бессонницы, с встревоженными глазами.

А за окнами накапливался шум. Это нарастали голоса толпы.

На басах начиналось: «Боже, царя храни...» Все ближе и ближе были слышны голоса.

Вот вошел дядя Израиль. Вошел дедушка. За ними дядя Яков. Они тяжело дышали. Волна накатывалась на наш дом. Любопытство и страх смешивались в одно: что там, за изгородью ставен?

Я бросился к окну. Я заглянул в щель...

Я увидел — во всю ширь семеновских пустырей шла черная сгрудившаяся масса. На шестах несли портреты, один из которых я узнал — такой же висел в аптеке дяди... Шаг толпы делался все более мерным, руки раскачивались. И вдруг какая-то женщина выскочила вперед, прервав своим диким криком густые мужские голоса, певшие песни. Я не понял, что́ она кричала. Она наклонилась, схватила камень. Визг ее слился с острым ударом камня о дерево, о ставень того самого окна, к которому я прижался лбом. Ставень стукнул о стекло. Стекло разлетелось. Мать в ужасе подскочила ко мне.

Еще один камень! Еще один! Камни барабанили по стеклам. Все быстрее, все чаще. Их удары аккомпанировали гулу, реву, смеху, тупой ненависти, бившейся о стены нашего дома.

Нас спрятали в детской. Вся наша семья забилась в эту комнату... Уже надо было кушать. Уже часы безразлично отсчитывали время. Уже было двенадцать... Час...

Гул как будто бы стих. Не то толпа удалилась, не то, утомленная, просто успокоилась. Дядя Израиль, которого я помню всегда до такой степени золотоволосым, что он казался седым, чуть покачивался, сидя на стуле у двери. На стол поставили какую-то снедь. Мы быстро перекусили. Миша пытался заплакать, няня опять его укачала.

В это время в открывшуюся на нашу галерею дверь я увидел дедушку, который стоял, опираясь руками на раму одного из окон. Стекла были выбиты все. Ветром колыхало волосы деда, его длинную бороду.

А за ним серое небо начинало дымиться и рдеть. Языки пламени лизали белые стены церкви.

Церковь горела.

Все желтели и желтели отблески на полу галереи, на лице моего деда. Мы подошли к двери. Мать взяла меня на руки, крепко прижала к груди.

Толпа ревела. Это уже не были голоса отдельных людей. Треск падающих стропил, топот проезжающих с бочками пожарных лошадей и гул... гул... катились прямо на нас, смешанные в один ком, прямо на наш маленький и теперь бессмысленный уют.

Дедушка качался молитвенно. Моя мать широко открытыми глазами, не мигая, смотрела перед собой. Глаза у нее были огромные и строгие. Она не плакала. Она прижала меня к своей груди. Щеке моей было больно, потому что мама не замечала, что крепко прижимала меня к бусинкам пуговиц своей блузки. Но я знал, что нельзя ни крикнуть, ни пожаловаться.

В это время тихий и осторожный стук раздался в двери аптеки. Аптека была заперта, но в ней остались дежурить служившие у дяди два парня, которые любили его на жизнь и на смерть и не оставляли даже под прямыми ударами толпы.

Как только дедушка успел повернуть ключ в замке, дверь широко распахнулась, и к нам вбежала Ефросинья. Тулуп на ней был распахнут. Из-под платка выбились растрепанные волосы.

Своими огромными шагами прошла Ефросинья через галерею, через столовую, через детскую — прямо в кухню, не говоря ни слова и только глазами ведя нас за собой.

Мы все последовали за ней. Сняв платок и вытирая лоб, эта страшная для меня Ефросинья голосом тихим, встревоженным и родным обратилась к матери, к бабушке, ко всем нам:

— Ну, что же тут поделаешь... да... Может, и вправду жиды церковь подожгли... А только не думаю. Ни к чему им это... Чего-то я не пойму, Верка? — обратилась она к бабушке.

Тихо сказала бабушка:

— А что тут понимать, Ефросинья. Разве для нас это новость?

Взметнулась Ефросинья:

— Ну, ладно! Для вас это не новость, а вот для меня внове. У меня дочь растет... И в Бога я верую... Так вот что... Жили мы с вами дружно. Ежели когда и лаялись, так от всей души и без злобы. Скажу вам! Ночью сегодня в Семеновке будет смертное дело. Вон у Селифана в винном погребе все бутылки поразбивали — прямо с земли лакают... А Сережка-сапожник с бутылью на крыльцо вскочил да за шиворот вытащил Селифанову соседку Хесю, да бутылью по голове! При всем народе!.. Так что надо понять, дела будут тяжелые. И дому вашему конец!

Все мы молчали. Говорить было нечего. Дедушка чуть-чуть улыбнулся и заговорил по-еврейски. Я не понял, что́ он говорил. Но, как это ни странно, Ефросинья поняла. Это для меня оказалось неожиданно, как неожиданно было все в эти дни.

— Для чего я про это рассказываю? Как будто не видишь?! Эх, Шлема, Шлема! До седых волос дожил, а... Ну, да ладно... Спасать вас надо — вот что! Не первый год рядышком... Всех взять не могу — спрятать некуда. А вот Лизку, Верку, жиденят ваших возьму.

Мать плакала. Дядя Израиль встал, молча оделся и вышел.

Дедушка взглянул на часы. Пять часов — нормальный час для молитвы. Он отошел в сторону. Знакомое бормотание сумерек поплыло по дому. Дедушка молился.

В маленьком домике Ефросиньи было душно. Пахло свежим хлебом, кислыми овчинами, прелым запахом рухляди. Чуть-чуть тянуло дымком из печи, из огромной русской печи, занимавшей почти четверть избы. На лавке у стола лежало несколько свертков, захваченных из дома. Я почему-то был одет, как девочка, а Дуни не было в избе. Только много лет спустя я понял: я должен был изображать Дуню, дочку Ефросиньи. Каким-то образом там же оказался Степа.

На безбрежной лежанке впереди лежала мать Ефросиньи — Лустыха, а сзади нее, прикрытые тряпьем, мои мать и бабушка.

Ночь прошла для нас относительно спокойно, но ужас метался в избе Ефросиньи. Мы ничего не знали ни о деде, ни о дядях, ни о других.

Утром время от времени прибегавшие друзья Ефросиньи сообщали вести все тревожнее и тревожнее. Дома горели. Рухлядью была завалена грязь улиц.

— Поломанные стулья,— запыхавшиеся соседки перебивали друг друга,— кидают в огонь, сундуки разворочены... все пограблено... перебито...

Сожаления в их голосах было мало. Больше досады, что хорошее добро пропадает даром.

К вечеру то тут, то там слышались выстрелы. Где-то на мельнице, за холмом алело небо. Это горело соседнее местечко, подожженное с четырех сторон.

Бабушка, сидя на печке, вела едва слышный разговор с Лустыхой, которая уже плохо слышала, была сварлива и высчитывала все провинности иудеев, распявших Христа. Терпение бабушки моей было беспредельно. Спокойно и ласково она возражала Лустыхе, кое в чем соглашалась, и под конец между ними воцарился мир: они нашли общие темы о детях, о доме. А мать моя все еще не произнесла ни слова.

Выстрелы были все ближе и ближе. Это охотник Никита, как рассказывали потом, дробью из охотничьего ружья стрелял в упор в раненых. Я хорошо знал этого Никиту, его шершавые руки, весь его огромный медвежий облик, его грустные и теплые глаза, его смешные, задорные песни. Почему он стрелял дробью по людям? Почему?..

Волна докатилась до нашей двери. Распахнулись ворота. Из них просунулись на двор щупальца громящей толпы. Все бросились к бочкам, но бочки оказались пустыми. Кто-то что-то кричал толпе. Что — я не расслышал. Но я ясно видел, как какой-то длинный худой человек без шапки тыкал пальцами в сторону дома Ефросиньи, грозил кулаком, хватал и тащил к дому всю братию. Какая-то женщина затеяла с ним спор, она отстаивала Ефросинью. Эта женщина когда-то в споре с Селифаном заголила подол и с той поры казалась мне существом необычным и страшным. Но сегодня, у нас во дворе эта женщина показалась мне еще страшней. Я не мог понять, кто из них нес нам жизнь и кто — смерть.

Я только видел орущие и плюющие рты, глаза навыкате, цепкие пальцы, взлохмаченные волосы и толпу, движущуюся к дому Ефросиньи.

Заголосила Лустыха. Зашептала молитвы бабушка. Мать стремительно соскочила с печи, взяла меня на руки, она покрывала мое лицо поцелуями. Жар ее дыханья сжигал меня. Она не говорила ни слова. Я не плакал. Бабушка плакала молча, сжав губы и глядя на меня.

Ефросинья, накинув платок, выбежала к толпе с иконой в руках, вместе со Степой, который тоже схватил икону. Она оставила дверь открытой. Мы слышали ее крик:

— Христом-богом клянусь, жидов немае...

И Степа кричал:

— Жидов нема! Нема жидов!

— Да что вы первый год меня знаете?..— выкрикивала Ефросинья.— Да я с вами пиду зараз... Ишь чего не бачили — жидов буду ховать! Дурни!.. Вот на иконе крест кладу — нема их!!!

Раздался смех, споры. Голоса удалились. Степа закрыл дверь. Принесли иконы. Ефросинья пошла с толпой. Степа говорил мне:

— Ну, Гришка, слазь. Ушли! Хы!..

И он рассмеялся с гордостью победителя:

— Я им сказав: «Нема жидов... Нема их», сказав им.

Я ничего ему не ответил. Мне было страшно и тяжело. Моя мать лежала без сознания.

Так мы прожили два дня. Ветры вернулись на круги своя. Местечко успокоилось. По улицам бродили люди. Они бродили, как тени. Они с удивлением глядели друг на друга. Каждый оставшийся в живых не испытывал счастья. В каждой семье был плач, в каждом сердце горе. Дядю Саула убили, рыжего Бера убили. Одного из парней, работавших у дяди Израиля в аптеке и защищавшего редчайшие медикаменты, с огромным трудом собранные дядей,— убили. Авром Лейба, учитель еврейского языка, потерял глаз.

В синагоге осквернили свитки Торы. Изрезанные и загаженные навозом, они были растянуты в длину на площади и проткнуты кольями. Пронизывала дрожью осенняя сырость. Тучи все ниже и ниже опускали свои тяжелые глыбы над испуганным, взъерошенным и печальным местечком. Отец Шлемы Злотина повесился от горя: его жену...

Жизнь входила в свои права. Все становилось на свое место. Лустыха выгнала с печи бабушку и мать. Ефросинья последними словами ругала «жидов-кровососов». Здесь больше нельзя было оставаться. Пришли дядя Израиль и дед, они перемыкались на сеновале. Золотые волосы моего дяди перестали казаться сединою — они просто стали седыми, в них еще оставались соломинки.

Нужно было уезжать. Из маленького флигелька пришла к нам в избу Прасковья с Мишей. Сорок восемь часов я не видел няню и моего брата. Он пытался плакать, она снова укачивала его. Как и всегда, детские мои воспоминания связаны с равномерным укачиванием плачущего Миши.

Что нам было делать? Дом разгромлен, наполовину сломан, наполовину сожжен...

Но вот с первыми морозами в шерсти своего тулупа к нам пришел Наум Медведев, нянин брат. Он снял свою огромную шапку, перекрестился — блеснула его большая лысая голова.

— Ну, что же,— сказал Наум.— Езжайте ко мне в хату. В лесу я живу. Сторожем сторожу. У меня дров много, тепло будет. Да и отдохнуть в лесу неплохо. Вот до чего люди додумались...

Дядя посмотрел на него благодарными глазами.

— Ну, что же, как?.. Едем?..— сказал Наум.

Дедушка остался у себя в пустом и холодном доме. Он должен был сидеть в семидневном трауре, посыпав пеплом голову и разодрав одежды свои, на полу, на земле, в трауре по убитым. Бабушка и дядя решили остаться с ним.

Наум усадил нас всех на телегу, и ночью, чтобы не «дразнить гусей», в темноте и тишине заскрипели колеса его воза, захлюпала осенняя непогодь под ногами коня. Закутанные в платки, дрожащие как в лихорадке, сидели мы на утлом скарбе, и рядом с нами шли пешком провожающие нас бабушка и дядя Израиль.

Бабушка оказалась крепче матери. Мать моя была как человек, потерявший путеводную нить. Она все делала механически. Она ела, пила, она даже начинала разговаривать, но все время казалось — это делает другой человек. А мать моя не увязывает в эту минуту узлы, не встает на втулку колеса, чтобы забраться на телегу, не смотрит на нас своими прекрасными глазами — она отсутствует.

Может быть, это покажется странным, но именно так, именно в те годы, а не теперь воспринимал я свою мать, и мне все время было за нее страшно.

Скрипели колеса. Покрикивал на лошадей Наум. Похлестывал кнутиком по бокам своей серой кобылы, любимой мною и известной издавна. Няня сидела рядом с ним. Миша спал у нее на руках.

После долгих уговоров бабушка Вера все-таки села на телегу. Она сидела спиной к лошади и глядела на уходящую дорогу. Мне тоже захотелось сесть рядом с ней. И вот мы с ней рядом сидим и глядим на дорогу.

Дорога вьется, чуть поблескивая лужицами, подбрасывая нас на кочках и изгибах. И куда я и она, старая мать и не изведавшее еще жизни дитя, едем? Почему мы изгнаны из обычного хода дней? Я не понимал.

У Наума Медведева была сколоченная из толстых бревен изба, из толстых досок сделаны стол и скамейки. Жена Наума, рябая, некрасивая, но веселая и с огоньком в глазах, была моложе его на пятнадцать лет. В люльке, висевшей на толстой веревке, лежали недавно родившиеся двойняшки. Теленок топал копытцами в углу над своей бадьей. К стене, у стола, была прибита керосиновая лампа, горевшая неярким, но теплым светом. В красном углу висело множество икон — больших и маленьких, простых и золоченых, под стеклами и открытых. Перед ними теплились три лампадки.

На столе стояли приготовленные в ожидании нас молоко, сметана, яйца и черный ржаной пахучий хлеб; няня чувствовала себя здесь хозяйкой и не позволяла, как гостям, ни бабушке, ни дяде Израилю ничего делать. Дядю Израиля она усадила под образа и вскидывала на него ласковые взгляды. Она мне всегда говорила:

— Твой дядя Сроель в старые времена был бы святым: и волос у него золотой, и ходит он втихомолку, и людей лечит. И я вот тоже умею лечить, а он лучше. Ученый. Да он и на еврея совсем не похож.

Она любила дядю Израиля.

Вещи разобраны. Мы сели за стол.

И вот только тут, впервые, отогретая теплом и лаской, моя мать, положив голову на руки, закрыв лицо, заплакала. И плакала долго, долго. Я плакал вместе с ней. Бабушка гладила ее волосы и тихо говорила:

— Леинке, это хорошо, что ты плачешь, это хорошо.

Сквозь слезы моя мать неразборчиво что-то лепетала. Наконец она подняла голову. Ввалившиеся глаза ее были воспалены, лицо было мокрым от слез. Решительно сказала она бабушке:

— Надо сегодня же написать Леве в Петербург. Больше я здесь не буду жить ни одного дня.

Бабушка гладила ее волосы:

— Ему не надо писать. Я ему уже написала, Леинке.

Поужинав, проговорив до глубокой ночи о том, о сем, о страшных днях погрома, о прибывших сегодня в город казаках, утомленные и измученные, мы разошлись.

Бабушка уложила меня спать на лавке, а мать, не раздеваясь, сидела у стола и быстро-быстро писала что-то огрызком карандаша. Дядя и бабушка уехали на подводе к оставшемуся в одиночестве деду Шлему. Наум ушел куда-то по хозяйству. Жена его дергала ногой веревку, качая люльку, напевая однотонную колыбельную песенку.

Было угарно и тепло. Жизнь снова показалась мне нежною. Трещали сверчки в щелях. За окном шел дождь.

Перед иконостасом на коленях, чуть освещенная светом лампады и отблеском прикрученной лампы, стояла няня. Струился шепот ее истовых молитв, и падали их капли на меня, как сон. И надо всем широкими шагами по блестящим полям, по кричащим головам с озверелыми голосами, по пламенеющим языкам горящей церкви широкими шагами ходила в расстегнутом тулупе, с волосами, выбившимися из-под платка, непонятная мне Ефросинья.

Мы уезжали в Петербург. Отец вызвал нас телеграммой, прислал денег, были взяты билеты.

Десять дней, прожитые нами у Наума, на всю жизнь останутся днями осеннего хвойного леса, останутся днями спокойного выздоровления людей и вещей. Сердца начали биться ровнее, губы перестали дрожать, ужасы пережитого уложились в тайники чувства и памяти. На лице моей матери появилось несколько морщин, а бабушка сгорбилась. Когда она ходила, голова ее чуть покачивалась при каждом шаге. Глаза, однако, были молоды, и длинные ресницы прикрывали огонь древней, мудрой ясности взгляда.

Дедушка сдал. Теперь он не мог сделать без палки ни шагу, и очень часто веки его опухали от слез.

Починили рамы окон, вставили стекла, что можно было, восстановили в доме. Но вся жизнь стала глуше, вся жизнь стала прислушиваться к чему-то и ходить на цыпочках.

Когда синели сумерки и зажигались свечи над книгой моего деда — не во всех домах светились огни.

В субботу, в первый раз за все годы, возникающие в моей памяти, мой дед не надел торжественного сюртука, не пел своих любимых песнопений и не принес мне конфет. Свитки Торы, растоптанные каблуками громил, не были собраны. В синагоге не было

святого того свитка. Для деда теперь не было прямой и ясной дороги, которая его вела уже шестьдесят лет к традициям освященной цели, к покойной старости, почету и смерти с ладанкой палестинской земли в руке.

Сломалось все. Что-то надо было переосмыслить...

Мы уезжали в Петербург.

На вокзал нас пришли провожать все родные. Вокзал был набит народом. Только два дня как начали ходить поезда. Было тесно, накурено, пахло махоркой, человеческим потом, какими-то духами от двух женщин, презрительно пробиравшихся сквозь эту толпу еврейской рвани. Их сопровождали казачьи офицеры. На женщинах были никогда не виданные мною головные уборы с птичьими перьями, на лицах вуали. Одна из них наклонилась ко мне, потрепала меня по щеке и вынула из ридикюля леденец. Но я его не взял, я отвернулся. Она чуть удивилась и пошла дальше.

Родные мои о чем-то говорили тревожным и громким шепотом. Дядя Израиль сначала сдавал вещи в багаж, потом отыскивал носильщика, потом помогал ему выносить оставшиеся вещи на платформу.

Я почему-то все забыл из недавно бывших событий. Да... Это страшная сила — человеческое забвение. Меня радовал новый шумный угол открывшейся жизни. Мне было интересно глядеть на толчею, на пар, висящий в воздухе, слышать говор, звон посуды, смотреть на бляхи носильщиков, на шелковые чулки проходящих женщин. Я жадно впитывал в себя какие-то дальние гудки на путях, окрик дежурного, который равномерно и громогласно возглашал об отправлении поездов, позванивая солидным колоколом точно, механически и торжественно.

Няня, видя мою взволнованность, торопливо говорила мне:

— Ишь, непоседа! Вот только уйди отсюда — сразу тебя в мешок и в багаж!

Я интересовался, что это за «багаж». Няня пыталась объяснить. Но вот пришел и наш поезд. Звонок. Все кинулись на платформу, толчея в дверях. Я оторвался от няни. Меня действительно куда-то оттерли. Крик няни раздался над гулом толпы:

— Гришка! Гриш-ш-ш!

Наконец дядя Израиль поймал меня, шлепнул, приказал мне не огорчать маму и помнить, что я взрослый мужчина.

На платформе поцелуи, все плачут. И вдруг мне стало мучительно грустно. Я оглянулся на город. Он утопал в осенней грязи. Над ним расстилалось хмурое, безразличное и тоскливое осеннее небо. Обгорелая колокольня церкви протыкала черными кольями серую вату туч. Кружилось воронье.

У железной вокзальной решетки стоял Наум Медведев около своей серой кобылы в широком своем тулупе, помахивая большой меховой шапкой. Я вырвался из рук няни, подбежал к нему, вскочил на решетку, обхватил его голову руками и долго, долго целовал его лысую и добрую голову. Мне показалось, что он плакал. Он полез в карман, вытащил оттуда маленький образок и сунул мне его в руку. Я принял от него эту памятку и хранил ее долгие годы.

Второй звонок... Быстро по очереди я целовал всех. Меня втягивают в вагон, и вдруг я вспоминаю, что бабушке я не сказал ничего. Мне захотелось соскочить с уходящего поезда, мне захотелось остаться. Мне уже неинтересны были ни путь, ни сутолока, ни новое ощущение жизни. Я бился в руках у няни. Мать жестко потащила меня в купе, посадила и приказала молчать. Я испугался ее в первый раз строгого окрика, забился в угол и дрожал всем телом. Сама она легла на диван, уткнула голову в вагонную подушку, и плечи ее вздрагивали. Няня укачивала Мишу.

Мерно тарахтел вагон. Мерно стучали колеса. Стемнело. За окном пролетали искрами и редкими огоньками деревни и села. Постепенно я успокоился. Я глядел в зеркало, висящее в купе, я трогал никелированные ручки двери, я поглаживал бархатный диван, я прижимался щекой к шершавой клеенке стен. Я глядел, вдавливая лоб в стекло, в уходящую ночь. И я старался не закрывать глаза, потому что как только закрывались мои веки — в глубокой тьме возникали вьюга, пожар, выстрелы за окном и камни летели в мою голову и пробивали мне висок. Сочилась кровь, и кровь эта капала в мои руки, и их гладила печальная сгорбившаяся бабушка Вера. А куда-то в обратную сторону от поезда, назад к местечку, уходил по снежным полям с палкой в руке мой дедушка Шлем.

Публикация М. Г. Рошаль-Строевой

К столетию со дня рождения М. А. Булгакова

Ольга Юмашева, Илья Лепихов

И. В. Сталин: краткий курс истории советского театра

Изучение недавнего прошлого нашей страны только, по сути, начинается. До самого последнего времени наш кругозор был настолько узок, что мы по сей день не располагаем полной и целостной картиной общественно-политической и культурной жизни последних семидесяти лет. Отрывочные сведения, частичные и нередко искаженные, исторические фигуры, выборочно взятые и тоже «отредактированные», образовали причудливую мозаику, расположение составных частей которой меняется при обнаружении каждого нового факта.

В 1926 году Московский Художественный театр поставил «Дни Турбиных» Булгакова. Несмотря на яростные нападки критики, спектакль шел вплоть до весны 1929 года, после чего был внезапно закрыт. Многое в этой странной истории неясно и по сей день.

Поводом для снятия спектакля, по мнению М. Чудаковой, послужило письмо Сталину Билль-Белоцерковского, выражавшего негодование антисоветской направленностью «Бега» и «Дней Турбиных»[1]. Ответное письмо[2] хорошо известно: вождь не во всем соглашался с бдительным драматургом, считая спектакль все же полезным, утверждающим необоримую силу большевиков, но «Дни Турбиных» были запрещены. Развернувшаяся травля Булгакова имела своим итогом повсеместное снятие его спектаклей. Все это так, но мы имеем основания предполагать, что ход событий был более затейлив, чем это может поначалу показаться.

Творчество Булгакова не всегда рассматривалось в контексте современной ему культурно-политической жизни. Нам бы хотелось восполнить пробел. Мы сознательно не берем в расчет сторону художественную, предпочитая ей соотнесение судьбы пьес с вопросами национального и культурного строительства конца 20-х годов.

Однако сколь-нибудь серьезное исследование в этой области невозможно без экскурса в пооктябрьскую историю.

Генеральная линия по отношению к театру с октября 1917 года менялась подобно дамской моде[3]. Только к середине 1926 года художественная комиссия ЦК ВКП(б) приняла решение о централизации руководства в области театра[4]. С конца того же года собираются консультативные совещания в Наркомпросе РСФСР, в результате чего сразу же после встречи директоров театров страны (май 1927 года) проводится совещание при Агитпропе ЦК ВКП(б), полновластном хозяине художественной сферы. Именно тогда принимается окончательное решение о создании единого органа руководства культурой — Главискусства. Тринадцатым апреля 1928 года датировано постановление Совнаркома РСФСР о его организации. Председателем новообразованной организации по настоянию А. В. Луначарского назначается старый партиец А. И. Свидерский[5]. Он приступил к исполнению своих обязанностей в мае 1928 года[6]. Задержка была вызвана множеством причин.

Прежде всего, так до конца и не был решен вопрос о компетенции Главискусства. Новое управление было ответственно не толь-

[1] Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с. 311.

[2] Сталин И. Сочинения, т. 11. М., 1949, с. 326—329.

[3] См.: Дондошанская А. Деятельность советских органов в области театра 1921—1928 гг. Л., 1982.

[4] Задачи Главискусства. М., 1929, с. 125—126.

[5] Подробнее о нем: Кизин Ю. А. И. Свидерский. Уфа, 1971.

[6] А. Свидерским подписан номер 7 журнала «Советское искусство» за 1928 год, до того им ведал Главполитпросвет (зав. отделом Р. Пельше).

ко за театр, как пишет Смелянский[7], но и за изобразительное искусство, кинематограф, эстраду и цирк[8], то есть вбирало функции шести управлений народного комиссариата просвещения РСФСР: художественного отдела Главнауки, Главного ученого совета, Главполитпросвета, Главпрофобра, Главсоцвоса и Главлита[9]. Борьба с удельными начальниками, не ладившими друг с другом, как это всегда бывает, стоила большой крови. Слияния и разукрупнения государственных учреждений в России вообще никогда не проходили безболезненно, а уж в новейшей ее истории и подавно. К примеру, высшие учебные заведения художественного профиля, пребывавшие под патронажем Главпрофобра, так и не были переданы Главискусству[10].

Не менее затрудняло организацию дела отсутствие взаимопонимания с ВСНХ[11]: вплоть до конца 1929 года не был выяснен вопрос, кто же должен осуществлять хозяйственную политику в области культуры. Стычки с профсоюзом работников искусств (РАБИС) набирали силу[12]. ЦК РАБИСа и его левацкие идеологи с усердием, достойным лучшего применения, упрекали Наркомпрос РСФСР в игнорировании профессиональных союзов[13]. Да и сама сфера деятельности вновь созданной организации была донельзя беспокойной, ибо всевозможные группировки и объединения находились в состоянии перманентной войны всех против всех. Перемена культурной политики ВКП(б), начавшаяся в 1925 году проектом И. Варейкиса[14], не коснулась еще театра, что создавало дополнительные трудности.

Так называемый проект И. Варейкиса, провозгласивший отказ от поддержки «левых» литературных кругов, близких к Л. Троцкому, декларировал сотрудничество со всеми группами литераторов, лояльных к Советской власти. В то же время в материалах к проекту автор высказывался без обиняков: «Необходимо непосредственно использовать [...] средства цензурного аппарата и издательского бойкота по отношению к антисоветским писателям»[15]. Поелику критерий антисоветизма не был еще всеобъемлющим, многим из опальных литераторов было даровано право печататься. В их число попал и Булгаков, чьи «Дни Турбиных» пошли в Художественном театре, а «Зойкина квартира — в Студии имени Е. Вахтангова[16].

Михаил Булгаков. 30-е годы.

Углубить позитивные перемены и должно было Главискусство. А Свидерский, не теряя времени, принялся за работу. Его позиция была известна еще с Теапартсовещания 1927 года[17], где хулители Булгакова В. Блюм (Садко) и Орлинский оказались в «оппозиции»[18] новой линии и не смогли активно влиять на репертуарную политику, чего им очень хотелось. (Приязнь и доверие Булгакова к А. Свидерскому вылились в посред-

---

[7] Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986, с. 130.

[8] Задачи Главискусства, с. 127.

[9] См.: «Вестник работников искусств», 1926, № 10.

[10] «Итоги VII съезда Всерабиса», М., 1929, с. 12.

[11] Высший совет народного хозяйства, ведавший экономическими вопросами.

[12] Задачи Главискусства, с. 42.

[13] ЦК РАБИСа постоянно напоминал оппонентам, что самый первый документ в области театра, «Декларацию об основах художественной политики», подписали Наркомпрос РСФСР и РАБИС в 1920 году.

[14] «Правда», 1 июля 1925 года.

[15] Центральный партийный архив (ЦПА), ф. 17, оп. 60, д. 1043, л. 85.

[16] Цензура в случае с «Зойкиной квартирой» порезвилась вдоволь, Главрепертком предложил автору: а) показать, что отлично о всем осведомленный Мур своевременно не дал возможности преступникам скрыться; б) оттенить природу выводимых в постановке китайцев (ЦПА, ф. 17, оп. 60, д. 809, л. 44).

[17] В чем поддерживал его и Кнорин, уполномоченный Агитпропа ЦК.

[18] «Советское искусство», 1927, № 3, с. 5.

ничество последнего в передаче письма драматурга Сталину с просьбой разрешить поездку за границу[19].)

При всем этом булгаковские пьесы были запрещены именно с ведома либералов А. Луначарского[20] и А. Свидерского[21].

Политика Главискусства вызывала многочисленные нарекания, и не только со стороны ЦК РАБИСа. Вопрос об идеологическом органе руководства культурой имел и бытовую плоскость: к нему переходили цензурные функции, которые до этого осуществлялись кем попало. Кроме Главлита, Главполитпросвета и Главреперткома, вечно обличавших друг друга в отсутствии бдительности, цензуру осуществляли и губернские культотделы, способные на самые экстравагантные решения[22]. С созданием Главискусства репертуарная политика сосредоточивалась в одних руках. Выбор пал на Главрепертком, переданный Главлиту, который с мая 1928 года формально вошел в состав Главискусства[23], хотя фактически вел самостоятельную политику. Столь независимый курс взял тогдашний председатель Главреперткома Ф. Раскольников, с Булгаковым, кстати, не ладивший основательно. Говоря о судьбе «Дней Турбиных», вероятно, необходимо учитывать и козни Главреперткома, но дело не только в нем.

Выше мы ссылались на мнение М. Чудаковой, утверждавшей на основании косвенных причин, что все пьесы Булгакова были запрещены из-за резкого отзыва И. Сталина о «Беге», тогда только репетировавшемся в том же МХАТе. Действительно, хронологически все выходит весьма убедительно, но некоторые документы позволяют нам подвергнуть сомнению это суждение.

12 февраля 1929 года состоялась встреча Генерального секретаря ЦК ВКП(б) с группой украинских писателей[24], прибывших на Неделю (9—16 февраля) украинской литературы в Москве и настаивавших на неотложном свидании. В состав группы входили начальник Главискусства Украины А. Петренко-Левченко, заведующий Агитпропом ЦК КП(б)У А. Хвыля, руководитель Всеукраинского союза пролетарских писателей (ВУСПП), впоследствии первый секретарь Союза писателей Украины И. Кулик, писатели А. Десняк (Руденко), И. Микитенко и другие. Собеседники говорили большей частью о литературе в ее социалистическом понимании — в связи с изменением внутриполитической обстановки. Борьба с «правым уклоном», недавняя смена руководства Компартии Украины заставляли гостей пристрастно расспрашивать хозяев.

В начале Сталин пространно рассуждал о ленинской трактовке национального вопроса, делая упор на незыблемость избранной линии развития национальных по форме и социалистических по содержанию культур[25]. Незадолго до того партия провозгласила курс на ускорение культурной революции[26]. «Если мы хотим широкие массы народа поднять на высшую ступень культуры,— говорил вождь,— или не на высшую, а хотя бы на среднюю или даже на низшую ступень культуры, мы должны родной язык каждой национальности развивать максимально, потому что только на родном языке мы можем достигнуть этого. [...] Вот почему совершенно неправильным и ошибочным было бы занимать позицию нейтралитета в отношении развития национальной культуры. Тогда мы должны признать, что никакой промышленности не поднимем и никакой промышленности не создадим. Ибо от чего зависит обстановка обороны страны? От культурности населения, от того, каков будет наш солдат, разбирается ли он в элементарных понятиях культуры, может ли он пользоваться, например, компасом, разбираться в картах, есть ли у него хотя бы примитивная грамотность, культура, чтобы он мог понять приказы и так далее»[27]. Он подробно остановился на совмещении всеобщего просвещения с задачами индустриальными: «Точно так же нам совершенно небезразлично, в каком состоянии поступают рабочие на наши заводы и фабрики. Ведь мы перевооружаем теперь нашу промышленность и начинаем перевооружать наше сельское хозяйство»[28]. По мнению Генсека, самым важным в «национализации» пролетариата является изучение родного языка и языка местности проживания. «Это общий закон, и смычка национальная, смычка между городом и деревней пойдет. [...] Даже

[19] Чудакова М. Цит. соч., с. 321.

[20] А. Луначарский договаривался до того, что «в известной степени либеральные возражения против государственного искусства верны и должны быть приняты во внимание» («Искусство», 1929, № 1—2, с. 3).

[21] См.: «Репертуарный указатель Главреперткома» под ред. Н. Равича. М., 1929.

[22] Там же, с. 4.

[23] ЦГАЛИ, ф. 645, оп. 1, ед. хр. 2, л. 40.

[24] Сталин И. Цит. соч., с. 377.

[25] Ср. с написанной в то же время работой Сталина «Национальный вопрос и ленинизм», там же, с. 333—355.

[26] «КПУ в резолюциях и решениях съездов, пленумов, конференций», т. 1. Киев, 1976, с. 604—642.

[27] ЦПА, ф. 558, оп. 1, д. 4490, л. 9.

[28] Там же, л. 10.

коренные русские рабочие, которые отмахивались раньше и не хотели изучать украинский язык, я знаю много таких, которые жаловались мне: «Не могу, товарищ Сталин, изучать украинский язык, язык не поворачивается»,— теперь по-иному говорят, научились украинскому языку»[29]. Необходимо пояснить, что на Украине рабочие были в то время преимущественно русскими. X съезд Компартии Украины в 1927 году подтвердил взятый ранее курс на последовательную и постепенную украинизацию пролетариата[30]. В речи Сталина можно обнаружить несоответствие этому. Партии нужно, чтобы вчерашний крестьянин отличал суппорт от передней бабки, а уж на каком языке и в каких выражениях мастер разъяснит ему тонкости ремесла, не так важно.

Далее верный ленинец объяснил, что, по его мнению, основной критерий — это критерий пользы: «Надо различать в национальной культуре две стороны: форму и содержание. Когда говорят: «форма ничего не значит» — это пустяки. Форма — национальная, содержание — социалистическое. Это не значит, что каждый литератор должен стать марксистом, социалистом и прочее. Это не необходимо, это значит, что в литературе, поскольку речь идет о литературе, должны появиться новые герои. [...] Взять, например, таких попутчиков, я не знаю, можно ли строго назвать попутчиками таких писателей, как Всеволод Иванов, Лавренев. Вы, может быть, читали или видели «Разлом», но я вас уверяю, что эти оба писателя своими произведениями «Бронепоезд», «Разлом» принесли гораздо больше пользы, чем десять-двадцать или сто коммунистов-писателей, которые пичкают читателей, ни черта не выходит, не умеют писать, нехудожественно. Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова, если взять его «Дни Турбиных». Чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако своими Турбиными он принес все-таки большую пользу безусловно»[31].

Сталин сам заговорил о «Днях Турбиных», видимо, предупрежденный об особой заинтересованности украинской делегации в обсуждении этого спектакля, что показывает дальнейшая дискуссия[32].

Каганович. Украинцы не согласны. *(Шум, разговоры.)*

Сталин. А я вам скажу, я с точки зрения зрителя скажу. Возьмите «Дни Турбиных». Общий осадок впечатления у зрителя остается какой (несмотря на отрицательные стороны, в чем они состоят, тоже скажу), общий осадок впечатления остается какой, когда зритель уходит из театра? Это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди, крепкие, стойкие, по-своему честные, в кавычках, должны признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» — это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма. *(Голос с места: И сменовеховства.)* Извините, я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие мерки: нереволюционная и революционная, советская — несоветская, пролетарская — непролетарская. Но требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая. «Там изображена правая опасность. Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе, или, например, «Бег», его запретили, это правая опасность». Это неправильно, товарищи. Правая или левая опасность — это чисто партийное [явление]. Правая опасность — это значит люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри страны. Левая опасность — это отход от линии партии влево. Разве литература партийная? Это же не партия. Конечно, это гораздо шире — литература,— чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие. Там можно говорить о пролетарском характере литературы, об антипролетарском, о рабоче-крестьянском характере, об антирабоче-крестьянском характере, о революционном — нереволюционном, о советском, об антисоветском. Требовать, чтобы беллетристическая литература и авторы проводили партийную точку зрения — тогда всех беспартийных надо изгнать. Правда это или нет? Возьмите Лавренева, попробуйте изгнать человека, он способный, кое-что из пролетарской жизни схватил, и довольно метко, рабочие прямо скажут: пойдите к черту с правыми и левыми, мне нравится ходить на «Разлом», и я буду ходить, и рабочий прав. Или возьмите «Бронепоезд» Всеволода Иванова. Он не коммунист, Всеволод Иванов, может быть, он себя считает коммунистом. *(Шум, разговоры.)* Ну, он коммунист липовый. *(Смех.)* Но это ему не помешало написать хорошую штуку, которая имеет

[29] Там же, лл. 16—17.

[30] «КПУ в резолюциях...», т. 1, с 492.

[31] ЦПА, там же, л. 12. Вольно или невольно Сталин отражал атаки Пролеткульта и РАПП на репертуар МХАТа. Смекнув, что М. Булгаков до поры до времени неуязвим, его недруги развернули наступление на следующую постановку театра — «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. «МХТ стремился противопоставить классовому субъективизму рабочего класса свой объективизм. Художественный театр не смог удержаться на позициях такого художественного объективизма. Этим объясняется элегический характер разработки эпических тем, который проявил Художественный театр в «Днях Турбиных» и «Бронепоезде» («Вестник Коммунистической академии», 1928, № 30/6, с. 191—192).

[32] Стенограмма совещания дается со значительными сокращениями.

величайшее революционное значение, воспитательное значение бесспорно. Как вы скажете — он правый или левый? Он ни правый, ни левый, потому что он не коммунист. Нельзя чисто партийную мерку переносить механически в среду литераторов. [...] С этой точки зрения, с точки зрения бóльшего масштаба и с точки зрения других методов подхода к литературе, я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины, по-своему честные люди, даны как отдельные, оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать того, что хотя они, может быть, честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят. У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины — Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и прочее, и никак нельзя понять, за что же их, собственно, гонят большевики, ведь и Серафима, и этот приват-доцент — оба они беженцы, по-своему честные, неподкупные люди, но Булгаков, на то он и Булгаков, не изобразил того, что эти по-своему честные, неподкупные люди сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. Вот подоплека того, почему таких по-своему честных людей из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает. Но даже у таких людей можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных», [...][33].

Далее Сталин трактовал проблему отображения современной литературой новой, «национально-просвещенной» деревни, единственной, по Сталину 1929 года, формы культурного строительства. Вождь с негодованием открещивается от денационализации.

Сталин. Я думаю, смешивать тезис об уничтожении национального гнета и национального антагонизма с тезисом уничтожения национального различия никак нельзя. Это две вещи различные. Национальный гнет уничтожается, в основе он уничтожен, однако национальное различие в итоге не уничтожается, оно теперь только как следует проявляется, только теперь некоторые засидевшиеся начинают замечать, что есть некоторые народности, у которых есть свой язык. Путали Дагестан с Туркменистаном, теперь перестали. Путали Белоруссию с Украиной — теперь перестали.

Голос с места. Товарищ Сталин, как вопрос с Курской, Воронежской губерниями и Кубанью в той части, где есть украинцы? Они хотят присоединиться к Украине.

Сталин. Этот вопрос не касается судьбы русской или национальной культуры.

Голос с места. Он не касается, но он ускорит дальнейшее развитие культуры там, в этих местностях.

Сталин. Этот вопрос несколько раз обсуждался у нас, так как часто слишком меняем границы. *(Смех.)* Слишком часто меняем границы — это производит плохое впечатление и внутри страны, и вне страны. Одно время Милюков даже писал за границей: что такое СССР, [если] нет никаких границ, любая республика может выйти из состава СССР, когда она захочет, есть ли это государство или нет? 140 миллионов населения сегодня, а завтра 100 миллионов населения. Внутри мы относимся осторожнее к этому вопросу, потому что у некоторых русских это вызывает большой отпор. С этим надо считаться, с точки зрения национальной культуры, и с точки зрения развития диктатуры, и с точки зрения развития основных вопросов нашей политики и нашей работы. Конечно, не имеет сколько-нибудь серьезного значения, куда входит один из уездов Украины и РСФСР. У нас каждый раз, когда такой вопрос ставится, начинают рычать: а как миллионы русских на Украине угнетаются, не дают на родном языке развиваться, хотят насильно украинизировать и так далее. *(Смех.)* Это вопрос чисто практический. Он раза два у нас стоял. Мы его отложили — очень часто меняются границы. [...] Я не знаю, как население этих губерний, хочет присоединиться к Украине? *(Голоса: Хочет.)* А у нас есть сведения, что не хочет. *(Голоса: Хочет, хочет.)* Есть у нас одни сведения, что хочет, есть и другие сведения — что не хочет[34].

Но вернемся к основной теме.

Голос с места. Вы говорили о «Днях Турбиных». Мы видели эту пьесу. Для меня лично и многих других товарищей [существует] некоторое иное освещение этого вопроса. Там есть одна часть, в этой пьесе. Там освещено восстание против гетмана. Это революционное восстание показано в ужасных тонах, под руководством Петлюры, в то время когда это было революционное восстание масс, проходившее не под руководством Петлюры, а под большевистским руководством. Вот такое историческое искажение революционного восстания, а с другой стороны — изображение крестьянского повстанческого [движения] как *(пропуск в стенограмме)* по-моему, со сцены Художественного театра не может быть допущено, и если положительным является, что большевики принудили интеллигенцию прийти к сменовеховству, то, во всяком случае, такое изображение революционного движения и украинских борющихся масс не может быть допущено.

Каганович. Единая неделимая выпирает. *(Шум, разговоры.)*

Десняк[35]. Когда я смотрел «Дни Турбиных», мне

[33] Там же, лл. 13—15.

[34] Там же, л. 18.

[35] А. И. Десняк (Руденко) (1909—1942) — украинский прозаик.

прежде всего бросилось то, что большевизм побеждает этих людей не потому, что он есть большевизм, а потому, что делает единую великую неделимую Россию. Это концепция, которая бросается всем в глаза, и такой победы большевизма лучше не надо.

Голос с места. Почему артисты говорят по-немецки чисто немецким языком и считают вполне допустимым коверкать украинский язык, издеваясь над этим языком? Это просто антихудожественно. [...]

Голос с места. [...] Дело не в этом. Но вот, кроме того впечатления от «Дней Турбиных», о котором говорил товарищ Сталин, у зрителя остается еще другое впечатление. Эта пьеса как бы говорит: смотрите, вы, которые психологически нас поддерживаете, которые классово с нами спаяны,— мы проиграли сражение только потому, что не были как следует организованы, не имели организованной массы, и несмотря на то, что мы были благородными и честными людьми мы все-таки благодаря неорганизованности погибли. Кроме впечатления, указанного товарищем Сталиным, остается и это второе впечатление. И если эта пьеса производит некоторое позитивное впечатление, то она производит и обратное впечатление социально, классово враждебной нам силы.

Сталин. Насчет некоторых артистов, которые по-немецки говорят чисто, а по-украински коверкают. Действительно, имеется тенденция пренебрежительного отношения к украинскому языку. [...] Я могу назвать ряд резолюций ЦК нашей партии, где коммунисты обвиняются в великодержавном шовинизме.

Голос с места. Стало почти традицией в русском театре выводить украинцев какими-то дураками или бандитами. В «Шторме», например, украинец выведен настоящим бандитом.

Сталин. Возможно. Но, между прочим, это зависит и от вас. Недавно, полгода тому назад, здесь в Москве было празднество, и украинцы, как они выражались, созвали свою колонию в Большом театре. На празднестве были выступления артистов украинских. *(Голос с места: Артистов из пивных набрали?)* Были от вас певцы и бандуристы. Участвовала та группа, которую рекомендовали из Харькова. [...] Но вот произошел такой инцидент. Дирижер стоит в большом смущении — на каком ему языке говорить? На французском можно? Может быть, на немецком? Мы спрашиваем: а вы на украинском говорите? Говорю. Так на украинском и объявляйте, что вы будете исполнять. [...] На французском он может свободно говорить, на немецком тоже, а вот на украинском стесняется, боится, как бы ему не попало. Так что, товарищи, от вас тоже много зависит. Конечно, артисты не будут коверкать язык, если вы их как следует обругаете, если вы сами будете организовывать вот такие приезды, встречи и прочее. [...] Вы тоже виноваты. Насчет «Дней Турбиных» — я ведь сказал, что это антисоветская штука, и Булгаков не наш. [...] Но что же, несмотря на то, что это штука антисоветская, из этой штуки можно вынести? То, чего автор сам не хотел сказать. И основное впечатление, которое остается у зрителя,— это всесокрушающая сила коммунизма. Там изображены русские люди — Турбины и остатки из их группы, все они присоединяются к Красной Армии как к русской армии. Это тоже верно. *(Голос с места: С надеждой на перерождение.)* Может быть, но вы должны признать, что и Турбин сам, и остатки его группы говорят: «Народ против нас, руководители наши продались. Ничего не остается, как покориться». Нет другой силы. Это тоже нужно признать. Почему такие пьесы ставятся? Потому что своих настоящих пьес мало или вовсе нет. Я против того, чтобы огульно отрицать все в «Днях Турбиных», чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов. Вот что пишет товарищ Петренко: «Дни Турбиных»... *(цитата не приведена)*. Вы чего хотите, собственно?

Петренко. Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы.

Голос с места. Это единодушное мнение.

Голос с места. А вместо этой пьесы пустить пьесу Киршона о бакинских комиссарах.

Сталин. Если вы будете писать только о коммунистах, это не выйдет. У нас стосорокамиллионное население, а коммунистов только полтора миллиона. Не для одних же коммунистов эти пьесы ставятся. Такие требования предъявлять при недостатке хороших пьес — с нашей стороны, со стороны марксистов,— значит отвлекаться от действительности. Вопрос можно задать?

Голос с места. Пожалуйста.

Сталин. Вы как, за то, чтобы ставились пьесы вроде «Горячего сердца» Островского?

Голос с места. Она устарела. Дело в том, что мы ставим классические вещи.

Сталин. Слово «классический» вам не поможет. Рабочий не знает, классическая ли это вещь или не классическая, а смотрит то, что ему нравится.

Голос с места. Островского вещи вредны.

Сталин. Как вам сказать! А вот «Дядя Ваня» — вредная вещь?

Голос с места. Тоже вредная. [...]

Голос с места. Неверный подход, когда говорят, что все несовременное можно ставить.

Сталин. Так нельзя. А «Князь Игорь»? Можно его ставить? Как вы думаете? Снять, может быть, эту вещь?

Голос с места. Нет.

Сталин. Почему? Очень хорошо идет «Князь Игорь»?

Голос с места. Нет, но у нас оперный репертуар небогатый.

Сталин. Значит, вы считаетесь с тем, есть ли репертуар свой или нет?

Голос с места. Считаемся.

Сталин. Уверяю вас, что «Дядя Ваня» и «Князь Игорь», «Дон Кихот» и все произведения Островского — они вредны. И полезны, и вредны, уверяю вас. Есть несколько абсолютно полезных вещей. Я могу назвать несколько штук: Билль-Белоцерковского две вещи, я «Шторма» не видел. Во всяком случае, «Голос недр» — хорошая штука, затем Киршона «Рельсы гудят», пожалуй, «Разлом», хотя надо вам сказать, что

там не все в чистом виде. И затем «Бронепоезд». [...] Неужели только и ставить эти четыре пьесы? [...] Легко снять и другое, и третье. Вы поймите, что есть публика, она хочет смотреть. Конечно, если белогвардеец посмотрит «Дни Турбиных», едва ли он будет доволен, не будет доволен. Если рабочие посетят пьесу, общее впечатление такое — вот сила большевизма, с ней ничего не поделаешь. Люди более тонкие заметят, что тут очень много сменовеховства, безусловно, это отрицательная сторона, безобразное изображение украинцев — это безобразная сторона, но есть и другая сторона.

Каганович. Между прочим, это Главрепертком мог бы исправить.

Сталин. Я не считаю Главрепертком центром художественного творчества. Он часто ошибается. [...] Вы хотите, чтобы он (Булгаков.— *Авт.*) настоящего большевика нарисовал? Такого требования нельзя предъявлять. Вы требуете от Булгакова, чтобы он был коммунистом — этого нельзя требовать. Нет пьес. Возьмите репертуар Художественного театра. Что там ставят? «У врат царства», «Горячее сердце», «Дядя Ваня», «Женитьба Фигаро». *(Голос с места: А это хорошая вещь?)* Чем? Это пустяковая, бессодержательная вещь. Шутки дармоедов и их прислужников. [...] Вы, может быть, будете защищать воинство Петлюры? *(Голос с места: Нет, зачем?)* Вы не можете сказать, что с Петлюрой пролетарии шли. *(Голос с места: В этом восстании большевики участвовали против гетмана. Это восстание против гетмана.)* Штаб петлюровский если взять, что он, плохо изображен? *(Голос с места: Мы не обижаемся за Петлюру.)* Там есть и минусы, и плюсы. Я считаю, что в основном плюсов больше.

Каганович. Товарищи, все-таки, я думаю, давайте с «Днями Турбиных» кончим.

Голос с места. Вы несколько разговорились по вопросу о том, что целый ряд обид в области культурной и иной жизни, которые имеются в отношении Украины, что тут виноваты сами украинцы, которые недостаточно выдвигают этот вопрос. *(Сталин: И украинцы.)* У нас такое впечатление и убеждение, что формула XII съезда о том, что основная опасность — это великодержавный шовинизм и что с этой опасностью нужно бороться,— эта формула прекрасно усвоена у нас на Украине, усвоено и то, что одновременно нужно бороться и с местным шовинизмом. Но эта формула плохо усвоена в руководящих органах, даже в Москве. [...] На Украине мы имели такую конкретную форму — шумскизм — и вели с ним борьбу. А в практике московской работы и работы в РСФСР этого нет, хотя фактов шовинизма в отношении Украины можно найти много. [...]

Сталин. У вас получается нечто вроде декларации. Я несколько раз беседовал с товарищами Петровским, Чубарем и Кагановичем[36], когда он работал на Украине. Они высказывали недовольство тем, что в наркоматских аппаратах проявляют полное пренебрежение к хозяйственным и культурным нуждам Украины. Эти товарищи могут подтвердить это. Я каждый раз ставил вопрос — назовите хоть одно лицо, чтобы его можно было высечь на глазах у всех. [...] Назовите хоть одного человека, который пренебрежительно [относится] к интересам Украины.

Голос с места. Я могу рассказать, как конфисковали украинскую литературу в Москве [...].

Сталин. Я спрашивал товарищей Чубаря, Кагановича и Петровского, и ни разу они не попытались назвать хоть кого-нибудь. Они всякий раз сговаривались и ни разу не назвали никого. [...] У нас имеются по этому вопросу постановления и решения партии и Советской власти. [...] Мало принять решения, надо их усвоить, мало усвоить, надо их переварить. Некоторые не усваивают вообще, не подчиняются, не хотят. [...] Назовите таких людей, таких шовинистов, которые бы проводили великодержавную политику. Вы назвали Свидерского. Может быть, напишете?

Голоса. Мы пришлем заявление.

Сталин. Я думаю, что он не главный, Свидерский, и это не главное, что вас беспокоит.

Голос с места. Есть стенограмма партийного совещания. Если вы поинтересуетесь фактами, то я думаю, что эта стенограмма даст вам кое-что. [...]

Голос с места. Трудно поймать великодержавного шовиниста за хвост.

Сталин. Извините, очень легко, если он только отмахивается декларациями. Вот, собственно, все вопросы.

Каганович. Итак, беседа с товарищем Сталиным сводится к тому, что надо, чтобы вы и все украинцы подошли к вопросам союзного строительства, к своим претензиям не с точки зрения критики, а с точки зрения органического внедрения и предъявления определенных требований. Это абсолютно правильно, и то, что вы приехали к нам в Москву, я убежден, свидетельствует о том, что мы продвигаемся вперед. Но нельзя отрицать того факта, что среди украинских писателей были известные настроения.

Сталин. Они чувствуют себя как гости, в то время когда они должны чувствовать себя хозяевами.

Каганович. Надо приезжать не только в гости, а надо органически взяться за дело, добиться переводов и так далее [...]. Я думаю, что ваш приезд сюда во многом поможет, во многом сблизит нас. Вы видите, что политика партии и центральных советских учреждений совершенно определенная. Национальная политика в ЦК совершенно определенна, вы это знаете прекрасно. И что ясно видно из выступления товарища Сталина — общая линия, которую мы проводили на Украине и которую проводим. [...][37].

Резонно предположить, что в запрещении

[36] Г. Петровский — в то время кандидат в члены Политбюро ВКП(б), В. Чубарь — член Политбюро ЦК КП(б)У, Л. Каганович — первый секретарь ЦК КП(б)У в 1925—1928 годах, в то время работал в Москве, в аппарате ВЦСПС.

[37] Там же, лл. 28—36.

«Дней Турбиных» беседа 12 февраля 1929 года сыграла свою роль.

Запрещение всех пьес М. Булгакова к постановке подняло новую волну нападок на драматурга и на его доброжелателей. Больше других досталось А. Луначарскому и А. Свидерскому. В журнале «Искусство» появилась статья Р. Пикеля, посвященная «Бегу»: «Споры вокруг «Бега» были подняты на высоту значительного политического вопроса. [...] Крайне опасным в пьесе является тон ее. Она вся построена на примиренческих сострадательных настроениях. [...] На три, на четыре часа, если бы только пьеса увидела свет рампы, классовая сознательность пролетарского зрителя была бы притуплена, размагничена и порабощена чуждой для нас стихией»[38]. На разные лады повторялось, что начальник Главискусства сыграл на руку классовому врагу, поддерживая Булгакова.

Это — прелюдия. Седьмого мая 1929 года собрался VII съезд РАБИСа. Если до его открытия председатель ЦК РАБИСа Ю. Славинский утверждал, что, несмотря на некоторое невнимание к нуждам профсоюза, линия Главискусства верна[39], а Э. Бескин[40] прямо говорил, что «организация Главискусства — весомая победа нашего Союза»[41], то уже через две недели Я. Боярский, новый председатель ЦК, декларировал необходимость изменения культурной политики в свете XVI партконференции ВКП (б)[42]. Еще через две недели в журнале «Рабис», печатном органе профсоюза, появляется новый главный редактор[43]. И начинается подлинная травля Главискусства. Дескать, не выполнило оно своих задач, спланировало пятилетку для кино, а обещало — для всей культуры[44]. Я. Боярский, возглавивший кампанию, уточнял свою позицию: «Вопрос об охране наследия буржуазной культуры [...] уже не является вопросом первого плана. Все, что надо было охранять, уже прочно охранено. [...] При проведении основной линии нашего подхода к роли попутчиков в искусстве упор должен быть сделан на росте пролетарского сектора. [...] Именно по этой линии подвергалась острейшей критике работа Главискусства РСФСР, которое [...] не оказало достаточно организованного и необходимого отпора усилившейся активности буржуазии и мелкобуржуазных влияний в области искусства» (из резолюции VII съезда РАБИСа)[45].

В сентябре 1929 года народным комиссаром просвещения РСФСР был назначен А. Бубнов. Место А. Свидерского, отправленного полпредом в Латвию, занял Л. Оболенский[46]. Еще в апреле стало известно, что А. Свидерский подавал представление в Совнарком о преобразовании Главного Управления по делам литературы и искусства в Главный Комитет по делам искусств[47]. В октябре 1929 года представлению дается ход. Председателем вновь созданного комитета назначается начальник Главреперткома Ф. Раскольников[48], мечтавший о лаврах драматурга[49]. «Националист» А. Свидерский получил по заслугам, а его покровитель экс-нарком был отправлен заведовать Ученым советом ЦИКа СССР. Таким образом, мотивы, звучавшие на совещании 12 февраля, отозвались полгода спустя в новых номенклатурных перемещениях.

Между тем А. Свидерский не только не был шовинистом, но, наоборот, всячески способствовал развитию национальных культур, в том числе и украинской. «Культурное обслуживание нацменьшинств»[50] выдвигалось им в качестве первоочередных задач. При нем в журналах стали регулярно печататься обозрения и статьи, освещающие эту проблематику. Он поддержал инициативу президента Государственной Академии художественных наук П. Когана, создавшего отдел по изучению национальных культур[51]. По отношению к украинскому театру Главискусство занимало однозначно благожелательную позицию[52]. При А. Свидерском ИЗОотделом (руководитель И. Хвойник) были закуплены первые украинские картины[53]. Вероятно, у председателя Главискусства были ошибки, но его деятельность никак не могла быть квалифицирована как антиукраинская. Однако его замена Ф. Раскольниковым имела не узковедомственные, а серьезные политические причины.

---

[38] «Искусство», 1929, № 3—4, с. 68—74.

[39] «Рабис», 1929, № 8, с. 15.

[40] В 1928 году соредактор «Вестника работника искусств», смещенный, вероятно, за «левизну» (см. о нем: «Театральная энциклопедия». М., 1965, т. 1, с. 566.).

[41] «Рабис», 1929, № 19, с. 4.

[42] Там же, № 21, с. 2.

[43] Вместо Б. Котцына — С. Шамардина.

[44] «Рабис», 1929, № 24.

[45] «Искусство», 1929, № 7—8, с. 6—7.

[46] «Рабис», 1929, № 39, с. 2—3.

[47] Там же, № 15, с. 6—7.

[48] ЦГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 203.

[49] Чудакова М. Цит. соч., с. 332—335.

[50] «Искусство», 1929, № 34, с. 3—5.

[51] «Вестник работников искусств», 1928, № 5.

[52] См.: «Искусство», 1929, № 3—4, с. 150—158; были иные точки зрения, о них см.: «Вестник работников искусств», 1926, № 1, с. 14.

[53] «Репертуарный указатель Главреперткома». М., 1928, т. 3, с. 4—5.

Тут самое время вспомнить ссылку Я. Боярского на XVI партконференцию. Ею завершался первый этап борьбы с «правым уклоном» в партии. Весной 1928 года Н. Бухарин, А. Рыков и М. Томский заявили о своем несогласии с тогдашним курсом ЦК ВКП(б), направленным на ускорение коллективизации[54]. Уже Ноябрьский (1928 года) пленум ЦК ВКП(б) делает вывод «о правом уклоне как главной опасности в партии»[55]. Выступление Н. Бухарина со товарищи прозвучало почти одновременно с так называемым «шахтинским делом» (апрель 1928), означавшим перемену политики партии в экономической сфере. Процесс «инженеров-вредителей», бывший тогда в диковину, имел громадный резонанс. В «шахтинской» резолюции ЦК ВКП(б) четко изложено положение о том, что сопротивление остатков буржуазии усиливается в ходе строительства социализма[56]. В этой атмосфере голос оппозиции, говорившей о недостатках в организации сельского хозяйства как главной причине трудностей с продовольствием, был попросту не услышан. XVI партконференция осудила оппортунистические взгляды и провозгласила очередную чистку партийных рядов. Вероятно, ее решения повлияли на перемещения в Наркомпросе РСФСР, тем более что провинившиеся напрямую подчинялись председателю Союзного Совнаркома А. Рыкову.

Два месяца спустя, на апрельском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) А. Рыков заявил, что наметилась тенденция сокращения посевных площадей на Украине: это и являлось основной причиной уменьшения объема заготовок зерна. «Из выступления следовало, что это связано с особой политикой партии в отношении Украины»[57].

О недородах и незначительном увеличении посевных площадей упоминалось в резолюции ноябрьского пленума 1928 года ЦК КП(б)У[58]. Однако все на той же XVI партконференции украинская делегация (П. Постышев, В. Чубарь, П. Любченко) безоговорочно поддержала линию Сталина, хотя и отдавала себе отчет в истинны причинах хозяйственных неурядиц. Если брать во внимание представительный состав писательской группы, беседовавшей со Сталиным, то можно предположить, что результаты февральской встречи были учтены руководителями Компартии Украины. Запрет «Дней Турбиных», таким образом, выходит из чисто историко-культурного ряда, становясь фактом большой политики[59].

Однако остается неясным, почему Сталин, защищавший «полезный» спектакль, все же пошел на уступки и пожертвовал им, проявив твердость в другом вопросе — о судьбе южнорусских губерний. Сколь ни были преданы лично Сталину руководители украинских большевиков, видимо, вождь нуждался в их поддержке для победы над «правыми» и жертва была необходима. Вероятно, ситуация позволяла представительной делегации выдвигать требования и прощупывать намерения вождя. Деликатность вопроса и нехватка фактов не позволяют нам судить об этом с уверенностью.

Тремя годами позже сбылись предостережения А. Рыкова насчет особой политики в отношении Украины. Организованный голод поставил украинский народ на грань физического уничтожения. «Дни Турбиных» были восстановлены на мхатовской сцене в 1932 году, перед самым началом голодомора на Украине, когда ни одному украинскому писателю, как бы плохо он ни относился к Булгакову и к его пьесе, не пришло бы в голову протестовать: наступали новые времена.

Таков — в более полном виде — вклад «вождя мирового пролетариата» в историю советского театра. И толкуй теперь о необъяснимости российских коллизий. Недостаток информации — вот что прежде всего мешает нам более полно представить себе ход событий и их подлинное содержание.

Михаил Афанасьевич знал, что в судьбе спектакля принимает участие Сталин. Однако даже великому драматургу, полагаем, показалось бы невероятным, что запрещение «Дней Турбиных» напрямую связано с изменением экономической политики государства. Но стоит обнаружиться недостающему звену цепи происшествий, и взору изумленного наблюдателя предстает такая драматургическая интрига, перед которой бледнеет самая богатая и изощренная фантазия сочинителя.

Авторы выражают благодарность И. М. Дзюбе и В. И. Шовкуну за помощь в подготовке статьи к печати.

[54] «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, совещаний», изд. 8. М., 1970, т. 4, с. 14.

[55] Ваганов Ф. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром. М., 1970, с. 67.

[56] «КПСС в резолюциях...», т. 4, с. 144—145.

[57] Шахов А. В борьбе за ленинское единство партии. Львов, 1979, с. 61.

[58] «КПУ в резолюциях...», т. 1, с. 571.

[59] Запрет приобретал особое значение в свете проходившего тогда обличения так называемого «национал-уклонизма» (А. Шумский, М. Хвылевый, М. Волобуев).

Анатолий Латышев

И еще один тост «вождя народов»

Из двух речей, произнесенных Сталиным накануне нападения гитлеровцев на нашу страну, составители невышедшего 14-го тома его собрания сочинений включили в него, как видно по фотокопии сигнального экземпляра, только одну — на приеме участников декады таджикского искусства. (Вторую, посвященную выпуску командиров, окончивших военные академии, впервые обнародовал журнал «Искусство кино» в майской книжке прошлого года.)

Ниже впервые публикуется речь Сталина на приеме участников декады таджикского искусства руководителями партии и правительства в Кремле 22 апреля 1941 года (в годовщину со дня рождения Ленина).

Товарищи!

Благодарю вас за ваше доверие, сочувствие и пожелания. Но у людей есть одна плохая привычка — хвалить живых, если они, понятно, этого заслуживают, а мертвых — предавать забвению. Как в старину называли, кумиров или, как сейчас говорят, вождей хвалят, выражают им сочувствие, пока они не умерли, а когда они умирают, то их иногда забывают. Я бы не сказал, что эта привычка является достоинством, чтобы она отвечала большевистским традициям.

Вы знаете, что мы, большевики, привыкли идти против течения, и я, как большевик, хочу сегодня сказать о человеке, который хотя и умер, но будет вечно жить в истории. Я хочу сказать о том человеке, который нас воспитал, учил, иногда журил, иногда хвалил, который сделал нас людьми,— о Ленине.

Это он, Ленин, научил нас работать так, как нужно работать большевикам, не зная страха и не останавливаясь ни перед какими трудностями, работать так, как Ленин. Мы являемся его тенью, его птенцами и учениками.

Было бы ложной скромностью с моей стороны сказать, что мы, нынешние руководители партии и правительства, ничего не сделали, не имеем достижений. Нет, у нас имеются и успехи, но всем этим мы обязаны Ленину.

Вот мы с вами наслаждаемся здесь плодами дружбы народов. Я вижу, что здесь, кроме молодежи, присутствуют старики, например, я. Так вот мы, старики, помним, молодежь, может, и не помнит, да молодежи, пожалуй, и не обязательно помнить, но мы, старые большевики, помним о том, как мы называли старую, царскую Россию тюрьмой народов. Сейчас мы имеем Советский Союз — широкую ниву, на которой работают свободные равноправные народы. Таковы результаты политики дружбы народов.

Но кто выработал эту политику? — Ленин.

Это он, Ленин, противопоставил старой идеологии, заключавшейся в том, что одна раса возвышается до небес, а другие народы принижаются и угнетаются, этой старой идеологии, являющейся мертвой, не имеющей будущности, противопоставил новую идеологию — идеологию дружбы народов, заключающуюся в том, что все народы равноправны.

Эта идеология победила, и мы пользуемся ее плодами. А организовал эту политику — Ленин.

Я скажу по-восточному — мы его тень на земле и светим его отраженным светом.

Я предлагаю тост за Ленина.

Я хочу сказать несколько слов о таджиках. Таджики — это особый народ, самый древний народ Средней Азии.

Из всех нерусских, мусульманских народов на территории СССР таджики являются единственной не тюркской — иранской народностью. Таджики — это народ, чья интеллигенция породила великого поэта Фирдоуси, и недаром они, таджики, ведут от него свои культурные традиции. Вы, должно быть, чувствовали в период декады, что у них, у таджиков, художественное чутье тоньше, их древняя культура и особый художественный вкус проявляются и в музыке, и в песне, и в танце.

Иногда у нас русские товарищи всех смешивают: таджика с узбеком, узбека с туркменом, армянина с грузином. Это, конечно, неправильно. Таджики — это особый народ, с древней большой культурой, и в наших советских условиях им принадлежит большая будущность. И помочь им в этом должен весь Советский Союз. Я хотел бы, чтобы их искусство было окружено всеобщим вниманием.

Я поднимаю тост за то, чтобы процветало таджикское искусство, таджикский народ, за то, чтобы мы, москвичи, были всегда готовы помочь им во всем, что необходимо.

Эта сталинская речь, которая фактически состоит из двух отдельных тостов — за Ленина и за процветание таджикского искусства, таджикского народа и за помощь им со стороны москвичей — заслуживает специального комментария.

Сама декада была тем рутинным мероприятием, которое с помпой подавалось как «праздник советской культуры». С весны 1936 года в Москве организуются декады искусства народов СССР, и Сталин неизменно встречается с их участниками. Так, 22 марта и 25 мая 1936 года он присутствовал на встречах участников декад украинского и казахского искусства с их московскими коллегами. А с 1937 года встречи сменились приемами в Кремле: 14 января — участников декады грузинского искусства, 31 мая — узбекского, 17 апреля 1938 года — азербайджанского, 5 июня 1939 года — киргизского, 4 ноября того же года — армянского. В 1940 году наступил черед декады белорусского (прием состоялся 17 июня) и бурят-монгольского искусства (прием — 30 октября). На всех девяти приемах Сталин с речами не выступал.

И вот ровно за 2 месяца до нападения гитлеровцев на нашу страну Сталин выступает в Кремле на приеме участников декады таджикского искусства.

Ход декады освещался с исключительным размахом. Обстановку, в которой держал речь Сталин, характеризует сообщение ТАСС, опубликованное 23 апреля 1941 года. На приеме в Кремле участников декады выступил председатель Совнаркома СССР В. М. Молотов. Его выступление завершилось тостом: «Я провозглашаю тост за здоровье Сталинских лауреатов. Да здравствуют Сталинские лауреаты 1941 года! За здоровье товарища Сталина — ура!»

Далее в сообщении говорилось:

«Бурной, ликующей овацией встречается здравица, провозглашенная товарищем Молотовым. В едином порыве поднимаются все со своих мест. На таджикском и русском языках в продолжение многих минут звучат приветственные возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому Сталину — ура!» Громовое «ура» долго не смолкает под сводами Георгиевского зала.

Овация возникает с новой исключительной силой, когда В. М. Молотов объявляет, что слово имеет товарищ Сталин. Ликованию нет предела. Взоры всех присутствующих обращаются к товарищу Сталину. Рукоплескания долго не дают ему начать свою речь.

Товарищ Сталин проникновенно говорит о великом Ленине, который создал большевистскую партию, организовал Союз народов свободной страны, приучил беречь этот великий Союз. Затем товарищ Сталин поднимает тост за здоровье и процветание таджикского народа, за то, чтобы всемерно развивались его культура и искусство.

Заключительные слова речи товарища Сталина вызывают восторженную овацию. Все поднимаются в едином порыве. С огромной силой гремят рукоплескания. Многократно раздаются возгласы приветствий в честь великого вождя, учителя и друга — товарища Сталина».

Текст сталинской речи был несколько отредактирован составителями. Об этом можно судить, сравнив его с дневниковой записью присутствовавшего на приеме Георгия Димитрова. Дневники Г. Димитрова отличаются фактической точностью. Так, Димитров записал, что Сталин заявил: «Люди привыкли хвалить своих вождей, пока они не свалились». Но особенно интересна запись Г. Димитровым сталинского высказывания относительно преимуществ таджикского искусства. Составители тома передали сталинскую мысль в смягченной форме (не забудем — делалось это уже после смерти вождя): «Вы, должно быть, чувствовали в период декады, что у них, у таджиков, художественное чутье тоньше».

Г. Димитров записал подлинный текст: «Таджикский народ особый, он имеет старую, богатую культуру. Выше стоит, чем узбеки и казахстанцы. Это проявилось особенно в декаде».

Речь Сталина — еще одно свидетельство лживости антинародного режима, который постоянно выдавал желаемое за действительное и сводил на нет все подлинные социальные и культурные завоевания советских народов, добытые неимоверным трудом и оплаченные кровью. И еще одно доказательство того, как опасна замаскированная имперская демагогия вообще, а особенно — в национальной политике, в сфере межнациональных отношений. Великое дело развития культур советских народов сталинизм переродил и выхолостил, вогнал в нужные ему границы, изуродовал согласно формуле «искусство национальное по форме, социалистическое по содержанию». Она предусматривала упразднение своеобразия каждой культуры, их унификацию, клиширование по общеобязательным образцам.

Поэтому так труден путь наших национальных культур к своим истокам, к корням — к возрождению.

На фестивальных орбитах

Е. Левин

Несентиментальное путешествие

Гданьск-90

Плакали, не таясь, и пожилые, и юные,— а молодежи в зрительном зале XV фестиваля польских художественных фильмов было много (по-моему, явно больше половины). Шел «Корчак»: внеконкурсным фильмом Анджея Вайды открылся очередной Гданьский фестиваль. Когда эта замечательная картина пойдет у нас, каждый, кто захочет, сможет убедиться: нигде, ни в одном кадре режиссер не выжимает из нас слезы. А удержать их невозможно. «Как ты смеешь бить ребенка?» — не столько возмущенно, сколько с удивлением спрашивает у полицейского Корчак, и зал отвечает глубоким вздохом; в самом деле, к чему все наши труды, благие планы и помыслы, заботы и старания, если страдают дети?

Видимо, не случайно тема детства, семьи и ребенка в семье стала центральной или одной из основных во многих лентах фестиваля (на нем была представлена продукция 1989 и 1990 годов). Тема эта дала кинематографистам возможность осветить и самые острые противоречия польской действительности с полной мерой тревоги, озабоченности и ответственности. И при этом — без паники, мелодрам и самоедства, а строго, трезво, бесстрашно — и с необыкновенной сердечностью, изнутри согревающей повествование.

«300 миль до неба» Мацея Дейчера — история прямо-таки фантастического бегства в Данию двух братьев-подростков («Золотыми львами Гданьска» отмечены режиссер за дебют и оператор Кшиштоф Птак). Перипетии дерзкого, чудом удавшегося побега (в основе фабулы — подлинное событие, случившееся в 1985 году) прочно держат зрительское внимание, однако вскоре становится ясно, что перед нами совсем не приключенческая лента, а глубокое и горькое социально-психологическое художественное исследование.

Почему подростки (Гжеся играет Войцех Клата, Ендрека — Рафал Зимовский, оба бесспорно талантливы) решили бежать? Им плохо живется в семье? Отнюдь! Достаточно взрослые в свои 12 и 15 лет, Ендрек и Гжесь знают: не отец с матерью виноваты в том, что уделяют им мало времени и внимания. Жизнь сурова к «предкам». И она воссоздана на экране великолепно — в тяготах быта, в какой-то выморочности и бесцветности человеческих отношений, в автоматизме, повторяемости повседневности, а основное — в ее безысходности и безнадежности. Авторы фильма предельно внимательны, ибо хотят показать, как ненормальная среда калечит юные души. Как им тяжело, страшно, одиноко в этом мире, непонятно почему таком холодном и лживом. Как они сопротивляются, пытаясь защитить и отстоять все лучшее, что в них есть. Сердце сжимается от боли. Почему, за чьи грехи страдают дети, что же с ними будет в этой собачьей жизни, такой нам знакомой? Сколько же еще можно ее терпеть?

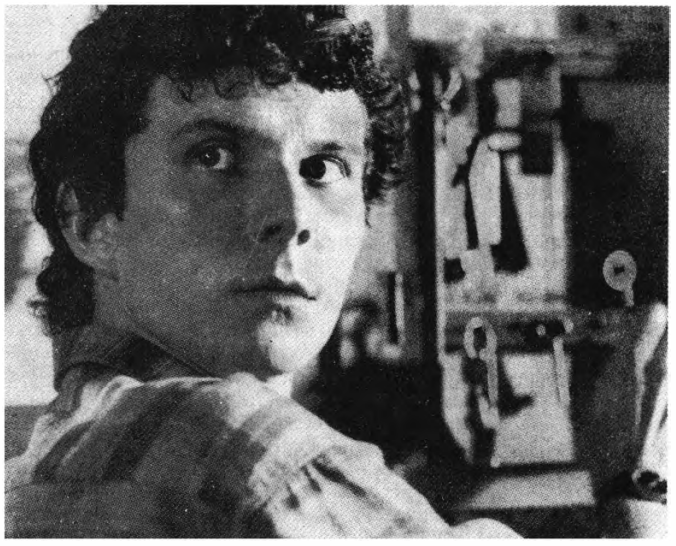
Но есть предел смирению, покорности, апатии. Насилие над личностью неизбежно порождает отпор. Сначала — на бытовом уровне, в рамках повседневности, в «ячейке государства» — семье. От родителей Гжеся и Ендрека требуют, чтобы они осудили побег сыновей и уговорили или заставили их вернуться. Отец колеблется, но мать решительно отказывается это сделать. Неслыханный скандал! Мать одобряет поступок своих молодцов, она гордится ими! Немедленно следует наказание — лишение родительских прав. Здесь, к финалу, содержание фильма расширяется и углубляется. Семья против бесчеловечного государства. Семья в борьбе за естественные человеческие права.

Но суть не только в этом политическом конфликте. Замысел не сводится к нравственной проблематике. Когда видишь, как усталая, измученная, изверившаяся женщина, вначале оглушенная вестью о побеге сыновей и не находящая себе места от тревоги за них, преображается, духовно возрождается, когда радуешься, что к ней возвращается сознание собственного достоинства, ибо в ней пробуждаются гордость, уверенность в себе, в своей правоте, внутреннее спокойствие, презрительное отношение к рабским душонкам, одним словом, знаменитая шляхетность,— приходит мысль: вот он, польский характер.

Национальный характер — сколько о нем сказано и написано на всех языках! А он как был, так и остается своего рода опознаваемым и познаваемым, но до конца не познанным объектом. В самом деле, какими только способами, приемами, методами не пытались его исчерпывающе описать, однозначно определить, «вычислить» и объяснить! А он — вот он, видим и осязаем, а — ускользает от любой системы коор-

динат, не дает набросить на себя сетку самых доказательных характеристик, победительно ломает самые прочные формулы. И живет своей жизнью — неформализуемый, текучий, как плазма, умопостигаемый, конечно, однако в целокупности и особости своей данный нам не в анализе, а в непосредственном восприятии — в естественном духовном общении-диалоге. Так что для каждого из нас открытие инонационального характера есть и акт национального самопознания, рефлексируя о себе самом как о характере национальном. Иначе «другой» воспринимается как «чужой» и «чуждый», не как вариант нормы, законный и желательный, не как ипостась общечеловеческого типа, то есть не как «другой-я», а как «не-я», то есть как нечто «мне» внеположное, со «мной» никак не связанное, нарушающее норму, которую лишь «я» воплощаю.

Не счесть попыток определить национальный тип — например, атрибутивным путем. Составлялись подробные списки типичных черт характера: русского, английского, испанского и т. д. И что же? Оказывалось, что большинство признаков в этих каталогах совпадают, а различия — второстепенны. Самое дотошное перечисление атрибутов — не более чем казенная анкета: в ней есть статичные приметы личности, но нет самой личности, которая существует как духовный процесс — живое единство подвижных противоречий, конфликтное сочетание постоянных и переменных свойств. Национальный характер, явленный нам в действительности, постигается прежде всего интуитивно, духовным зрением, осознается, при всей его определенности, как нечто неисчерпаемое, а воспринимается и как реальное лицо, и как образ. Говоря, например (безоценочно): «типичный француз», мы совершаем акт художественной типизации (которая включает в себя и антропологическую, и социологическую, и психологическую). Именно поэтому мы каждый раз можем в процессе личностного общения и прозрения почувствовать, пережить и осознать то сверханкетное, несуммарное единство — воистину эйзенштейновский монтажный образ! — каковым является национальный характер. В противном случае — для нехудожественного, то есть схематизирующего, статичного, «рентгеновского» восприятия, для формализованного сознания «типичный француз» — это не индивидуальность во всей своей единственности, в противоречивой целокупности общего, отдельного и единичного, а всего лишь собирательный (положительный или отрицательный) «представитель французской национальности» — на языке нашей канцелярщины.



«Последний звонок», режиссер Магдалена Лазаркевич

Так — вернусь к фильму — мать Гжеся и Ендрека в исполнении Ядвиги Янковской-Цесляк — настоящая, доподлинная полячка, неотделимая от времени событий; это настолько ясно, что не нуждается в доказательствах — и не представляю, как может быть опровергнуто. Бунт беззащитной женщины вполне осознан, и это доказывает, что нация жива, народ не манкуртизирован окончательно, Польша не пропала, не сгинула. Семья — последняя линия обороны человека и гражданина от мертвящего государства — и первая линия наступления на него.

В фильме об этом впрямую нет речи, однако он весь говорит о сопротивлении живой жизни казарменному устройству, а дух непокорности здесь — это именно польский дух. В чем он воплощен? Ни в чем отдельном. В целостном художественном образе польского мира на экране.

В ином регистре разрабатывается тема семьи и детства в фильме Яцека Блавута «Ненормальные». Эта удивительная лента почему-то никак не была отмечена жюри фестиваля, а зрителями принята хорошо, с неподдельным волнением. Действие происходит в детском доме для олигофренов. Съемки фильма длились около двух лет. В реальную, документально запечатленную среду

больных детей, их воспитателей и врачей был включен актер — в роли дирижера, который создает оркестр из несчастных существ со слабыми проблесками сознания. У него ничего не получается, он теряет терпение и хочет уехать, однако дети, в которых — благодаря ему — эти проблески усилились, тяжело переживают измену, и молодой человек, много открывший и в самом себе, останавливается на дороге в нерешительности...

Фильм смотришь, боясь упустить малейшую подробность. Вот как в трудные для Польши годы живут эти дети, как устроен их быт, как общаются с ними воспитатели, вот какая это педагогика... да полно, привычное слово звучит здесь бедно и сухо: тут нечто гораздо большее, что одним понятием не охватить. За отношением к больным видится отношение к жизни, вырисовывается система нравственных ценностей и все то мирское и духовное, что отличает народ от народонаселения и страну — от скопища населенных пунктов. Страна, которая так заботится о тех, кого мы видим в фильме «Ненормальные», не могла не найти в себе силы, чтобы покончить с миром, где преступниками были объявлены нормальные дети. Щемит сердце каждый раз, когда вспоминаешь их, но не потому, что фильмы жалобны или слезливы: трогательные без причитаний, волнующие без сентиментальных эффектов, эти фильмы дают незабываемые уроки действенного гуманизма, активной доброты. Дети смотрят на нас! И ждут. И нельзя терять ни часа.

Об этом — и картина Магдалены Лазаркевич «Последний звонок», отмеченная в 1989 году двумя наградами польской прессы на киносмотре в Кошалине. События фильма разворачиваются в выпускном классе лицея в городке под Гданьском. Класс состоит в основном из «трудных подростков», точнее, юнцов. Впечатление складывается мрачное, хотя ребята — каждый в отдельности — неплохие, отнюдь не пропащие. Но не знают, для чего им жить. Официальные ценности отвергаются с порога, а других нет, одно же отрицание, как мы говорим, неконструктивно и не может наполнить жизнь положительным смыслом, созидательными целями.

Это по-настоящему страшно, хотя и здесь не малюются ужасы, нет следов истерики, паники, на пожар не звонят, а внимательно всматриваются в ребят — требовательно, с пониманием, с верой и надеждой. Сама же фабула сурова. К миру взрослых авторы фильма беспощадны. Класс «отпетых мерзавцев» преображается, а вот дирекция лицея, почти все преподаватели — их, похоже, ничто не исправит, не очеловечит.

«Допрос», режиссер Рышард Бугайский

Преображение части «потерянного поколения» происходит благодаря искусству и дружной совместной работе: по предложению принятого в лицей Нового (Збигнев Сушиньский), изгнанного из гданьской школы за распространение листовок «Солидарности», ученики создают школьный театр, чтобы поставить спектакль и высказать в нем свое отношение к миру.

И еще один фильм, в котором тема семьи и детских судеб хотя и проходит по второму плану, однако звучит мощно и трагически,— «Допрос» Рышарда Бугайского (специальный приз за сценарий и режиссуру), поставленный еще в 1982 году и снятый с «полки» через семь лет[1]. Тема эта возникает к финалу и придает картине новое дыхание, еще одно социально-психологическое измерение.

В тюрьме Антонина Дзивиш, измученная пытками, но не сломленная (события разворачиваются в начале 50-х годов), рожает дочь (это больше символический, чем реальный план содержания, его метафорический смысл очевиден).

[1] См. о нем статью Н. Игнатьевой.— «Искусство кино», 1990, № 10.

Вскоре Малгосю у матери отнимают и отдают в детский дом, где она растет, как сирота (с оставшимся на воле мужем у Антонины, мягко выражаясь, сложные отношения, ее ребенок — от другого человека, поручика госбезопасности, одного из мучителей ни в чем не повинной актрисы, ставшей жертвой отвратительной провокации. За эту роль Кристина Янда, хвалить игру которой просто не хватает слов, получила «Золотых львов Гданьска» — вслед за наградой на Каннском фестивале 1990 года). И вот, выйдя после смерти Сталина на свободу, Тоня разыскивает Малгосю и вместе с ней возвращается домой — не зная, домой ли? Примет ли ее муж? У нее

«300 миль до неба», режиссер Мацей Дейчер

одна надежда — дочь, она и защита, и единственное, что у нее есть в жизни, и ее оправдание, если нуждается в нем жертва. Дети смотрят на нас — из завтрашнего дня.

К нему обращены — не все прямо, на фабульном уровне, а метафорически — многие фильмы Гданьска-90. Мир, который они рисуют, суров, но не безнадежен, не застыл в неподвижности. И в них не видно примет «польских комплексов» (упомянутых и в статье В. Соловьева и Е. Клепиковой «Гамлетовы сомнения Кремля: как быть с Польшей?»[2])

Сказать, что картины фестиваля политизированы, что это — «политическое кино»,— значит ничего не сказать: расхожее определение всегда было расплывчатым, рабочим, опознавательно-ситуационным, но всякий раз имелось в виду, что политика — некий особый субстрат общественной жизни или ее аспект, уровень, так или иначе сопрягающийся с повседневностью. В польских же фильмах прошедших двух лет (где речь идет о современности и о войне с фашизмом) такого деления нет. Политические проблемы суть бытовые, и наоборот, политика стала жизнью, жизнь — политикой (осознают это персонажи или нет), а так происходит всегда, когда будущее народа находится под угрозой, когда приближается или уже разразилась общенациональная катастрофа, когда страна стоит перед решающим выбором.

Поэтому фестивальный экран явил зрителям фильмы, общую черту которых я не могу определить искусствоведческим термином: внутреннее родство лежит не в художественной плоскости, а в социопсихологической. Его трудно выразить точно в привычных понятиях, ни одно из тех, что приходит на ум, не адекватно явлению, но если смириться с неизбежной неполнотой, то рискну сказать так: эти фильмы порождены неромантическим сознанием. Романтическое здесь — не из оппозиции «романтизм — реализм», а из области «нас возвышающего обмана»; неромантическое — значит освобождение от прежних исторических иллюзий, прозаическое, или не то чтобы прозаическое, а ориентированное на конкретную историческую практику,— *деловое* сознание, каким бы лексически чужеродным, даже диким ни показалось в данном ряду это последнее определение. Возможно, специалисты со мной не согласятся, но вряд ли подлежит сомнению то, что фестиваль был смотром обновленного польского кино (разумеется, органически связанного со всей его историей, однако сложно взаимодействующего с некоторыми коренными культурно-кинематографическими традициями).

Правда, обновление не коснулось заметным образом киноязыка: разрабатывается традиционная поэтика. Профессиональный уровень достаточно высок, актерский — очень высок, а вкус к экспериментам в области формы не ощущается. Тяги к игре с формой, ориентации или оглядки на эстетизм нет,— ничего такого, о чем можно было

[2] См.: «Искусство кино», 1990, № 10.

бы сказать: мелковато, но хорошо придумано, пустячок, но забавно. Пожалуй, единственная работа, которая может быть названа экспериментальной,— вызвавший у многих шок и породивший споры фильм Анджея Жулавского «Борис Годунов» (мягко скажу, вольная экранизация оперы Мусоргского), однако о нем надо говорить отдельно.

«Корчак» — вот, насколько я могу судить, самое характерное и этапное во всех отношениях произведение, в котором, по-моему, наиболее полно воплощена художественная программа сегодняшнего польского киноискусства и выражен его национальный дух. Эту программу можно назвать неэкспериментальным, неавангардистским новаторством — предельным напряжением сложившейся поэтики, полной реализацией ее возможностей и, прежде всего,— в создании образа мира на экране. Мир как депоэтизированная, конкретно-историческая среда обитания и как незеркальная проекция вовне мира внутреннего, духовного — вот основная задача, гениально решенная в «Корчаке».

На пресс-конференции после премьеры фильма Анджей Вайда рассказал о том, как важно было ему с оператором Робби Мюллером и молодым художником Алланом Старским восстановить облик варшавского гетто — следов тех лет нигде не осталось. Помог... Геббельс. Оказалось, по его заданию немецкие операторы долго снимали жизнь гетто — день за днем: министр пропаганды задумал выпустить документальный фильм о том, что нацисты лишь изолировали евреев в Варшаве (для их же пользы, разумеется), а все, что происходит внутри,— результат борьбы бедных с богатыми. Просмотрев отснятый материал, Геббельс велел положить его на «полку», поняв, что как с пленкой ни манипулируй, получится фильм, противоположный задуманному. И вот эту хронику Вайде и его сотрудникам удалось посмотреть. Она стала для них моделью материально-пространственного мира гетто.

Может возникнуть вопрос: а надо ли было стремиться к полной его достоверности? Ведь она недостижима, ибо киноизображение всегда обладает художественной условностью. Это верно, однако Вайда добился того, что в «Корчаке» условность среды исчезающе мала. А нужно это ему для того, чтобы внешний мир перестал быть только внешним, фон утратил функции второго плана и стал планом первым, психологически зримым выражением внутреннего мира персонажей, когда видимое пространство есть безграничное пространство души. Сделано это с мастерством необыкновенным, полифония сложнейшая и тончайшая; пользуясь формулой Эйзенштейна, можно сказать, что фильм выглядит, как хроника, а действует, как трагедия. Новаторская народная трагедия нашего времени.

Возможности такого новаторства, порожденного постромантическим мироощущением, видимо, не исчерпаны. Достаточно вспомнить путь хотя бы Анджея Вайды от «Земли обетованной» (1975) к «Человеку из мрамора» (1976), от него — к «Человеку из железа» (1981), «Дантону» (1982) — и вот «Корчак» в 1990 году. А в 1978 великий режиссер поставил фильм «Без наркоза». Точное и одновременно символическое определение творческого и гражданского пути не одного только Анджея Вайды.

Наталья Сиривля

От перемены участи к перемене сознания

София-90

В период непродолжительного затишья между всплесками бурных общественных событий почти незаметно прошел в Софии фестиваль национального кино. Столичные жители, озабоченные многочасовыми очередями, нехваткой продуктов и бензина, ежедневным отключением электричества, дружно его игнорировали несмотря на то, что программа фестиваля включала в себя около сорока только художественных фильмов (не считая мультипликацию), то есть представила практически все, что было создано в болгарском кино за последние два года. За те самые два года, в течение которых в стране произошло свержение коммунистической диктатуры (как в реакционном, так и в либеральном вариантах), прошли выборы в национальный парламент и сформировано демократическое правительство (сегодня уже отправленное в отставку).

Так что кино революционной эпохи не вызвало большого интереса со стороны революционного народа. Это вполне объяснимо: как и другие соцстраны, Болгария переживает сегодня духовный кризис, распад культурной мифологии — той почвы, на которой произрастает массовый кинематограф. Кроме того, западные фильмы, которые с успехом идут сегодня во всех кинотеатрах Софии, гораздо лучше снимают социальные стрессы, нежели свое, родное искусство, зараженное всеми тайными и явными болезнями, которые испытывает коллективное бессознательное...

Итак, 38 болгарских художественных филь-

мов. Первое, что бросилось в глаза,— различие между кинематографом дебютантов и фильмами тех, кто начинал свой творческий путь в старые добрые застойные времена. Образно говоря, между кинематографом вольноотпущенников тоталитарной системы и кинематографом «рожденных свободными».

Первые еще хранят память о социальной миссии «важнейшего из искусств», их кино делается на заказ, «отвечает потребностям», выполняет общественную функцию и т. д. Правда, суть «социального заказа» резко изменилась: его задача — философское осмысление тоталитарного прошлого, развенчание былых идеологических мифов.

Причем если в нашей стране разоблачительный пафос нашел свое выражение в кинематографе, устремившемся по пути гипернатуралистического воспроизведения самых мрачных сторон социального бытия, то в Болгарии все не так. «Чернухи» в нашем понимании в болгарском кино практически нет. Ведущим жанром обличительного кинематографа здесь оказывается притча — условно-иносказательное повествование, моделирующее жизнь страны и судьбу нации вообще.

В фильме «Зона В-2» (режиссер Чавдар Гагов) микромоделью тоталитарного общества является некий дачный кооператив, бодро соревнующийся с другими, себе подобными. Внешне все выглядит привлекательно: коттеджи, увитые цветами, подстриженные газоны. На открытых верандах мирно обедают скучающие обыватели, они принимают гостей, сплетничают, изменяют мужьям или женам, словом, живут в свое удовольствие... Единственным признаком неблагополучия оказывается здесь наличие вроде бы и второстепенных, но жестких ограничений: простым смертным, например, запрещено держать животных, и когда один из героев подбирает в лесу олененка, бедное животное и его хозяин становятся объектами чудовищного давления со стороны коллектива, организованного по законам классического тоталитарного социума: тут и таинственный всесильный босс, и стукачи, и активисты, всевозможные комиссии и депутации. Травля продолжается до тех пор, пока невинное животное, обманом отобранное у хозяина, не оказывается главным блюдом на коллективной пирушке в присутствии всех действующих лиц...

Сходные способы моделирования социальной притчи мы видим во многих болгарских картинах. Местом действия в них оказывается замкнутое пространство, внутри которого царит Большая Ложь — система перевернутых идеалов и сдвинутых ценностей. Причем сущность произведенной подмены не так уж важна: это может быть и великий праздник — Карнавал, которому подчинена вся жизнь обитателей маленького городка в фильме «Карнавал» режиссера Иванки Грыбче-

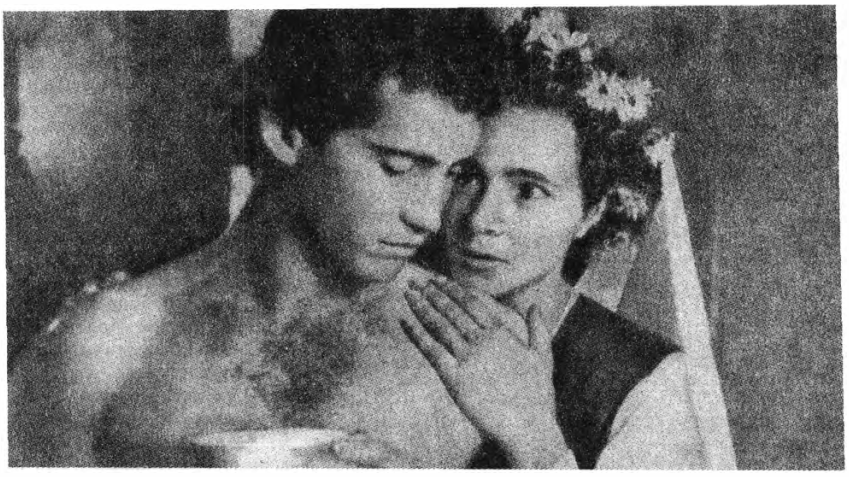
«Зона В-2», режиссер Чавдар Гагов

вой, это может быть идиотское соревнование между Зонами, как в фильме «Зона В-2», может быть Заповедник, в котором нет и никогда не было животных, требующих охраны («Заповедник» режиссера Эдуарда Захариева), или странная игра в индейцев, навязанная жителям целого села сынком местного босса в фильме «Индейские игры» Ивана Андонова. Система тотального обмана здесь не только средство сокрытия истины, в первую очередь это орудие власти. Власть, основанная на лжи, ставит членов социума перед выбором между благополучием и личной независимостью, между сытостью и свободой и, повязав всех узами тотального конформизма, превращает коллектив в послушное стадо. Эта схема довольно точно отражает природу болгарского тоталитаризма, который, как и в других восточноевропейских соцстранах, был под присмотром Кремля и вынужден был в целях поддержания стабильности балансировать между относительным либерализмом в области удовлетворения наиболее насущных имущественных интересов большинства и жестким подавлением опасного свободомыслия.

Однако настает момент, и в этом мире всеобщей лжи появляется герой, чистый, наивный, мужественный, который стремится восстановить Истину. Как и следовало ожидать, он терпит поражение, система уничтожает его с чудовищной, изощренной жестокостью. В фильме «Заповед-

ник» директор заповедника пытается расследовать случаи браконьерства, а также загадочные обстоятельства смерти своего отца. Но как только герой начинает догадываться о фиктивном характере заповедника, его уничтожает банда наемных убийц.

В фильме «Индейские игры» молодой герой попадает в деревню, все жители которой работают на таинственном руднике. Люди здесь превращаются в мутантов, природа — в мертвую степь, мужчины — в импотентов... Герой горит желанием понять, что же это за рудник, и донести правду о его деятельности окружающим. Но ребенок, сын хозяина рудника, имитируя церемонию некоего жертвоприношения, отправляет на тот свет незадачливого правдолюбца.



«Индейские игры» режиссер Иван Андонов

Все эти фильмы еще далеки от объективного исследования тоталитарного общества и являются скорее выражением подспудных эмоций, подсознательных комплексов страха и бессилия перед лицом враждебной реальности. Все вокруг словно гигантская провокация, дьявольский соблазн, хитрая ловушка, из которой человеку не выбраться.

Герой борется за восстановление патриархального космоса, природно-человеческой гармонии, разрушенной, исковерканной хищническим, беззаконным вторжением.

Однако патриархальное представление о мире, выступающее здесь мерилом Истины, оказывается духовно несостоятельным в борьбе с дьявольским соблазном тоталитарного социума. Оно не знает начала личной, индивидуальной свободы, и человек — носитель его — будучи поставленным перед выбором между сытостью и свободой, неизменно склоняется к первому. Так что безысходность еще и следствие нравственной разоруженности, неспособности к противостоянию.

Такое же ощущение царит и в фильмах, далеких по стилю от притчевых иносказаний: их тональность — такая же безысходная, конфликты такие же, абсолютно тупиковые. В фильме «Дефицит» (режиссер Хаим Коэн) отчаянное желание молодой женщину получить пристойную квартиру втягивает ее в чудовищный механизм коррупции, перемалывающей ее и ее семью. В фильме Николы Волева «Маргарит и Маргарита» героиня — прелестная, юная, жизнерадостная танцовщица — становится наложницей номенклатурного негодяя, роковым здесь опять же оказывается ее желание получить квартиру. В картине «Угроза» (режиссер Борислав Геронтиев) некий патриархальный старик вынужден согласиться на ненавистную ему службу сторожа в загородном домике для высоких гостей, ибо сын его мечтает о работе шофера на международном трайлере. Стремление сына и невестки к безудержному накоплению старик прямо называет дьявольским наваждением, видя в нем главный источник зла, но противостоять ему он совершенно бессилен.

Естественные и вполне законные человеческие желания — иметь крышу над головой и приличный достаток — мы вынуждены оплачивать ценой утраты моральных норм, без которых человек, общество, народ существовать не в состоянии...

Любопытно заметить, как изнанка тоталитарного сознания проступает в чисто развлекательных картинах — таких, как «Брачные шутки» или «Разводы, разводы», действие которых разворачивается в той сфере, где гражданам тоталитарного государства предоставлялась относительная свобода — в сфере брачно-семейно-имущественных отношений. Герои этих картин чувствуют себя здесь вполне комфортно и, отличаясь редкой бездуховностью, отнюдь не страдают от ущемления высших своих устремлений.

Фильм «Разводы, разводы...» тем не менее войдет в историю, ибо он способствовал рождению двух интересных картин: фильма «Лагерь» режиссера Георгия Дюлгерова[1] и новой работы Рангела Вылчанова «Неугомонная птица Любовь».

Для фильма «Разводы, разводы...», состоящего

[1] О фильме см. также: «Искусство кино», 1990, № 10.

из нескольких новелл, Вылчанов снял эпизоды-связки; они оказались лишь частью большого материала, из которого выросла картина под названием «Неугомонная птица Любовь». Фильм начинается сценой гигантского митинга на площади у Александровского собора. На фоне тысячной толпы, объединенной общим настроением, некий режиссер в красном берете (его играет актер Ицхак Финци) трагически сетует на то, что не знает, как дальше жить и снимать кино. Потом появляется девочка-Любовь — шестилетнее дитя, сбежавшее из тоталитарного детского сада, и они отправляются на экскурсию по ки-

«Экзитус», режиссер Красимир Крумов

ностудии, где как раз и снимают фильм, состоящий из нескольких предельно абсурдных новелл... Эта картина — и жестокая пародия на фильмы типа «Разводов», и насмешка над кинематографом вообще, это лирический, печальный реквием тому пестрому, чаще всего бессмысленному и суетному миру, каковой представляет из себя сегодня болгарское кино, в растерянности остановившееся перед стихией политических перемен. В то же время его фильм — и упование на возрождающую, вечную силу любви, которая неизменно спасает искусство и мир. Яркая, причудливая кинофеерия в феллиниевском духе — грустный итог уходящей в прошлое эпохи в жизни болгарского кино.

Если кинематограф «старших», несмотря на энергичные попытки приспособиться к изменившейся конъюнктуре, все-таки неразрывно связан с мироощущением предшествующей эпохи, а значит, так или иначе прикован к ситуации духовной несвободы, то фильмы режиссеров-дебютантов отличаются в первую очередь резкой сменой угла зрения. Несовершенство социума интересует авторов гораздо меньше, нежели проблемы самоопределения личности. Интересно, что эпохой, в наибольшей степени привлекающей внимание начинающих режиссеров, оказались годы 60-е, время слишком рано прерванной «оттепели», время удушенной в колыбели свободы. Именно там, в 60-х, этот кинематограф обретает героя, еще не задохнувшегося в парнике тоталитаризма, еще не приведенного к общему знаменателю. Фильмы «Экзитус», «Молчание», «Я — графиня» — это не просто ретро, не ностальгическое возвращение к чему-то давно пережитому, это фильмы — как бы не поставленные в свое время и снятые теперь ради восполнения какого-то недостающего звена художественной и социально-психологической эволюции общества. Это попытка, вернувшись на двадцать пять лет назад, вновь пережить непережитый тогда опыт духовной свободы, отсутствие которого столь болезненно сказывается сегодня.

Фильм «Экзитус» (режиссер Красимир Крумов), получивший специальный приз жюри,— черно-белая лента, возвращающая нас к полудокументальной эстетике фильмов двадцатипятилетней давности, с их пристальным и любовным вниманием к подробностям бытия, теням и шероховатостям на поверхности самостоятельно текущего потока жизненных явлений. Это странная история человека, уже выпавшего из социальной игры, изгнанного из университета за какие-то политические грехи, живущего в маленькой коммуне, состоящей из таких же неудачников — художника и покладистой, милой женщины-фотографа, ведущих маргинальное существование в условиях призрачной богемной свободы. В этой их жизни есть какая-то болезненная надломленность, ущербность, неподлинность; и беда тут вовсе не в сломанной карьере. Источником страдания для героя является давний комплекс вины, связанный с эпизодом его юности, когда он не вынес из огня своего брата-близнеца, слабоумного юродивого Мани. Мани, загадочный облик которого — неизменный атрибут преследующих героя кошмаров,— несомненно, персонификация утраченной, преданной, отброшенной стороны души, мистического измерения его личности. Изначально существующий, как бы тлеющий внутренний конфликт обостряется под влиянием случайного трагического происшествия: смерти бездомного алкаша-истопника в котельной. Наш герой предпринимает настойчивые попытки выяснить обстоятельства его житейского крушения, найти его родственников, причем он движим не столько даже чувством сострадания, им руководит внезапно, вдруг, запоздало пробудившееся ощущение абсолютной, невосполнимой ценности человеческой жизни. Именно оно и становится началом духовного выздоровления героя.

Фильм «Тишина» (режиссер Димитр Петков, Гран-при «Золотая роза»), действие которого также развивается в 60-е годы, пожалуй, единственный из фильмов «молодых», где противостояние интеллигенции и власти изображается впрямую, составляет суть конфликта. Но в отли-

чие от фильмов типа «Заповедника» или «Индейских игр» здесь противостоят друг другу свобода осознанная, воплощенная в творчестве, в общении, в стиле жизни, и — безличная, неперсонифицированная сила, которая хоть и загоняет эту свободу в подполье, однако не в силах ее уничтожить. Герои фильма, дети непродолжительной «оттепели» — поэты, художники, переводчики, писатели, врачи,— живут, не желая считаться с явственно обозначившимися признаками вновь наступающей тоталитарной стужи, они остаются верными себе в ситуации абсолютного, тотального жизненного крушения. Неистребимость свободы декларируется режиссером, силы, участвующие в конфликте интеллигенции и власти, остаются при своем, ситуация, в сущности, не получает развития, вернее, развитие ее чисто внешнее.

Главная удача этого фильма — операторская работа Христо Бакалова. В отличие от «Экзитуса» камера здесь не застает мир врасплох со всеми случайностями его физического бытия, но представляет его как объект напряженного эстетического созерцания: это мир, полный красоты, смысла и возможностей человеческой реализации.

«Я — графиня» Петра Попзлатева — картина, уже получившая международное признание, тоже ретро-фильм. Героиня фильма — взбалмошное создание эпохи Софийского молодежного фестиваля, борьбы с государством за право носить короткие юбки, узкие брюки и обниматься на улицах, впервые, отчасти по собственному легкомыслию и даже преступной глупости, отчасти по равнодушию взрослых, попадает под колеса репрессивного механизма. Перед нами все приметы сломанной судьбы: административная высылка в село, несчастная любовь, криминальная история, в которой она оказалась замешана, колония, наркотики, психбольница... В конце концов, когда становится очевидным, что жизнь ее окончательно поделена между тюрьмой и лечебницей для наркоманов, она неожиданно оказывается на свободе, оставшись наедине со своим полным неумением жить, вновь ломается и в ужасе от открывшейся перспективы уже сама в финале бежит в больницу в надежде на помощь. Вызывающая асоциальность, лихорадочное, нервное, отчаянное стремление героини все делать назло,— лишь негативные отражения господствующего порядка, тоже своего рода форма несвободы, зависимости от обстоятельств. Все это заслоняет главную проблему человеческой жизни — проблему обретения самого себя. Этот итог фильма подводит притча, которую рассказывает старый врач-психиатр в ответ на отчаянный вопрос героини — можно ли ее спасти: «Был один человек, совершенно беспомощный, он не умел есть, пить, одеваться... В конце концов его всему этому научили. Он пришел к врачу и говорит: теперь я могу делать и то, и другое, и третье... Но скажите, Бога ради, где же теперь я сам?»

«Где же теперь мы сами?» — этот вопрос-проблема — главный вклад «новой волны» в сегодняшнее болгарское кино, в неизбежный процесс восстановления самоощущения свободного человека, без которого нация не сможет совершить скачок из временного «царства свободы» в мир, где правят нормальные человеческие законы. Именно этот кинематограф — подчеркнуто элитарный, талантливо-ученический, жадно усваивающий язык достижений европейского кино, был на фестивале наиболее обнадеживающим свидетельством возможности выхода из кризиса, возможности реанимации кино как искусства, которое не обслуживает, не наставляет, не развлекает, а удивительным образом воссоздает духовную реальность, просвечивающую сквозь объекты материального мира.

Виктор Гульченко

Что тот народ, что этот...

Сан-Себастьян-90

Наивные или не вполне искренние пролетарии умственного труда из стран капитала добрые пять лет потратили на восторженное повторение слов «perestroyka» и «glasnost». Им — говорить. Нам — жить. Сегодня им многое непонятно у нас. Да и не может быть понятно нормальным людям абсурдное, нелогичное, а часто и просто несусветное: «renyxa».

Обрекший себя на самоистязание, на самоуничтожение народ называется советским по явному недоразумению. И не только потому, что у нас никогда не было и до сих пор нет советской власти. А оттого, что если бы таковая и была, то как в реальности можно организовать многонациональное наше сообщество в «советский народ»? Это чисто политическое определение, не имеющее под собой серьезных историко-культурных, этнических предпосылок: ведь не от смешанных же браков туркмена, скажем, с украинкой или чукчи с эстонкой возникает «новая историческая общность»!

Конечно, «Кубанские казаки», например,—

фильм именно о *советских*, а не о русских людях.

Как нет «советского народа», так нет и «советской культуры» (есть только газета с таким названием), «советского искусства» (прежнее название той же газеты). Ибо на территории СССР проживают многие народы, и у каждого была и есть собственная культура.

С позиций нормального государства, в той же Литве живут граждане этой республики, а никакие не литовцы, поляки, русские или белорусы. Прерогатива государства — гражданство. Национальность же — прерогатива семьи, мамы с папой, бабушки с дедушкой.

«Ава и Габриэль», режиссер Феликс Ле Рой

За крушение советской империи расплачиваются явно не те: там, где партийные паны дерутся, у холопов, и «самостийщиков» и «космополитов», чубы трещат.

Национальное искусственно уравнивается с народным.

Тот же Юз Алешковский, живя в США, написал недавно повесть «Руру», где вывел истинно русский народный характер. Григорий Рошаль в своих мемуарах-рассказах любовно воссоздал еврейский народный характер (оба произведения напечатаны в данном номере журнала). А Андрон Кончаловский, находясь в США, снял несколько американских лент. И совершенно очевидно, что Алешковский в своем творчестве на территории иностранного государства остался русским, а Кончаловский выступил там высокого класса профессионалом и только. Это ни плохо и ни хорошо, это — просто факт. С другой стороны, вспомним: за тем же Кончаловским стоит поэтическая хроника жизни русского народа — «История Аси Клячиной...», как за Параджановым — «Тени забытых предков» и «Саят-Нова»...

Народность искусства не зависит от места прописки, «пятого пункта» его мастеров (у нас) или от места проживания (во всех цивилизованных странах).

В программе 38 МКФ в Сан-Себастьяне были и конкурсные, и внеконкурсные картины, которые побудили в очередной раз задуматься над этим.

«Ава и Габриэль», лента совместного (Голландия — Кюрасао) производства, напоминает названные работы Кончаловского и Параджанова. Нельзя сказать, что она так же мастерски сделана, но она — о том же.

Постановщик картины Феликс Ле Рой воссоздал мир острова Кюрасао (гряда Антильских островов) времен 1948 года с той степенью достоверности, какая отвечает фантазиям героя ленты Габриэля, чернокожего художника суринамского происхождения, приехавшего сюда из Голландии. Условно говоря, это предкарнавальный мир, ибо обитателям южных широт, волею судеб оказавшимся поближе к Богу, кажется всего-то и выпало, что жить да радоваться. А то, что их печали выражаются в тех же ритмах и интонациях, что и радости, может лишь усилить обманчивое, конечно же, впечатление вечного карнавала. И еще это близкий библейскому мир. Ведь Габриэль вызвался расписать стены собора Святой Анны и в качестве модели девы Марии выбрал местную красавицу Аву Рекордину. Ава в облике девы Марии — натуральная святая, спустившаяся с небес прямо к нам. Габриэль, этот «человек со стороны», чужак, явившийся на далекий остров с европейского материка, тоже обретает некие дополнительные благородные черты рядом с такой моделью. Грех сближения чистой Авы и познавшего разные стороны земной жизни Габриэля трактуется здесь как библейский грех.

Краски фильма и краски полотен Габриэля совпадают.

Земное и небесное, соединившееся в этой паре, вносит диссонанс в ритуальную замкнутую жизнь острова-колонии. И то, что Габриэлю тут не место, что ему надо убираться восвояси, угадывается почти сразу с момента его появления. Но еще труднее будет Аве...

Так в этом предкарнавалье, в этом беззаботном танце ярко-синего и ослепительно-белого вызревает драма, печальней которой нет на свете. Фильм на этом настаивает, ибо в его подзаголовке значится: «история любви».

Режиссер Ле Рой явно симпатизирует Габриэлю и Аве и всем строем картины старается подчеркнуть, что библейские чувства не чужды и ему самому.

«Love story» в темпераментной аранжировке Юга воспринимается как некое особое этно-эстетическое явление.

Пространство Юга только поначалу воспринимается экзотически. Когда-то американец Роберт Флаэрти, снявший «Моану южных морей», на этом и споткнулся. Островитяне Самоа в его фильме вели безмятежное, едва ли не идиллическое существование, обеспеченное щедротами самой природы. Их жизнь была увидена больше глазами туриста, чем художника. К тому же здесь явно не хватало своей Авы, а может, и своего Габриэля.

Страстное дыхание Юга ощутимо в ряде пьес соотечественника Флаэрти — Теннесси Уильямса. Кстати, в одной из них, «Орфей спускается в ад», по-своему толкуется все та же история Авы и Габриэля. Функции Габриэля тут выполняет Вэл, тоже чужак; функции Авы — Леди Торренс.

Взаимоотношения Севера и Юга, с таким трудом и потерями выясненные в свое время в самих США, имеют и куда более расширительное, нежели гражданская война, толкование: в диалоге народных культур всего мира.

Эти взаимоотношения трудно свести лишь к непохожести укладов, традиций, темпераментов разных народов. Хотя, конечно, как есть интонации, ритмы, жесты и вообще пластика Юга, так, соответственно, все то же имеется и в распоряжении Севера.

Культуры южных и культуры северных широт давно и успешно взаимодействуют хотя бы уже и потому, что между ними установлены прочные коммуникативные связи и их представители мигрируют, оседают в различных районах мира.

«Против ветра», режиссер Франсиско Перинан

В этом смысле любопытен как синтез культур (культура США) со всеми его плюсами и, увы, минусами, так и автономное их существование (культуры народов СССР), интернациональное только в политико-лозунговом значении.

В различных культурах Юга испанский источник, наверное, один из самых богатых. Кино Испании, в свою очередь, пока не играет тут главенствующей роли, лишнее свидетельство чему — и МКФ в Сан-Себастьяне. Однако и в испанских картинах, например в ленте «Против ветра» (режиссер Франсиско Перинан), некоторые культурные ресурсы Юга обнаруживаются.

«Против ветра» — глубокая психологическая драма, что само по себе сближает ее с тем же Уильямсом. Но «Против ветра» еще и драма семьи, драма рода, и тут уже резонно вспомнить Лорку. Герои Франсиско Перинана — Хуан и Ана, родные брат и сестра, полюбившие друг друга настоящей, как у обыкновенных мужчин и женщин, любовью. Драма разыгрывается где-то вдали от людей, на южном побережье Испании — и Перинан многое передает через пейзажи, нагружая их подчас не меньшим психологизмом, чем сам дуэт посягнувших на кровосмеситель-

ство. Природа здесь выступает и адвокатом, и прокурором. А кто же тогда осудит влюбленных, кто вынесет им суровый приговор? Да Бог им судья — отвечает тонким и грустным своим фильмом Перинан.

Рядом с этим фильмом финская лента «Долли и ее любовник» (режиссер Матти Ихас) воспринимается как нечто ощутимо заземляющее «роковой» испанский сюжет. Эта драма — целиком из будней, из быта. Тут есть и чему печалиться, и чему улыбаться.

Рапси, любовник Долли, слишком независим, чтобы дорожить этой своей подругой откровенно

«Заснуть с гневом», режиссер Чарлз Барнетт

бальзаковского возраста, к тому же частенько прикладывающейся к бутылке. И в то же время именно в ней, безнадежно утратившей молодость экс-танцовщице с расплывшимся телом, он обнаруживает внутреннее превосходство над собой. Данный фильм явно доставит радость феминисткам, ибо Долли уверенно одерживает женский свой реванш, и «слабым полом» тут оказывается Рапси. То оставляющий свою подружку, то вновь прибивающийся к ней, Рапси неизменно выглядит плутоватым и ненадежным, скрытным, себе на уме человеком. Можно догадаться: он — персонаж примерно той криминальной среды, что изображена в другом финском фильме «Ариэль», показанном на прошлом МКФ в Москве. Кажется даже, будто обе картины сделаны одной режиссерской рукой.

Итак, за Долли — сила, внутреннее благородство опустившейся, но не сдавшейся личности. И еще за Долли — обаяние. За Рапси — «дно» большого города, куда он тянется сам и увлекает было за собой Долли...

Этот фильм был назван в печати «трагикомическим блюзом», в чем, безусловно, есть своя правда. С той только оговоркой, что настоящий блюз всегда — и трагедия, и комедия, и высокое, и низкое.

Блюз, этот уникальнейший вклад американских негров в культуру США, есть выражение всей жизни — то поэтическое и мелодическое ее истолкование, которое практически бесконечно.

Блюз — это путешествие из будней в вечность.

Блюз, как и джаз, не знает точек, он всегда завершается многоточием.

Да, блюз никогда не кончается: просто один блюзмен передает эстафету другому, другой — третьему. Все блюзы, и ранее сочиненные и возникающие вновь, по существу, есть один многоголосый Big Boss Blues, Papa Blues, Professor Blues, Doctor Blues — словом, великий глава великого семейства.

«Всем блюзам блюз», режиссер Спайк Ли

Северный фильм «Долли и ее любовник» и вправду по композиции и тональности напоминает блюз. Но это, конечно, всего лишь удачная стилизация блюза. Ибо подлинный блюз — заповедная зона южной негритянской культуры,

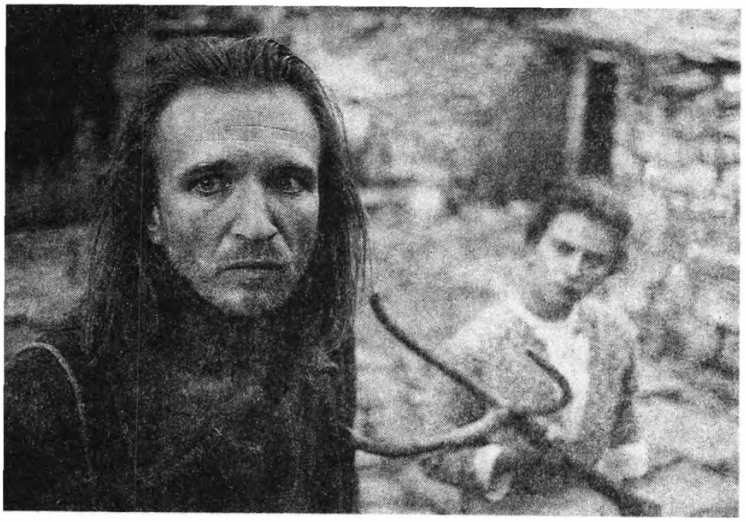
пустившей крепкие корни в фольклоре Северной Америки. Собственно, без черного блюза, как и без белого «кантри», вообще нет Америки. Вот пример дружбы двух народных культур.

Блюз — это щедрая душа, открытая любому и каждому. Блюз — это добрая улыбка сквозь горькие слезы. Блюз — это сама человечность.

В Сан-Себастьяне был показан целый цикл «черного», негритянского кино США. И, разумеется, большинство картин цикла так или иначе соприкасались с блюзом. Одна из них — напрямую. Герой фильма «Всем блюзам блюз» (режиссер Спайк Ли) музыкант-трубач. И в музыке, и в личной жизни он долго чувствовал себя на вторых ролях и, наконец, совершив взлет, стал знаменитостью. Но в этом взлете, увы, имело место и некоторое человеческое падение. Сфальшивив в жизни, он уже и в музыке не мог оставаться королем. Воистину: судьба играет человеком, а человек играет на трубе... Сходные мотивы разрабатываются и в другом «черном» фильме «Хамелеон-стрит» (режиссер Уэнделл Б. Харрис). Только здесь терпящий поражение при взлете герой поставлен в прямую зависимость от близкого окружения, от среды. Улица потому и «Хамелеон-стрит», что как будто бы принуждает человека стать конформистом. И этот герой, первоклассный баскетболист в молодости, а потом преуспевающий бизнесмен и политик, в конце концов оказывается за решеткой. Фильм своим содержанием и структурой напоминает раннюю работу Мартина Скорсезе «Я позвоню первым», где житель восточной части Манхеттена — «маленькой Италии» — сполна испытал, что значит зависеть от улицы и не принадлежать себе.

В третьем фильме «черного» цикла «Заснуть с гневом», наиболее цельном и содержательном, блюз становится его сущей плотью и душой. Режиссер Чарлз Барнетт выстроил этот фильм по канонам классического блюза, с первых же минут экранного действия задав определенную тему и затем виртуозно варьируя ее.

Традиционная негритянская семья, мирно живущая в предместье Лос-Анджелеса. Традиционный уклад, в котором все строго соразмерно, уравновешенно и сами будни воспринимаются каждым обитателем дома с тихим святым восторгом. Опора дома — старшая супружеская чета Гидеон и Сузи. И вдруг в эту достойную, благополучную жизнь врывается некто Харри. И очень скоро вся жизнь в доме начинает трещать по швам от этого гостя-чужака. Дело заходит далеко: Гидеона хватает удар, и он оказывается в постели. Но наступает и возмездие: среди вновь налаживающего жизнь дома распростерлось бездыханное тело Харри, скончавшегося, в общем-то, от злобы. Господь прибрал злодея. Но никто в доме не возликовал, Харри еще при жизни просто перестали замечать, исключили из круга общения, а когда он умер — аккуратно и спокойно похоронили.



«Время чудес», режиссер Горан Паскалевич

«Заснуть с гневом» здесь означает проснуться *без гнева*, отринув от себя зло. Проснуться с блюзом. И вот уже новое утро, за окном спальни — сверкающий сад, и младший сын Гидеона учится играть на трубе. Играть блюз и жить в блюзе...

Фильм буквально пленяет органикой повседневного человеческого существования. Влюбленностью в жизнь.

Рядом с этим «черным» фильмом лента югославского режиссера Горана Паскалевича «Время чудес» воспринимается как некое опровержение сказанного, как отказ в радости бытия всем нам, живущим в XX веке.

«Время чудес» — это время освобождения Европы. 1945 год. Послевоенная глухая деревня. Активисты-коммунисты, воинствующие безбожники, взялись уничтожить изображения святых на стенах церкви, помещение которой используется

как школьный класс. Но изображения проступают вновь и вновь сквозь густой слой штукатурки. Ни огонь, ни вода — ничто их не берет. Вот оно, чудо. И второе чудо: один из жителей не выдержал и, безумец, объявил себя мессией...

Но фильм этот интересен не как притча, а как достоверная хроника жизни одного из народов Югославии. Всмотритесь хорошенько в лица жителей этой деревни, а заодно и в лица тех, кто пришел учинять там произвол новой морали и новой нравственности. Вслушайтесь в слова детей, которых спросил однажды учитель Лазарус.

«Что такое коммунизм?» — спросил он. «Это когда у вас еды хватает каждый день»,— дружно ответил класс. «Хорошо! И где вы видите коммунизм?» — продолжал учитель. «Среди богатых людей. Они имеют достаточно еды каждый день»,— простодушно ответствовали дети. Лазарусу только и оставалось, что беспомощно развести руками.

Горан Паскалевич обратил свой фильм к детям и внукам *тех* детей: ведь уж почти полвека минуло с тех пор...

Черно-белый фильм Паскалевича по стилистике несколько напоминает «Асю Клячину...» Кончаловского. И не только по стилистике. Югославский режиссер показал нам людей — таких же, как и наши отцы и наши деды, которых точно так же через насилие и гнет заталкивали в безбожное «светлое завтра».

Бог ты мой, что ж они с нами со всеми сделали!

Ни сербов, ни хорватов, ни поляков, ни чехов, ни словаков, ни немцев, ни румын, ни венгров, ни русских, ни латышей и ни армян — сплошной «советский народ»!..

Когда нынешнего Президента нашей страны на встрече с шахтерами спросили о коммунизме, а он повторил известные формулы о «выборе», который совершил вслед за своим отцом и дедом, о преимуществах правового государства перед неправовым и обо всем прочем, уже не однажды нами слышанном, подумалось с неподдельным ужасом: и вот ради этого — *лишь ради этого* — столько лишений и потерь, столько испытаний и унижений?! И это все — «для народа» и «во имя народа»?! Какого «народа»!..

«Время чудес», все еще продолжающееся, накрепко связало киновпечатления в городе-курорте Сан-Себастьяне с просто впечатлениями в городе-герое Москве. То есть, говоря словами брехтовской песенки: «От Гибралтара до Пешавара...»

Константин Щербаков

Неделя спокойного фильма

Золотурн-91

Национальный швейцарский фестиваль в Золотурне открылся документальной лентой режиссера Жаклин Вев «Крестьянская хроника». Это неторопливое, обстоятельное, можно даже сказать — эпическое повествование о жизни, работе крестьянской семьи, ее буднях и праздниках. В частности, много экранного времени уделено приготовлению, а потом реализации знаменитого швейцарского сыра — кажется, ни один технологический этап не пропущен. По ходу этого, быть может, несколько затянувшегося зрелища лично я не скучал ни секунды. Потому что действительно было интересно, как и откуда берется этот вкуснейший продукт, который — на каждом шагу и в немыслимом для нашего человека разнообразии и изобилии. И еще: властно притягивала бесконфликтность, тревожил, волновал мою душу совершенно естественный антидраматизм экранного действия. Ни грязи, ни мерзости запустения, никто не костерил начальство сорванным голосом, не требовал мифических запчастей и не бросался в очередную заведомо проигранную битву за урожай. Уже слышу изумленное: да вы что, коллега, в самом деле не понимаете? Это же Швейцария, а не «средняя полоса». Ну, разумеется, понимаю,— а с ходу все равно трудно врубиться. За неделю еще как-то привыкаешь — до такой даже степени, что возвращение в оставленные реалии дает некий дополнительный, сверх обычного внутренний дискомфорт.

Не знаю, случайно это или так было задумано, только «Крестьянская хроника» как бы задала тон всему киносмотру. Пересекались сюжеты и жанры, игровые ленты чередовались с документальными, но ощущение некоей ослабленности напряжения оставалось преобладающим. Не оттого, что кто-то чего-то не дотянул, не сумел избави бог — профессионализм и техническая оснащен-

ность были постоянно высокими. А оттого, что... ну, господи,— жизнь такая...

Вполне обеспеченные молодые люди (при экстравагантных обстоятельствах к ним присоединяется дама постарше) отправляются в развлекательное путешествие, в дороге с ними случаются разные приключения, в том числе эротическое. Это — «Крик ящерицы» (режиссер Бертран Тебе). Право же, мило смотрится, и так хочется сказать, тяжело вздохнув: на доброе вам здоровье.

«Бинго» (режиссер Маркус Имбоден) — детектив, грабители, один из них гибнет, другой добивается цели: покидает страну с крупной суммой украденных денег. Оба героя симпатичны по-своему, не лишены добрых порывов и человеческих слабостей. Выигрывает тот, кто сумел подавить в себе эти порывы и слабости, подверженный им оказался беззащитен. «Убийца» (режиссер Бит Керт) — жестокая история со смертями, страстями, огромной суммой денег, за которую идет тягостная борьба. С двумя красивыми женщинами — одной благородной и добродетельной, другой — роковой и хищной... Как бы и жутковато, но жуть особая, такую, наверное, дети в Диснейленде испытывают: завели в темное помещение, показали страшные пиратские рожи, а потом снова на солнышко, и никаких тебе рож. На наших экранах ведь тоже — и кровища, и убийства, и погоня за деньгами, теряющими, правда, всякий «денежный смысл», и после каждой ленты такого рода, хоть сколько-нибудь прилично сделанной, накатывает чувство причастности: да, все это подступает к моему порогу. В «Убийце», в «Бинго» — словно бы взгляд через пуленепробиваемое стекло: видно хорошо, но абсолютно безопасно.

В еще большей степени этот феномен занятности страшного сказывается в лентах фантастических (еще раз замечу для ясности: речь идет о восприятии человека, два дня назад прилетевшего из Москвы и через пять дней улетающего обратно). Я наблюдаю за апокалиптическими видениями будущего в фильмах «Дедал» (режиссер Пепе Данкарт) и «Мегавилль» (режиссер Петер Лехнер), оцениваю добросовестные, серьезные попытки спроецировать их на сегодняшний день,— и вдруг в голову залетает решительно неуместное отечественное присловье: мне бы ваши заботы.

Более чем неуместное, даже бестактное, я бы сказал. Ибо если тебе худо, то раздражаться, что другому хорошо — самое последнее дело. Но все же как-то не по себе, когда их апокалиптические видения не выдерживают сравнения с нашей обыденностью. И что поделать с собой, с несовершенством своей человеческой природы, когда дышишь воздухом, который прочищает легкие, от которого приходит душевное равновесие,— и смотришь документальный фильм, где выражаются заботы экологического характера,— как бы воздух этот не стал чуть менее хрустальным и животворным. Такие критерии, такие мерки, будто, понимаете ли, не было социалистической поступи большой химии. Или вот — документальный же фильм, где рассказано о широком обсуждении проблемы, нужна ли регулярная армия традиционно нейтральной стране. Не отвечу с определенностью, может быть,— да, может быть,— нет. Понимаешь только, что армия для нас и для них — это нечто решительно разное. Представить на здешнем экране лицо, близкое по типу товарищу Язову, попросту невозможно. Кожей чувствуешь немилитаристскую, нетоталитарную, неконфликтную ментальность людей, сидящих рядом в зале, идущих мимо по улице маленького чистого Золотурна.

«Крестьянская хроника», режиссер Жаклин Вев

Кстати, при всем товарно-продовольственном изобилии этих улиц магазинов, где продаются крепкие напитки, раз-два и обчелся. И они безлюдны. По моим наблюдениям, конечно же, кратковременным, ни потребности взвинтить в себе агрессивность, ни потребности снять напряжение, забыться хоть ненадолго от этой жизни, будь она трижды неладна, жители города Золотурна не испытывают. Зато вина и пива — море разливанное, это продукт ежедневного потребления, частица общего состояния комфортности. Думаю, к про-

блемам регулярной армии, экологии, равно как и к проблемам кинематографа, названное обстоятельство имеет некоторое отношение.

Как-то на вечернем приеме — с вином — один из наших коллег появился с опозданием, что нехарактерно, и сообщил первые отрывочные сведения о нашей грабительской денежной реформе, почерпнутые из телевизионной передачи. Мы возбужденно обсуждали новость, а хозяева вежливо переглядывались. Желания выспросить подробности никто из них не выразил. И никто не хватал меня за рукав в стремлении немедленно узнать, как там развивается коллизия Горбачев — Ельцин. И сначала опять-таки шевельнулось чувство, похожее на обиду, однако потом подумалось: а почему, собственно? Если мы столько десятилетий не можем по-человечески устроить свою жизнь,— если перестройка наша дает зигзаги столь абсурдного свойства,— почему это должно портить настроение жителям Золотурна? Каждому свое, уважаемые коллеги. Каждому свое...

Нет, были картины, исполненные острого, реального драматизма. «Ангелы» (режиссер Жакоб Бергер) — фильм о несостоявшейся любви, о столкновении живой человеческой индивидуальности с законами «среды», «улицы». В прошлом году он был показан на Берлинском фестивале. Действие происходит в Испании. «Путь к надежде» (режиссер Ксавье Коллер) — здесь нам рассказано о злоключениях турецких граждан, попытавшихся пробраться в Швейцарию нелегальным путем в поисках заработка. Испания... Турция... Раздирающие душу столкновения ищутся — и находятся — далеко. И еще: в числе главных героев обеих лент — дети. Как и в «Чуде» (режиссер Леопольд Хубер), одной из лучших картин фестиваля. Это история мальчика, не находящего контакта с окружающими. Он построил снежный город, и симпатичный снеговик — единственный предмет его постоянного общения. Хрупок внутренний мир героя, тем важнее его сохранить, оберечь. И вообще — если потрясают нашу планету колебания, отклонения, то больше, чем на нас, они отразятся на тех, кто будет жить после нас. Вот к этому швейцарские кинематографисты относятся неотстраненно.

«Мегавилль», режиссер Петер Лехнер

Был еще очень недурной фильм «Всегда и вечно» (режиссер Самир), где на экране появились террористы и экстремисты. Фильм опять-таки фантастический, реально мне их видеть не довелось, хотя, разумеется, не возьмусь утверждать, что в Швейцарии нет глубоких тревог вообще и таких именно — в частности.

Террористов не видел, зато видел рокеров. Они мчались, светили фарами и что-то выкрикивали, впрочем, не слишком громко.

Они мчались — на велосипедах. Чтоб не нарушать мотоциклетным ревом покой вечернего города?

...И что Ленин так долго прожил в Швейцарии — даже не верится.

П. Шепотинник

Картинки из жизни «Ударника»

Для эмблемы фестиваля, организованного европейской ветвью Ассоциации Советских Киноинициатив (то есть ЕвроАСКом) годится чуть ли не каждое из названий фильмов, показанных в феврале нынешнего года.

Вот например, «История греха» — чем не название ретроспективы? Девяносто процентов картин программы годами томились в административно-цензурном плену. Желание студента ВГИКа посмотреть, предположим, «Ночного портье» встречало насупленно-настороженный взор начальника, ставившего подпись под прошением, и этот гипотетический студент уже и сам не рад был нечаянно вырвавшейся на свет просьбе, его сердце начинал овевать холодок предчувствия возможных репрессий.

Теперь мы, что называется, и сами согрешили всласть, а может быть, и отпустили грехи тем, кто принуждал нас к киноведческому монашеству — ведь еще десять лет назад никакой, самый раззнаменитый кинокритик не мог и мечтать, чтобы ему без подписи Ермаша выдали в Белых Столбах, скажем, «Большую жратву».

Вот! Еще одно прекрасное название для статьи о фестивале «Шедевры европейского кино, не известные в СССР» (почему-то на всех афишах «не» было написано вместе со словом «известные»). Порция вожделенных фильмов, залпом обрушившаяся на несколько московских кинотеатров, среди которых центральным стал «Ударник», была выдана с завидной щедростью, ее хватило бы на несколько ретроспектив. Кого тут только не было, устанешь перечислять: Бунюэль, Маль, Стеллинг, Фрирз, Рене, Гринуэй, Кесьлевский, Якубиско, Хитилова, Шмид, Ян- , Кавани, Оливейра, запрещенные недавно болгары и румыны, победители «Феликсов»... Не фестиваль, а «22» — перебор. Концентрат, что порой даже мешало восприятию. Хорошим фильмам мешали отличные. Удачным — великие. Невозможно впрячь в одну упряжку «Симулянтов» Стеллинга и «Повара, вора...» Гринуэя. Первая картина — шедевр камерности, воспоминание о счастливо-обнадеживавших 60-х, картина не по-стеллинговски многословная, лирически-домашняя, сознательно неприхотливая. Случайный сосед по программе Гринуэй с его мрачными роскошествами снижал психологическое воздействие тихого Стеллинга. «Коллективизация», как видите, пагубна и для такой вещи, как составление программы, хотя я прекрасно понимаю все многочисленные технологические трудности, которые приходилось самым немыслимым образом преодолевать ее реализаторам, и отдаю им должное.

В фестивале царило какое-то шестидесятнически-идеалистическое настроение безоглядного торжества искусства для искусства. Оно оказалось настолько сильным, что зритель оторвался на две недели от «Пляжных девочек» и нехотя, но потек в кинотеатры, которые вперемежку с вполне ясными по структуре развлечениями вроде изумительных «Вальсирующих» Бертрана Блие вдруг преподносили ему нежданные сюрпризы типа «Маркиза» Анри Ксаннё или серии фильмов на гомосексуальные темы, вызывавших то грубоватое солдатское хихиканье, то нервно-исступленные возгласы партдам, то (уже после просмотра) требования немедленно вернуть нажитые честным трудом пять рублей. Пять рублей были возвращены, а тема оставалась — как, в каких допустимых пределах можно при всем честном народе вести философские беседы с собственным пенисом («Маркиз») или признаваться в лесбиянской любви («Глядя друг на друга» Кароя Макка).

Этот фестиваль в каком-то смысле еще и сумма психологических, социокультурных проблем нашего будущего кинобытования, выраженных в предельно концентрированной форме. Хорошо, что все человеческие страсти, от напора которых нашему кинорепертуару все равно никуда не уйти, предстали на фестивале в форме великолепно разыгранных психологических драм («Дневная красавица» Бунюэля, «Держи ухо востро» Фрирза, «Лучший способ маршировки» Миллера), а не в обличье дешевых мещанских эротических сюжетов.

Конечно, «разлоговский» (по имени его прародителя киноведа Кирилла Разлогова) фестиваль — это еще одна утопия. Как и все, что прокламировалось и прокламируется поколением шестидесятников, которые на экране на ваших глазах совершали свои последние эстетические подвиги. Мне порой казалось, даже при учете того несомненного возбуждения, которое произвело это мероприятие в культурной жизни уставшей, полузадушенной, перепуганной Москвы, этот фестиваль делался как бы для самих себя. На пресс-конференциях — пусто. В газетах — маловато. В залах — в основном киноклубники; смешанная, неэлитарная аудитория — в основном, на просмотрах вечерних или там, где есть Денёв, Депардье или же хорошее, стопроцентное название, например, «Аморальные истории» (кого сейчас оторвешь от видеоклипов и Шварценеггера, чтобы заставить посмотреть ка-

Анкета «ИК»

Фильмы фестиваля «Шедевры европейского кино, не известные в СССР»

	Виктор Гульченко	Марина Дроздова	Нина Зархи	Нина Игнатьева	Татьяна Иенсен	Лев Карахан	Александр Киселев	Сергей Кудрявцев	Сергей Лаврентьев	Азиз Осипов	Наталья Сириля	Михаил Сулькин	Дая Смирнова	Елена Стишова	Александр Тимофеевский Андрей Титов	Петр Шепотинник	Константин Щербаков
ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК реж. П. Гринуэй	5,0	6,0	6,0		5,0	6,0	6,0		6,0	5,0	6,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	5,0
КОНФОРМИСТ реж. Б. Бертолуччи	5,5		5,5	5,0	5,0	5,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	4,5	5,5	6,0	5,0
ДЕКАЛОГ реж. К. Кесьлевский			5,5		5,0	5,0		6,0	5,0	5,0			5,0		5,5	5,5	6,0	5,0
ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН реж. Л. Маль			5,5	5,0				6,0	6,0	5,5	5,0	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0		5,0
ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА реж. Л. Бунюэль	5,5	5,0	6,0	5,0	3,5	5,0	5,5	5,5	6,0	5,0		5,0	6,0	4,0	5,5	5,0	5,0	5,0
ЛУЧШИЙ СПОСОБ МАРШИРОВКИ реж. К. Миллер						4,0			5,0				6,0		4,5	5,0	4,5	
ВОЙНА ОКОНЧЕНА реж. А. Рене	5,0		5,0	5,0				5,0	5,0	5,0		6,0	5,0		4,0			5,0
ВАЛЬСИРУЮЩИЕ реж. Б. Блие		4,5	5,0	4,0			5,0	6,0	4,0	6,0	5,0	4,0	6,0		4,0	6,0	5,0	
БЕЗ НАДЕЖДЫ реж. М. Янчо	4,5		5,0	5,5				4,5	6,0	4,5		5,5			3,0			5,0
НОЧНОЙ ПОРТЬЕ реж. Л. Кавани	5,0	5,5	4,0	4,0	3,5	4,0	5,0	4,5	6,0	6,0	5,5	5,5	6,0	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0
СВИДЕТЕЛЬ реж. П. Бачо			5,0	5,0				5,0				5,0	3,5					5,0
ЛИЛИ МАРЛЕН реж. Р.-В. Фасбиндер	4,5		5,0	5,0	4,0	4,5		5,0	4,0	5,0	5,5	5,0	4,0	6,0	5,0	4,0	4,0	5,0

ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН реж. Ф. Шлендорф	5,0	5,5	4,0	5,5	3,5	4,0	5,5	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0		5,0	4,5	5,5	3,5	5,0
МАРГАРИТКИ реж. В. Хитилова	4,5		4,0	5,0	4,0		4,0	5,5	5,0	6,0		5,0		5,0	4,0		4,0	4,0
ИМПЕРАТИВ реж. К. Занусси	5,0		5,0	4,0	5,5				4,0	5,0		4,0	4,0			4,5	3,5	
МАТАДОР реж. П. Альмодовар	4,0				3,0	3,5			6,0	6,0		3,0	5,0		4,0	5,5	4,0	
ВЫСОКИЕ НАДЕЖДЫ реж. М. Ли	4,5		5,0					4,0	4,0		5,0	4,5	3,0	5,0	5,0	4,0	4,5	
ВЕРА АНГИ реж. П. Габор		4,0	4,5	4,0		4,0	3,0	5,5	3,0			4,0		4,0			4,0	5,0
ШУМ В СЕРДЦЕ реж. Л. Маль	4,0		4,0					4,5	4,0	4,0			4,5					
СИМУЛЯНТЫ реж. Й. Стеллинг								4,0	4,0						3,0	4,0	5,0	
ГЛЯДЯ ДРУГ НА ДРУГА реж. К. Макк	4,0		4,0	4,0				4,5	4,0		4,0	4,0	4,0					
МАРИКЕН ИЗ НЕЙМЕГЕНА реж. Й. Стеллинг					4,0	4,0		4,5	3,0			4,5						
ДЕРЖИ УХО ВОСТРО реж. С. Фрирз	3,5				3,0			4,5	6,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	6,0	3,0	4,0	
АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ реж. В. Боровчик	3,0	4,5	3,5	3,5			4,0	4,5	3,0	4,0		4,0	6,0		4,0	4,0	3,0	3,5
ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖЧИНА реж. П. Верхувен	4,0	4,0			3,5	3,5	4,5	5,0	3,0	4,0		3,5			3,0	4,5	3,5	
ПОСТЕЛЬ БРАТА И СЕСТРЫ реж. В. Шеман	3,5							4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	3,0		3,0			
ИСТОРИЯ ГРЕХА реж. В. Боровчик	3,0		3,0					3,5	4,0	3,0		3,5	5,0			4,0		4,0
МАРКИЗ реж. А. Ксоннё	3,0							4,0	4,0			3,5	4,0		3,5	3,5	3,5	
ИЗ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ: ИОАНН ПАВЕЛ II реж. К. Занусси	3,5								2,0	4,0		4,5		4,0		3,0		4,0
ЕЩЕ реж. Б. Шредер								2,5	2,0		3,5						2,0	
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ реж. Г. Слюйзер	2,5	2,5	2,0				2,5	3,5	3,0	3,0	3,0		1,0			3,0	2,0	
ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА реж. К. Рид			2,0	2,5	2,0	3,0	2,0	4,0				2,0			1,0	2,5	1,5	

кой-нибудь «Элкерлик»!). Затухающая нашего интереса не просто к кино, а к кино высокомарочному, отборному налицо, как бы ни силились раздуть его тлеющие огни такие замечательные энтузиасты, как Разлогов с Григорием Амнуэлем. Вступает в права циничный закон насчет «соловья» и «басен», как ни ужасно это осознавать. Становится страшно, ты вдруг ощущаешь на самых близких людях явные результаты широкомасштабного эксперимента по тотальной дебилизации, планомерно проводимой нашим государством.

Может быть, это прозвучит неловко после вышесказанного, но я, честно говоря, был несказанно удивлен статьей, которая отозвалась на фестиваль в «Экране и сцене» (7 февраля 1991 года). Я так и не понял из этого пространного полотна, какие же эстетические потрясения пережили двое журналистов (Игорь Арданьянц и Натэлла Месхи) на фестивале европейских шедевров. Статья была выдержана в духе любимого мною (за другое) «Коммерсанта»: те-то смотрели то-то, там-то смотрели столько-то, билеты, проценты, доходы, расходы. Ценная информация для Госкомстата.

Хоть бы словом кто-нибудь обласкал Аки Каурисмяки с его братом Микой — как-никак эти финны считаются сейчас последней модой европейского кино; хоть бы приголубили старика португальца Мануэля ди Оливейру, все-таки ни один из его фильмов толком не показывался в стране, разве что мелькнул на ретроспективах. Хоть бы объяснили народу что-нибудь на тему «Творчество маркиза де Сада как парадоксальное выражение идей Французской революции», в связи с чем и сотворен по-своему скандально-феноменальный экзерсис Анри Ксаннё «Маркиз». Зато есть упоминание фамилии режиссера Шмидта (он — Шмид) и какого-то неведомого Коэна (болгарин Коэн в программе не присутствовал, а братья Этан и Джоэл Коэны пока еще пребывают в Голливуде). Нет, у нас все считают деньги. Чужие причем. А вот ЕвроАСК не скупился, и получился фестиваль. А где же кинокритика? «Исчезновение». Название еще одного фильма, на этот раз голландского и, честно говоря, не слишком-то выдающегося. Но он шел вслед за «Вечерами» Ван ден Берга с прекрасным актером Томом Хоффманом, который, как мы теперь знаем, имеет удивительное свойство неузнаваемо преображаться из молодцеватого плейбоя (фильм «Четвертый мужчина» Верхувена) в слабохарактерного неврастеника, мучающегося сексуальными комплексами. Так что благодаря Хоффману вечер удался. И не один.

И наконец последнее. Фестиваль еще раз подтвердил, что Европа хоть и наивный, но отважный в то же самое время континент. Американский кинематограф велик своей космополитичностью. Нет кинематографа Юты, Нью-Джерси или Мичигана. Есть суперкинематограф Голливуда, и — в лучшем случае — миникинематограф мятежных ньюйоркцев типа Джармуша. Европа страдает больше всего от того, что лелеет каждую возможность национальной культурной автономии. Финн Каурисмяки с наивной и щемящей «Девушкой со спичечной фабрики» не снился никому из братьев Уорнеров, те бы фыркнули и укатили на «линкольне». Никакой наи-Спилберг никогда бы не назвал свой фильм таким жутким названием, как «Марикен из Неймегена». Удивительная кукольная техника, в которой выполнен фильм «Маркиз», перекочевала бы в нового «Кролика Роджера».

Слава Богу, европейское кино, во всяком случае то, которое показал фестиваль, лишено рыночной конъюнктурности. (Странно, кстати говоря, как ее пытаются навязать ему кинокритики из... Советского Союза, который менее всего знаменит тем, что умеет считать деньги.) Это был кинематограф штучный. Кинематограф индивидуалов. И это хорошо.

Наш отечественный кинорепертуар — как животное без туловища. Но есть два крыла — кино американское и индийское. А вот то, на чем стоим ногами — кино отечественное и европейское,— исчезает безвозвратно.

Разлогов бросил горсть земли на этот уходящий под воду материк. Глядишь, другие подхватят, так и спасем нашу Атлантиду. Без нее, кстати, зачахнет кино и американское, а может быть, и индийское. Потому что... но это уже тема другой статьи.

А пока закончу еще одним названием, которое посвящаю от души «согрешившим», «вальсирующим», отрицающим любой «конформизм» по отношению к качеству кинозрелища и возжелавшим: «Еще!» — «До свидания в аду, друзья...»

Йос Стеллинг

«В Голландии любят странных людей»

Беседу ведет и комментирует Тимур Ваулин

Есть кинематографии, которых нет. То есть фильмы снимаются, снабжаются субтитрами, отправляются на фестивали да там и остаются. Фильмы есть, а кинематографа нет. Репутация национальной кинематографии возникает не столько под сенью национального флага, сколько при наличии людей, объединенных кругом общих идей, имеющих свой специфический взгляд на вещи при всем разнообразии стилистики и сюжетов. Именно общность кинематографистов, не профессиональная, а прежде всего духовная, мировоззренческая, и рождает национальную кинематографию. Феномен «нового голландского кино» возник на грани 80-х и за несколько следующих лет успел приятно удивить киномир, записав на свой счет множество престижных призов. Однако нашему зрителю, да, пожалуй, и специалисту голландское кино по-прежнему представляется терра инкогнита.

Хорошо, что в программу фестиваля «Шедевры европейского кино, не известные в СССР», были включены фильмы таких режиссеров, как Пауль Верхувен, Георге Слюйзер, Рудольф ван ден Берг и, наконец, Йос Стеллинг, чья картина «Стрелочник» стала легендой европейского кинематографа. Благодаря фестивалю москвичи смогли посмотреть еще три работы знаменитого голландца: «Марикен из Неймегена» (1974), «Элкерлик» (1975) и «Симулянты» (1980).

Итак, мой собеседник — Йос Стеллинг.

Тимур Ваулин. *Вас называют «отцом» нового голландского кино...*

Йос Стеллинг. *Это не так, поверьте! Это выдумка кинокритиков, они вообще любят выдумывать, перетолковывать и перевирать, не верьте им!*

Т. Ваулин. *Однако именно вы — организатор и вдохновитель Утрехтского, «домашнего» кинофестиваля, наиболее престижного внутри страны. И наконец, именно ваш фильм «Марикен из Неймегена» был первым голландским фильмом за многие годы, вошедшим в конкурс Канна...*

Й. Стеллинг. *Да, но это было давно. А если уж вам непременно хочется идентифицировать «родителей», то это, безусловно — Берт Хаанстра и великий Йорис Ивенс. А что до меня... Я — одиночка, и не было у меня ни учителей, ни предшественников.*

Т. Ваулин. *Однако ваши фильмы, особенно «Иллюзионист» и «Стрелочник»,— вещи высочайшей кинематографической культуры. А культура ниоткуда не появляется.*

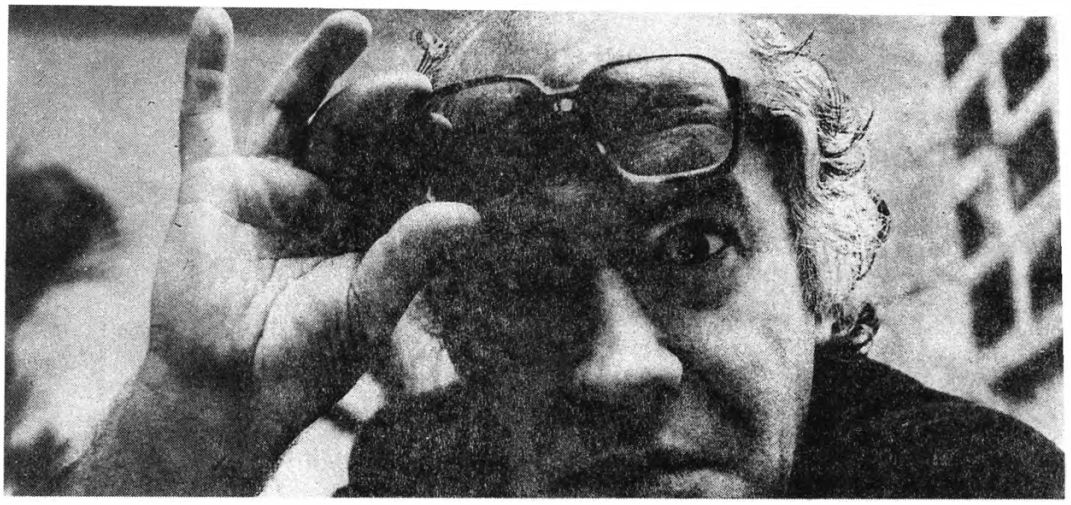
Й. Стеллинг. *Это иное дело. Я хотел сказать, что специального кинообразования у меня не было и нет, в кино я появился как любитель. А что до культуры, то здесь как раз ничего удивительного нет. Видите ли, Голландия территориально состоит из двух частей, Северной, где безраздельно властвует кальвинизм, и Южной, где сильны римско-католические традиции. Так вот, я — из Южной Голландии, понимаете?*

Т. Ваулин. *Не совсем...*

Й. Стеллинг. *Я — католик по рождению, воспитанию и убеждениям. И по пристрастиям в искусстве я — католик. В XVII веке кальвинизм запрещал художникам изображать святых. Поэтому писали натюрморты, пейзажи и семейные портреты, впрочем, с высочайшим профессионализмом. Рембрандт был единственным, кто сумел шагнуть за рамки чистого профессионализма. А в католической традиции преобладают образность, возвышенные поиски идеала. Яркий пример — итальянцы. Итальянцы дали миру оперу.*

Т. Ваулин. *И все-таки как совмещаются католицизм и кино?*

Й. Стеллинг. *Видите ли, я девять лет воспитывался в закрытом католическом заведении, и мой культурный багаж, разумеется, в основном*



Йос Стеллинг

базируется на католических традициях. Католицизм оперирует образами, музыкой образа, он и его искусство общаются с человеком не на уровне прагматической логики, логики слов и вещей, а при помощи образных структур, прямо воздействующих на душу, сердце человека. Но помимо того была еще одна забавная подробность: в нашей школе показывали кино. Каждое воскресенье. В основном это были итальянские фильмы. Я знал почти весь неореализм, а Де Сика просто боготворил. Причем эти фильмы можно было посмотреть только в нашей школе: «в миру» смотрели американцев и французов. Так вот, о католицизме. Кальвинистская традиция очень предметна: там ничего не принимается на веру, все необходимо потрогать и попробовать на зуб. Все остальное — выдается за ложь. Это последствия протестантской непримиримости, последовательного иконоборчества. А католицизм, поскольку воздействует непрямо, очень опосредованно, ближе внутреннему миру человека. Он и его искусство могут рассказать о самых скрытых желаниях, ощущениях, чувствах, таких, как радость, горе. Материальная радость скоротечна, а овеществленные желания быстро приедаются. Поэтому в кино я — католик.

Т. Ваулин. *Какие же фильмы каких авторов оказались столь дороги вашему сердцу католика, что в конце концов привели вас в кино?*

Й. Стеллинг. *Знаете, а я ведь фильмов не помню. Сюжет забываю по окончании просмотра. Запоминаю сцены — планами, кадрами... Фрагментами, одним словом. Вот оперу вы запоминаете не от первой до последней ноты, а уж тем более не по сюжету. Вы помните арию, тему, музыкальную фразу. Так же я воспринимаю и кино. Так же и снимаю. Ибо кино — это опера двадцатого века.*

Т. Ваулин. *Я не воспринимаю ваши фильмы, как лоскутные. Быть может, цельность — это одна из самых выигрышных особенностей любой вашей картины.*

Й. Стеллинг. *Ну, конечно, для хорошего фильма нужна история — такие правила игры. И я рассказываю ее, но не словами.*

Т. Ваулин. *Да, ваши герои многословием не отличаются...*

Й. Стеллинг. *Да они попросту молчат! Если эту историю можно рассказать в двадцати диалогах, то и незачем ее снимать. Вот американцы только и делают, что рассказывают истории. Их можно передавать по радио или перевести в комиксы, мало что потеряется. Слово имеет свое конкретное значение и толкований не допускает. А образ многозначен. Музыка рождает образы, не прибегая к словам, и я стараюсь действовать по музыкальному принципу: тема с вариациями. Например, тема красного в «Стрелочнике».*

Т. Ваулин. *Яблоко, клюквенный сок, ворох платьев на снегу...*

Й. Стеллинг. *Прошу вас, не конкретизируйте! Не перечисляйте, не разнимайте целое на части, не останется ничего. Воспринимайте искусство сердцем, а не логическим аппаратом. Женщины в этом смысле тоньше. Хотя однажды я был просто взбешен, когда один швейцарский критик, женщина, после просмотра «Стрелочника» восторженно заявила: «Она, героиня, хочет остаться, чтобы забеременеть, а он, стрелочник, об этом и не подозревает!» «Ну и напишите об этом так!» — воскликнул я. И она, конечно, написала. Поэтому когда вы так перечисляете: клюква, платья, цветы,— то мне становится грустно. За себя: значит, я вас не смог заставить чувствовать. Вспоминайте не то, что видели, а то, что ощутили в этот момент. Это система кодов, рассчитанных на ответную реакцию внутри человека. Это своего рода международный стиль, международный язык, киноязык. И цель моя — разработка такого универсального киноязыка, где диалог не несет основной нагрузки. Только изображение, музыка, шумы.*

Т. Ваулин. *Это манифест? В 20-е годы уже звучали схожие идеи...*

Й. Стеллинг. *Но я пришел к этому из собственного практического опыта. Первый фильм, «Марикен из Неймегена» снимался с непрофессиональными исполнителями. Я сразу понял, что непрофессионал вряд ли сыграет нужное состояние достоверно, и мне пришлось находить другие методы выражения такого состояния: через деталь и ракурс. Если это испуг, то крупно — пальцы, вцепившиеся в стол. Если герой выходит из комнаты, то камера стоит в дверях. Если в доме холодно — камера упрятана в камин. И движение, много движения! Поймите, я сознательно огрубляю, но это — азбука.*

Т. Ваулин. *Азбука «субъективной камеры»?*

Й. Стеллинг. *Конечно! Камера не может быть объективной, беспристрастной, ибо камера — это замочная скважина, через которую вы можете увидеть человеческую сущность. Толанд и Уэллс первыми возвели это в принцип. «Гражданин Кейн» — это абсолютно «мой» фильм, несмотря на то, что там много говорят.*

Т. Ваулин. *Вам больше по душе немое кино?*

Й. Стеллинг. *Нет. Я терпеть не могу титры, это все равно что закадровый голос в звуковом кино — вещь излишняя, такая, знаете ли, дополнительная страховка. А что до немого кино... «Страсти Жанны д'Арк» Дрейера, я убежден,— абсолютная вершина кино, доказывающая скептикам, что кино — автономный вид искусства. А многие искусствоведы и поныне считают кинематограф производным от нескольких сопряженных искусств.*

Т. Ваулин. *А что, на ваш взгляд, представляет собой телевидение?*

Й. Стеллинг. *Телевидение... Не знаю что, но не искусство — точно, во всяком случае в его нынешнем состоянии. А если и выходит что-то интересное, то это уже не телевидение, а кино...*

Т. Ваулин. *Многие считают телевизор убийцей кинематографа...*

Й. Стеллинг. *Как раз наоборот! Вспомните, в XIX веке с появлением фотографии живописи предрекали неминуемый и скорый конец. Это, кстати, были те же критики, они совершенно не изменились за столетие. Так вот, вместо гибели живописи появились Матисс, Пикассо — и сама живопись изменилась, нашла свой новый, уникальный путь, где у нее нет конкурентов. То же и с театром. Здесь могильщиком, по мнению критиков, должен был стать кинематограф, но появился Брехт и вывел театр на совершенно новый уровень. А сейчас критики обещают неминуемую гибель кино, счет идет на месяцы. Давно идет, уже лет десять. Спору нет: в мире властвует телевизионная эстетика, когда предметы можно осмотреть не спеша и со всех сторон, давая все крупно и подробно. Практически безграничное внутреннее время вроде бы обещает телевидению быструю победу. Однако первыми на телевидение бросились все наши ремесленники, рассчитывая взять реванш и хотя бы там стать лучшими. А кино... очистилось! Телевидение очищает кино от халтурщиков! Теперь в кино остались только те, кто может. Вообще, только имея реального врага, конкурента, искусство — любое — может развиваться качественно. Поэтому одновременно с торжеством телевидения кино наконец-то обрело себя.*

Т. Ваулин. *Надо ли это понимать так, что кинематографистов — скажем, голландских,— объединяют сейчас главным образом вопросы чисто творческие?*

Й. Стеллинг. *Не только. То есть главным образом — нет. Голландских кинематографистов объединяют в основном вопросы практические. Нам очень хочется выжить в условиях сегодняшнего кинорынка. И пусть это звучит парадоксом, чтобы остаться, надо уехать. Многие наши кинематографисты давно работают за рубежом, Робби Мюллер, например. Наша беда в том, что Голландия — очень маленькая страна, всего четыре миллиона граждан. А для того чтобы фильм не был убыточным, нужен какой-то определенный зрительский минимум, скажем, в миллион зрителей. А этого нет! Кинопроизводство очень вздорожало, и несмотря на то, что наша кинематография частично субсидируется государством — есть такое министерство с экзотическим названием Министерство Благополучия, Здоровья и Культурных мероприятий,— фильмы себя не окупают. А экспорта практически нет. Хотя как раз со мной происходят парадоксы: мой «Стрелочник» шел в Амстердаме две недели, а в Риме — восемь месяцев! Но уже новый свой фильм я буду делать в копродукции с той же Италией, Германией и, может быть, Францией. Чтобы фильм смотрели дома, нужно, чтобы он был немножко зарубежный.*

Т. Ваулин. *А вот американцы повернули дело так, что смотрят их картины больше за рубежом, чем дома.*

Й. Стеллинг. *Знаете, есть два вида американского империализма: кока-кола и кино. Так вот, последний — наиболее опасный. Эти фильмы легко доступны, не требуют никакой умственной или душевной работы, это как жевательная резинка — только двигай челюстями. Все те же бесконечные 36 сюжетов, только технология совершенствуется. Я всегда очень долго выбираю натуру для съемок — и не всегда нахожу ее дома. К примеру, «Иллюзионист» снимался в Чехословакии, а «Стрелочник» — в Шотландии. А действие американских фильмов может происходить где угодно, самое главное, что там стреляют. И автомобили бьются — чем больше, тем лучше.*

Т. Ваулин. *А каковы ваши нынешние отношения с советским прокатом?*

Й. Стеллинг. *Странные. «Рембрандта» я отдал на ваше телевидение, совершенно не думая о деньгах, отдал за чисто символическую сумму. А сейчас я никак не могу понять, заинтересован ли ваш прокатчик, ваш зритель в моих фильмах?*

Т. Ваулин. *Убежден, что да. Во всяком случае, на двух предыдущих фестивалях залы были полны, а любители кино — полны желания встретиться с вами. Но, увы, вас не было тогда, а когда вы оказались в Москве[1], с вами не было ваших фильмов.*

---

[1] Йос Стеллинг был членом жюри XVI МКФ в Москве.— Ред.

Й. Стеллинг. *Надеюсь, к предстоящему Московскому фестивалю мой новый фильм уже будет готов. Правда, не знаю, в какой из программ — конкурсной или внеконкурсной — он пойдет. Но в любом случае мне очень интересен ваш зритель. Он представляется мне очень серьезным, погруженным, что ли, в проблемы духа. Может быть, я не прав, ибо лицом к лицу я столкнулся с вашим зрителем лишь совсем недавно, и не по поводу моих собственных картин. Я, скорее, сужу по вашим фильмам.*

Т. Ваулин. *По-моему, тут не всегда прямая связь...*

Й. Стеллинг. *Нет, нет, прямая! Кинематографист работает не только для себя и не столько, а главным образом от себя, в расчете на приятие и понимание, хотя бы в принципе. Я не много видел советских фильмов, особенно последних, но такие картины, как «Комиссар», только подтверждают мои представления о вашей аудитории. У вас все еще воспринимают кино серьезно. Это такая редкость!*

Т. Ваулин. *Что еще вам удалось посмотреть из наших фильмов?*

Й. Стеллинг. *Гм... Был такой замечательный фильм «Летят журавли», выдающийся фильм...*

Т. Ваулин. *Давненько был.*

Й. Стеллинг. *Правильно, я смотрел его в четырнадцать лет. А самые сильные впечатления от кино как раз именно в этом возрасте. Это впечатления на всю жизнь, они и определяют во многом дальнейшие пристрастия. Посмотрите, о чем сейчас пишут наши шестидесятилетние критики? О Хамфри Богарте! Как будто после Богарта перестали снимать кино.*

Т. Ваулин. *Вы в очередной раз помянули критиков и, мягко говоря, без особой симпатии. Какие у вас взаимоотношения с критикой?*

Й. Стеллинг. *Никаких. Сейчас никаких, я могу себе это позволить. У меня есть приятели-критики, мы помногу говорим о чем угодно, только не о кино. Если они пытаются сменить тему, я немедленно исчезаю. Я, конечно, читаю их статьи, но только не про свои картины.*

Т. Ваулин. *Что такое, по-вашему, «плохой критик»?*

Й. Стеллинг. *Я считаю, что плохой критик — это тот, кто норовит дать произведению искусства непременно свою интерпретацию.*

Т. Ваулин. *Да, но это специфика профессии...*

Й. Стеллинг. *Возможно. Но когда они пишут про необыкновенную работу оператора, фантастические находки художника и умопомрачительную актерскую игру — это работа на разрушение. Вещь существует, еще раз повторяю, пока она целостна и неделима.*

Т. Ваулин. *У вас много оппонентов?*

Й. Стеллинг. *Да. Но в нашем споре мне неожиданно помог... Тарковский! Когда я прочел его книгу «Запечатленное время» — а это великая книга! — то купил сразу два десятка экземпляров и разослал всем своим оппонентам. Я, к сожалению, не обладаю литературными способностями настолько, чтобы убедительно изложить свои взгляды на бумаге. А Тарковский это смог, и я готов подписаться под каждой строкой его книги! Она вышла у вас?*

Т. Ваулин. *Как бы это сказать... не совсем.*

Й. Стеллинг. *Странно. Ведь это такая русская книга... Мне кажется, что Тарковский — самый «русский» режиссер, а его герои — тоже типично русские...*

Т. Ваулин. *А ваши герои? Ведь все они, мягко говоря, со странностями. Неужели это типичные голландские герои?*

Й. Стеллинг. *Конечно! Только одно уточнение: они не герои в патетическом смысле. У нас нет героев! У нас нельзя громко кричать: не будут слушать. Это специфическая голландская черта. И если человек заходит в комнату и прямо с порога кричит: «А вот и я!», то никто с ним разговаривать не будет, все отвернутся и займутся своими делами. Но если в комнату войдет человек в шортах, сапогах и желтой шляпе и молча станет посреди комнаты, его обязательно пригласят за стол. У нас любят странных людей.*

Т. Ваулин. *У нас тоже любят юродивых.*

Й. Стеллинг. *Вот видите, еще одно пересечение!*

Т. Ваулин. *В заключение нашей беседы хочется пожелать — и себе, и вам,— чтобы в самом ближайшем будущем мы обязательно пересекались чаще и нашли, наконец, общий язык, даже если это язык кино.*

Й. Стеллинг. *У меня на этот счет нет никаких сомнений: ведь я уже на нем говорю!*

НАСТАСЬЯ КИНСКИ, АКТРИСА (ГЕРМАНИЯ)

Родилась 24 января 1962 года в Западном Берлине. Дочь известного актера Клауса Кински (настоящая фамилия — Накшиньский). Дебютировала в кино в возрасте двенадцати лет. В конце 70-х годов училась в Актерской студии в Нью-Йорке, позировала в качестве фотомодели. С 1986 года живет в Италии, замужем за кинопродюсером Ибрагимом Муссой, родом из Египта.
1974: «Ложное движение» («Falsche Bewegung»), реж. В. Вендерс. 1976: «Дьяволу дочь» («To the Devil a Daughter»), в Великобритании. 1977: ТВ ф. «Аттестат зрелости» («Reifezeugnis»), реж. В. Петерсен; демонстрировался и в кинотеатрах; «Отель «Цветок страсти»» («Passion Flower Hotel»), во Франции. 1978: «Такая, как ты есть» («Così come sei»), в Италии, реж. А. Латтуада. 1979: **«Тэсс»** («Tess»), Великобритания — Франция, реж. Р. Полянский. 1982: «Люди-кошки» («Cat People»), в США, реж. П. Шредер; «От всего сердца» («One from the Heart»), в США, реж. Ф. Ф. Коппола. 1983: «Луна в сточной канаве» («La lune dans le caniveau»), во Франции, реж. Ж. Ж. Бенекс; «Твоя неверная» («Unfaithfully Yours»), в США; «Засвеченная фотография» («Exposed»), в США. 1984: «Возлюбленные Марии» («Maria's Lovers»), в США, реж. А. Кончаловский; **«Париж, Техас»** («Paris, Texas»), реж. В. Вендерс; **«Весенняя симфония»** («Frühlingsinfonie»), реж. П. Шамони; «Отель Нью-Хэмпшир» («The Hotel New Hampshire»), в США, реж. Т. Ричардсон. 1985: «Революция» («Revolution»), в США, реж. Х. Хадсон; «Гарем» («Harem»), во Франции. 1987: **«Болезнь любви»** («Maladie d'amour»), во Франции, реж. Ж. Дерэ. 1988: «Вешние воды» («Torrents of Spring»), в Италии, реж. Е. Сколимовский. 1989: «Ясной лунной ночью» («On a Moonlight Night»), в Италии, реж. Л. Вертмюллер; «Секрет» («Il segreto»), в Италии, реж. Ф. Мазелли. 1990: «И свет во тьме светит» («Il sole anche di notte»), в Италии, реж. П. и В. Тавиани; **«Униженные и оскорбленные»**, в СССР, реж. А. Эшпай.

СОФИ МАРСО, АКТРИСА (ФРАНЦИЯ)

Родилась 17 ноября 1966 года. Снимается с тринадцати лет. Одна из известных молодых актрис французского кино.
1980: **«Вечеринка»** («La boum»), реж. К. Пиното. 1982: **«Вечеринка II»** («La boum II»), реж. К. Пиното. 1983: **«Форт Саганн»** («Fort Saganne»), реж. А. Корно. 1984 «Счастливой Пасхи!» («Joyeuses Pâques»), реж. Ж. Лотнер; «Легкомысленная любовь» («L'amour braque»), реж. А. Жулавский. 1985: «Полиция» («Police»), реж. М. Пиала. 1986: «Сошествие в ад» («Descente aux enfers»), 1987: «Шуаны!» («Chouans!»), реж. Ф. де Брока. 1988: **«Студентка»** («L'étudiante»), реж. К. Пиното. 1989: «Мои ночи прекраснее ваших дней» («Mes nuits sont plus belles que vos jours»), реж. А. Жулавский; «Кафе «Тихоокеанские палисады» («Pacific Palisades»).

ХЭРРИСОН ФОРД, АКТЕР (США)

Родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Окончил Рипон Колледж. Играл в театре в штате Висконсин, затем — на ТВ. В кино — с 1966 года. Стал «самым кассовым» актером в 80-е годы. Его вторая жена — сценаристка Мелисса Мэтисон, автор сюжета «Инопланетянина», картины, возглавляющей список рекордсменов проката. 1966: «В жуткой лихорадке, как на карусели» («Dead Heat on a Merry-go-round»). 1967: «Похоже на любовь» («Luv»); «Время для убийства» («A Time for Killing»). 1968: «Путешествие в Шайло» («Journey to Shiloh»). 1969: «Забриски Пойнт» («Zabriskie Point»), реж. М. Антониони. 1970: «Напрямик» («Getting Straight»); ТВ ф. «Самозванцы» («The Intruders»). 1973: «Американские граффити» («American Graffiti»), реж. Дж. Лукас; **«Разговор»** («The Conversation»), реж. Ф. Ф. Коппола. 1976: ТВ сериал «Династия» («Dynasty»). 1977: ТВ ф. «Одержимая дьяволом» («The Possessed»); **«Звездные войны»** («Star Wars»), реж. Дж. Лукас; «Герои» («Heroes»). 1978: «Отряд № 10 из

Навароне» («Force Ten from Navarone»). 1979: «Апокалипсис сегодня» («Apocalypse Now»), реж. Ф. Ф. Коппола; «Гановерская улица» («Hanover Street»); «Парень из Сан-Франциско» («The Frisco Kid»), реж. Р. Олдрич. 1980: «Империя наносит ответный удар» («The Empire Strikes Back»), реж. И. Кёршнер. 1981: «Искатели потерянного ковчега» («Raiders of the Lost Ark»), реж. С. Спилберг. 1982: «Блейд-раннер» («Blade Runner»), реж. Р. Скотт. 1983: «Возвращение Джидая» («Return of the Jedi»), реж. Р. Маркуэнд. 1984: «Индиана Джонс и храм рока» («Indiana Jones and the Temple of Doom»), реж. С. Спилберг. 1985: «Свидетель» («Witness»), реж. П. Уир. 1986: «Москитное побережье» («The Mosquito Coast»), реж. П. Уир. 1987: «Неистовый» («Frantic»), реж. Р. Полянский. 1988: «Деловая женщина» («Working Girl»), реж. М. Николс. 1989: «Индиана Джонс и последний крестовый поход» («Indiana Jones and the Last Crusade»), реж.. С. Спилберг. 1990: «Считаемый невиновным» («Presumed Innocent»), реж. Э. Дж. Пакула.

БОРИСЛАВ ШАРАЛИЕВ, РЕЖИССЕР (БОЛГАРИЯ)

Родился 22 августа 1922 года в Пловдиве. С 1943 года — актер в театре. В 1947—50 годы учился в ВГИКе в Москве (мастерская С. И. Юткевича). С 1954 года — режиссер. Лауреат Димитровских премий (1954, 1959). Художественный руководитель объединения «64» с 1987 года.

1954 «Песня о человеке» («Песен за човека»). 1956: «Две победы» («Две победи»). 1959: «Тихим вечером» («В тиха вечер»). 1962: «Двое под небом» («Двама под небето»). 1963: «Васката» («Васката»), премия на МКФ в Лейпциге. 1965: «Рыцарь без доспехов» («Рицар без броня»). 1968: ТВ ф. «Один съемочный день» («Един снимачен ден»). 1970: «Прощайте, друзья: («Сбогом, приятели!»). 1971: «Необходимый грешник» («Необходимят грешник»). 1972: «Ожидание» («Очакване»). 1975—76: ТВ сериал «Записки о болгарских восстаниях» («Записки по българските въстания»). 1976: киновариант этого сериала — «Апостолы» («Апостолите»). 1979: «Всё — любовь» («Всичко е любов»). 1981: «Удар» (в СССР — «И настанет утро», «Ударът»). 1984: «Борис I», фильм 1 — «Крещение», фильм 2 — «Слово о буквах» («Борис I» — «Покръстване», «Слово за буквите»).

ЮРАЙ ЯКУБИСКО, РЕЖИССЕР (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Родился 30 апреля 1938 года в Койшове. Окончил отделение художественной фотографии в школе искусств в Братиславе В 1959—1966 годы учился в Пражской киношколе ФАМУ.

1962: к/м «Молчание» («Mlčanie»). 1965: к/м «Эмигрант» («Emigrant»), и ав. сц.: к/м «Дождь» («Dešť»), и ав. сц. 1966: дипломная работа «В ожидании Годо» («Čakajú na Godota»), премии на МКФ в Мангейме и Оберхаузене. 1967: «Возраст Христа» («Kristove roky»), и соав. сц.; премия жюри и приз ФИПРЕССИ на МКФ в Мангейме. 1968: «Дезертиры и странники» («Zbehovia a pútnici»), с Италией; и соав. сц., оператор. 1969: «Птички, сироты и блаженные» («Vtáčkovia, siroty a blázni»), с Францией; и соав. сц. 1970: «До встречи в аду, друзья!» («Do videnia v pekle, priatelia!»), с Италией; и соав. сц., оператор. 1972: док. ф. «Столетняя свадьба» («Stavba storočia»). 1974: док. ф. «Ондрей Непела» («Ondrej Nepela»). 1975: док. ф. «Омния» («Omnia»). 1976: док. ф. «Три мешка цемента и живой петух» («Tri vrecia cementu a živy kohut»). 1977: док. ф. «Барабанщик Красного Креста» («Bubenik Červeneho Križa»); док. ф. «ЗКЛ» («ZKL»). 1979: «Построй дом, посади дерево» («Postav dom, zasad' strom»); ТВ сериал «Измена по-словацки» («Nevera po slovensky»), и соав. сц.; киновариант — 1981. 1983: «Тысячелетняя пчела» («Tisicročná včela»), с ФРГ, Австрией и Италией; и соав. сц.; премия на МКФ в Венеции. 1984: «Госпожа Метелица» («Perinbaba»), с ФРГ и Австрией; 1985: «Тетя Франкенштейна» («Frankensteins Tante»), ФРГ — Австрия. 1989: «Я сижу на ветке, и мне хорошо» («Sedim na konári a je mi dobre»), и соав. сц.; с ФРГ, Испанией, Италией; премия на МКФ в Венеции.

С. Кудрявцев

Советские фильмы

«А в России опять окаянные дни», 13 ч. Продолжительность фильма 2 часа 13 мин.
Производство московского объединения «Камера». 1990.
Автор сценария Э. Володарский при участии А. Митты.
Режиссер В. Васильков. Оператор И. Мельников. Художник С. Меняльщиков. Композитор Н. Соколов. Звукооператор П. Дроздов.
Роли исполняют: Т. Ипатова, Е. Белоногов, М. Иванов, М. Боровков, Г. Доля, Г. Венгеров, С. Друзьяк, Н. Волошин, Н. Евдокимов, С. Чернов и другие.
«Бакенбарды», 11 ч. Продолжительность фильма 1 час 42 мин.
Производство «Ленфильм», ТПО «Голос». 1990.
Автор сценария В. Лейкин. Режиссер Ю. Мамин. Оператор С. Некрасов. Художник П. Пархоменко. Композитор А. Заливалов. Звукооператор Л. Гавриченко.
Роли исполняют: В. Сухоруков, А. Медведев, А. Ваха, О. Алабышева, А. Лыков, О. Самарина, В. Михайлов, Е. Немченко, В. Калиш, В. Цикалов, Ю. Цыбин, Ю. Мамин, В. Аземша, В. Филонов, А. Пловцов, Н. Мельников.
«Бурса» (по мотивам повести Н. Помяловского «Очерки бурсы»), 7 ч. Продолжительность фильма 1 час 07 мин.
Производство Центральной студии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, ТО «Контакт», Научно-технического центра «Вест», ВГИК. 1983.
Автор сценария и режиссер М. Ведышев. Операторы Гильермо Аркос, Д. Евстигнеев, А. Масс. Художники Г. Анфилова, В. Иванов. Звукооператор Ю. Дмитриев.
Роли исполняют: С. Максачев, Г. Горячев, М. Шашков, А. Краснов, А. Гуляев, О. Жданов, С. Крылов, В. Кравцов, Л. Вычужанина, И. Турченков, Т. Попейко, В. Баландин, А. Казаков, Г. Никишкин, А. Чижов, В. Виноградов.

«Динозавры XX», 14 ч. Продолжительность фильма 2 часа 11 мин.
Производство ТПО «Катарсис». 1990.
Авторы сценария Исфандияр, Э. Бутин, Х. Файзиев. Режиссер Х. Файзиев. Оператор В. Климов. Художник А. Шибаев. Композитор Р. Салихов. Звукооператор Е. Федоров.
Роли исполняют: К. Мирхадиев, А. Джигарханян, Л. Дуров, А. Кузнецов, В. Коренев, Т. Спивак, Л. Кулагин, Б. Химичев, Т. Таджиев, В. Харьковский, У. Юсупов, З. Мухамеджанов, У. Ахмедова, И. Юльчиев, Т. Романова, Б. Закиров, М. Кимсанов, Р. Юсупов, Б. Чариев.
«Доминус» (киноальманах состоит из двух новелл по мотивам произведений Рэя Брэдбери), 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 20 мин.
Производство «Фора-фильм» при участии киностудии имени М. Горького. 1990.
«Хозяин» (новелла первая)
Автор сценария И. Лощилин. Режиссер А. Хван. Оператор А. Сусеков. Художник Г. Широков. Звукооператор А. Алиев.
Роли исполняют: В. Евграфов, Е. Евсеенко, Н. Коренченко, Саша Михарев.
«Чертово колесо» (новелла вторая)
Режиссер М. Цурцумия. Оператор К. Бутырин. Художник Н. Соколов. Звукооператор В. Набатников.
Роли исполняют: Б. Юхананов, И. Чиков, Дима Бродов, Володя Стульников, В. Муравьев, Н. Царева, М. Колесников.
«Женский день», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 25 мин.
Производство ГТПО «Мосфильм», студия «Товарищ». 1990.
Автор сценария Е. Ласкарева. Режиссер Б. Яшин. Оператор В. Папян. Художник Л. Платов. Композитор Ю. Саульский. Звукооператор В. Морозов.
Роли исполняют: Т. Агафонова, А. Гуляренко, А. Самохина, А. Блок, И. Бочкин. В. Мищенко, М. Менглет, М. Солодовникова, Катя Михайловская, А. Шотин и другие.

«Заложница», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 31 мин.
Производство Одесской киностудии. 1990.
Авторы сценария Ю. Макаров, С. Ашкенази. Режиссер С. Ашкенази. Оператор С. Стасенко. Художник В. Гидулянов. Композитор Н. Корндорф. Звукооператор А. Нетребенко.
Роли исполняют: А. Захарова, А. Матуленис, Ю. Кузьменков, А. Яковлев, М. Чигирев, Я. Левинзон.

«Затерянный в Сибири». Продолжительность фильма 1 час 40 мин.
Производство «Спектейтор Энтертейнмент Интернейшнл» (Англия) при участии «Мосфильм» (СССР). 1990.
Авторы сценария А. Митта, В. Фрид, Ю. Коротков. Режиссер А. Митта. Оператор В. Шевцик. Художники В. Юркевич, В. Клименков. Композитор Л. Десятников. Звукооператор Е. Попова.
Роли исполняют: Энтони Эндрюс, В. Ильин, Е. Майорова, И. Михалева, А. Гуреев, А. Жарков, В. Прозоров, Е. Миронов, Н. Пастухов, Ю. Шерстнев, А. Филозов, З. Гердт, Н. Гундарева, И. Бортник, М. Жигалов, П. Зайченко, О. Ли, М. Скворцова и другие.
«Зимняя вишня-2», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 36 мин.
Производство студии «Троицкий мост» при участии фирмы «АРТВ» (США). 1990.
Автор сценария В. Валуцкий. Режиссер И. Масленников. Оператор В. Брыляков. Художник Н. Кочергина. Композитор В. Дашкевич. Звукооператор А. Груздев.
Роли исполняют: В. Соломин, Е. Сафонова, И. Мирошниченко, И. Климова, Н. Русланова, Л. Удовиченко, А. Анисимов, В. Долинский, В. Авилов, Жаклин Бакши и другие.

«Каталажка», 7 ч. Продолжительность фильма 1 час 13 мин. Производство Одесской киностудии. 1990.
Автор сценария Р. Агаджанян. Режиссер Г. Кеворков. Операторы В. Панков, В. Соловьев-Александров. Художник Л. Токарева. Звукооператор И. Гольдман.
Роли исполняют: Е. Стеблов, В. Ильичев, М. Левтова, И. Богодух, А. Демьяненко, И. Токарчук, С. Ливензон, П. Степанов, В. Татосов, А. Пятков, Н. Ерофеев и другие.

«Клещ», 1-я серия — 7 ч., 2-я серия — 7 ч. Продолжительность 1-й серии 1 час 10 мин., 2-й серии — 1 час 13 мин.
Производство ТПО «Катарсис», 1990.
Авторы сценария и режиссеры А. Баранов, Б. Килибаев. Оператор Н. Кириенков. Художники А. Золотухин, А. Розенберг, А. Сабитов. Композиторы Е. Дединская, А. Сигле. Звукооператор К. Зарин.
Роли исполняют: А. Абдрахманов, С. Попов, А. Джаллыев, Ж. Куанышева, А. Смехова, В. Сорокин, А. Александров, Л. Димаков, В. Скориков, Г. Омарова, Р. Сейметов, Е. Тренина, В. Толоконников, И. Керсик, С. Смирнов, Ш. Алтайбаева, Ш. Жаксыбаев и другие.

«Когда святые маршируют», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 37 мин.
Производство киностудии «Голос» киноассоциации «Ленфильм». 1990.
Автор сценария А. Житинский. Режиссер В. Воробьев. Оператор Г. Маранджян. Художник Б. Быков. Композитор Д. Голощекин. Звукооператор М. Викторов.
Роли исполняют: В. Алентова, В. Стеклов, Э. Виторган, Б. Соколов, А. Дольский, А. Хочинский, Д. Голощекин, И. Дмитриев, А. Балтер, Д. Воробьев, Ю. Меньшова, А. Балагин, А. Баргман, О. Погудин, Г. Воробьев, Э. Бледанс, Н. Воеводина, В. Коновалова и другие.

«Колоброд» (по мотивам рассказа В. Кононенко «Поймать рыбу»), 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 17 мин. Производство ГТПО «Мосфильм», экспериментальное молодежное творческое объединение. 1990.
Авторы сценария В. Кононенко, С. Ломкин. Режиссер С. Ломкин. Оператор В. Кононенко. Художник В. Щербак. Композитор А. Агажанов. Звукооператор В. Рейзес.
Роли исполняют: А. Казаков, Л. Руденко, В. Столбова, З. Щенникова, С. Приселков, В. Анисимов, В. Зубенко.

«Кошмар в сумасшедшем доме» (по мотивам сюжета пьесы Э. Скарпетта), 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 20 мин. Производство Свердловской киностудии. 1990.
Автор сценария и режиссер Н. Гусаров. Оператор Б. Шапиро. Художник В. Лукинов. Композитор С. Сидельников. Звукооператор Н. Шестакова.
Роли исполняют: В. Павлов, Т. Говорова, Е. Старостина, А. Кузнецов, Т. Семина, Ю. Назаров, В. Голубенко, В. Грепорюк, М. Тонтегоде, В. Храмцов, С. Тезов, Н. Шевкуненко, М. Королькова, В. Соловьев, Н. Третьяков, Г. Галямов, А. Ческидов, В. Полищук, К. Степанов, В. Мамаев, Г. Макоев, В. Цепаев.

«Лицом к стене» (по мотивам повести О. Мелконяна «Допрос»), 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 41 мин. Производство «Арменфильм» имени А. Бек-Назарова. 1990.
Авторы сценария Г. Николаев, С. Бабаян, М. Довлатян. Режиссер М. Довлатян. Оператор В. Шейнин. Художник В. Седракян. Композитор Ю. Арутюнян. Звукооператор Ю. Саядян.
Роли исполняют: Д. Харатьян, А. Топчян, В. Корачян, А. Джигарханян, К. Джанибекян, А. Элбакян, А. Хостикян, Г. Алавердян, Л. Казарян, А. Мкртумян, А. Шеренц, Ж. Налбандян, В. Мириджанян, М. Манукян, Г. Ванян, Р. Мкртчян, А. Марутян.

«Мальчики» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»). 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 27 мин. Производство кинофирмы «Мир». 1990.
Автор сценария Р. Григорьева. Режиссеры Р. Григорьева, Ю. Григорьев. Оператор О. Мартынов. Художник А. Анфилов. Композитор П. Чекалов. Звукооператоры В. Дурицын, Б. Крылов.
Роли исполняют: Алеша Достоевский, Е. Ташков, А. Иванов, О. Гобзева, Сережа Макаров, Саша Воронин, Коля Печкин, Илья Коноплев, М. Суховская, Д. Черниговский, Саша Суховский, Л. Зайцева, Л. Поляков, Ферруфино Консепсьон, Г. Овчинников и другие.

«Нелюдь, или В раю запрещена охота». Продолжительность фильма 2 часа 29 мин. Производство Центральной студии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, ТО ТВК и СП «Агроинжиниринг» (СССР — США — Испания — Франция — Канада — ЧСФР). 1990.
Автор сценария А. Вайнер. Режиссер Ю. Иванчук. Оператор Г. Карюк. Художник В. Сафронов. Композитор М. Таривердиев. Звукооператор В. Ермолин.
Роли исполняют: Л. Гурченко, Б. Невзоров, С. Никоненко, А. Михайлов, С. Чекан, А. Гусев, А. Вайнер, Е. Жемчужная, Сережа Селиванов, П. Шеин, А. Яковлев, С. Греков, Н. Кобелянская, В. Ковальчин, В. Захарченко, М. Пастухова, В. Незнанов и другие.

«Охота на сутенера», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 34 мин.
Производство «Латерна магика». 1990.
Авторы сценария А. Шпеер, В. Дербенев. Режиссер В. Дербенев. Оператор Е. Корженков. Художник С. Титова. Композитор И. Тальков. Звукооператор Р. Собинов.
Роли исполняют: А. Соколов, И. Волков, Я. Левинзон, С. Векслер, И. Верник, А. Ливанов, В. Сотникова, Е. Кмит, Т. Догилева, Б. Новиков, А. Гловяк, Н. Нефедова, Л. Макеева, С. Галкин и другие.

«Очарованный странник» (по мотивам повести Н. Лескова), 11 ч. Продолжительность фильма 1 час 50 мин.
Производство ГТПО «Мосфильм», студия «Время». 1990.
Авторы сценария И. Поплавская, В. Соловьев. Режиссер И. Поплавская. Оператор Б. Новоселов при участии

С. Тараскина. Художники А. Кузнецов, П. Сафонов. Композитор К. Волков. Звукооператор М. Надиева.
Роли исполняют: А. Михайлов, А. Ростоцкий, Л. Вележева, О. Остроумова, В. Носик, М. Булгакова, И. Скобцева, Е. Никищихина, С. Мишулин, Л. Куравлев, Л. Кулагин, Ю. Катин-Ярцев, Т. Панкова, Б. Клюев, Б. Бейшеналиев, К. Акматов, А. Умуралиев, А. Байтобетов, А. Чокубаев, В. Фролов и другие.

«Палач», 1-я серия — 8 ч., 2-я серия — 9 ч. Продолжительность 1-й серии 1 час 16 мин., 2-й серии — 1 час 29 мин.
Производство ПТО «Русское видео», ТПО «Ладога» при участии киностудии «Ленфильм». 1990.
Автор сценария С. Белошников. Режиссер В. Сергеев. Оператор Н. Строганов. Художник Е. Гуков. Композитор Э. Артемьев. Звукооператор А. Зверева.
Роли исполняют: И. Метлицкая, А. Соколов, Л. Гузеева, С. Газаров, Б. Галкин, С. Садальский, А. Матуленис, Е. Аржаник, А. Ливанов, Л. Цапусто и другие.

«Пегий пес, бегущий краем моря» (по мотивам одноименной повести Ч. Айтматова), 14 ч. Продолжительность фильма 2 часа 18 мин.
Производство Киевской киностудии имени А. Довженко, ТО «Талисман» при участии фирм «Альянс фильмопродукцион», «Регина Циглер фильмпродукцион» (Западный Берлин), «ЦДФ» (ФРГ). 1990.
Авторы сценария К. Геворкян, Т. Океев. Режиссер К. Геворкян. Операторы И. Беляков, Р. Ватинян, К. Геворкян. Художники Е. Стрилецкий, Г. Усенко. Композитор Ш. Каллош. Звукооператор А. Кузьмин.
Роли исполняют: Б. Дамбаев, А. Сасыков, Д. Жолжаксынов, Т. Дайырбеков и другие.

«Приближение», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 32 мин.
Производство «Грузия-фильм». 1990.
Авторы сценария А. Рехвиашвили, Н. Шатаидзе. Режиссер А. Рехвиашвили. Оператор А. Филлипашвили. Художник П. Николадзе. Звукооператор К. Кузьмин.
Роли исполняют: А. Нижарадзе, Ж. Лолашвили, М. Чичинадзе, С. Лагидзе, Л. Антадзе, Л. Кенчошвили, М. Нинидзе и другие.

«Принц-привидение» (по мотивам новелл Вашингтона Ирвинга), 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 15 мин. Производство «Туркменфильм». 1990.
Автор сценария В. Федосеев. Режиссер С. Джаллыев. Оператор Е. Любинская. Художник В. Капленко. Композитор Е. Геворгян. Звукооператор Б. Чарыев.
Роли исполняют: Р. Уразаев, Е. Паршина, М. Светин. Э. Ворган, К. Кельджаев, Е. Урманчеева, А. Джаллыев, М. Утепбергенов и другие.

«Пробуждение» (по пьесе А. Шкемы), 12 ч. Продолжительность фильма 2 часа 04 мин.
Производство Литовской киностудии, объединение ЛКС. 1990.
Автор сценария и режиссер И. Вайткус. Оператор Й. Томашявичюс. Художник В. Калинаускас. Композитор Ф. Байорас. Звукооператор Ю. Ширвинскас.
Роли исполняют: В. Пранулис, В. Кельмелите, Л. Лауцявичюс. Ю. Киселюс, А. Зигмантавичюс и другие.

«Пропал друг», 7 ч. Продолжительность фильма 1 час 11 мин.
Производство «Центрнаучфильм». 1990.
Авторы сценария А. Леонтьев, А. Бабаян. Режиссер А. Бабаян. Оператор А. Павлов. Художники Б. Щербаков, В. Катков. Композитор М. Экимян. Звукооператор Л. Шутова.
Роли исполняют: Л. Захарова, М. Кузнецова, Э. Бочаров, Н. Погодин, Рома Барышев, Н. Демин, В. Никитин, В. Юревич, С. Швайко, Л. Васильева и другие.

«Савой», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 22 мин.
Производство ГТПО «Мосфильм», ТО «Старт» при участии автозавода «ЗИЛ». 1990.
Режиссер М. Аветиков. Оператор Е. Корженков. Художник С. Титова. Композитор Б. Рыков. Звукооператоры И. Воронин, А. Нехорошев.
Роли исполняют: В. Стеклов, С. Молдаханов, И. Чулков, А. Портная, Ю. Рутберг, А. Джераев, Г. Нуруанов, Л. Курнышев, И. Бирюков, С. Аранбаева, С. Ладыжкина и другие.

«Сим ким сиз?» («Кто ты такой?»), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 27 мин.
Производство «Узбекфильм» имени К. Ярматова. 1990.
Авторы сценария Ю. Дашевский, Д. Файзиев. Режиссер Д. Файзиев. Оператор Х. Хасанов. Композитор Ф. Яновский. Звукооператор Б. Исхаков.
Роли исполняют: Б. Закиров, Э. Насыров, М. Каминский, З. Муминов, С. Молдаханов, Б. Матчанов, Э. Камилов, Д. Хамраев, Р. Кошканкулов и другие.

«Сон девственницы» (по роману Г. Беглова «Дурочка»), 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 34 мин.
Производство СП «Фильм консалтинг Ленинград», «Ленфильм» (СССР) — «Геликон» (Западный Берлин). 1990.
Автор сценария и режиссер Г. Беглов. Оператор Н. Покопцев. Художник Ю. Пашигорев. Композиторы Б. Грабовский, В. Михеев, Е. Орлов. Звукооператор Л. Гавриченко.
Роли исполняют: В. Кнат, К. Моритц, Т. Окуневская, Н. Мальцева, А. Мурзина, М. Старых, Н. Лощина, В. Михеев, С. Письмиченко, И. Рахшина.

«Страсти по Владимиру», 12 ч. Продолжительность фильма 2 часа 02 мин.
Производство «Ленфильм», ТПО «Голос». 1990.
Автор сценария и режиссер М. Розовский. Оператор К. Рыжов. Художник Е. Гурков. Звукооператор Г. Беленький.
Роли исполняют: В. Долинский, Г. Борисова, В. Улик, И. Старосельцев, А. Лукаш, С. Фарада, П. Козлюнин, А. Иванов, А. Столяров и другие.

«Убийство на Монастырских прудах», 15 ч. Продолжительность фильма 2 часа 27 мин.
Студия «Петрополь» кино-

ассоциации «Ленфильм» и ТПО «Союзтелефильм». 1990. Автор сценария И. Агеев. Режиссер И. Хамраев. Оператор В. Бурыкин. Художник И. Каплан. Композитор В. Кисин. Звукооператор Г. Лукина.
Роли исполняют: А. Ташков, Ю. Киселюс, В. Меньшов, М. Глузский, М. Булгакова, В. Павлов, Д. Сердюков, Я. Пузыревский, В. Лапшова, А. Семенов, Д. Лапиган, В. Ивченко, Э. Романов, О. Корчиков. О. Агеева, Л. Варфоломеев.

«Убийство свидетеля» (по повести Ю. Маслова «Каракурт»), 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 18 мин. Производство студии «М» СП «Скиф» и ВЭО «Ноосфера». 1990.
Авторы сценария Ю. Маслов, Э. Гаврилов. Режиссер Э. Гаврилов. Оператор С. Гаврилов. Художник Е. Штапенко. Композитор В. Овсянников. Звукооператор В. Каплан.
Роли исполняют: Б. Шувалов, С. Роженцев, Г. Бурков, Л. Чурсина, Т. Семина, В. Невинный, М. Селянская, Р. Греков, О. Фомичева, С. Гурзо, Вася Бургман, П. Пеньков, С. Вельяминов, Ю. Кукес, Т. Кох и другие.

«Убийца» (по мотивам одноименной повести С. Крашенинникова), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 32 мин. Производство ТПО «Катарсис» — Свердловская киностудия. 1990.
Автор сценария Л. Чумичев. Режиссер С. Мартьянов. Оператор А. Лесников. Художник А. Сухих. Композитор Ю. Каспаров. Звукооператор О. Матвеева.
Роли исполняют: В. Антоник, Е. Борзова, Р. Громадский, С. Крючкова, Е. Новоселов, И. Ноздренко, В. Шевелев, В. Соловьев, А. Веденкин, С. Максачев.

«Убийца поневоле», 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 19 мин.
Производство ГТПО «Узбекфильм», ТО «Юлдуз». 1990.
Автор сценария и режиссер М. Баймухамедов. Оператор Д. Абдуллаев. Художник А. Шамзини. Композитор И. Димов. Звукооператор А. Курманов.
Роли исполняют: Б. Мухамедкаримов, В. Изотова, Л. Мсхиладзе, М. Утепбергенов, В. Бондаренко, А. Гаратшин, М. Матчанов, Ш. Иргашев, У. Юсупов, С. Ахмедов, Д. Хамраев, О. Бакирова, Р. Адашев, Б. Хамраев, В. Юлдашев, Б. Халиков, А. Шакирджанов.
«Уроки в конце весны», 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 18 мин.
Производство ГТПО «Мосфильм», ТО «Старт». 1990.
Автор сценария и режиссер О. Кавун. Операторы В. Нахабцев, А. Ренков. Художник В. Филиппов. Композитор Б. Синкин. Звукооператор М. Пасухина.
Роли исполняют: Даня Толкачев, Ю. Назаров, Ю. Мажуга, А. Феклистов, Н. Засухин, Л. Тимцуник, В. Носик, Е. Королева, Е. Лазарев, В. Баринов, А. Смирнова, Е. Редникова и другие.
«Черная магия, или Свидание с дьяволом», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 39 мин. Производство «Молдова-фильм», ТО «Арта». 1990.
Авторы сценария Б. Дуров, Г. Маларчук. Режиссер Б. Дуров при участии Ю. Музыки. Оператор Е. Анисимов при участии Н. Фомина. Художник Н. Слюсарь. Композитор Е. Геворгян. Звукооператор С. Кель.
Роли исполняют: А. Зорилэ, С. Мырзенко, К. Ильенко, В. Яковлев, С. Янковская, М. Вилсонс, Л. Йорга, В. Тэбырцэ, Саша Кириллов, Вася Леонов, И. Аракелов, Н. Дарий и другие.
«Яма» (по мотивам повести А. Куприна), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 30 мин. Производство Киевской киностудии имени А. Довженко, киевского областного управления Агропромбанка СССР, отделения «Сестрорецк» АВЭКС, ТО «Талисман» (СССР) — «Свеа Сов Консулт» (Швеция). 1990.
Авторы сценария А. Курков, С. Ильинская. Режиссер С. Ильинская. Операторы А. Владимиров, П. Степанов. Художник Ю. Муллер. Звукооператор Е. Пастухов.
Роли исполняют: Т. Догилева, Л. Руднева, И. Цыбина, В. Кузнецова, В. Талызина, К. Крейлис-Петрова, Н. Некрич, Л. Пономаренко, Н. Раскохова, Т. Печенкина, Е. Кольчугина, Е. Евстигнеев, О. Меньшиков, А. Горбунов, П. Бенюк, И. Тарадайкин, В. Поморцев, А. Филиппенко, И. Слободской, В. Чигляев, А. Рубашкин, Л. Лобза, И. Витола, Ю. Катин-Ярцев, Н. Стригун, Б. Молодан, О. Волкова, Е. Драныш, Я. Уткин, Д. Мильштейн, Я. Копыленко.

Зарубежные фильмы

«Актриса» (по роману Хедды Циннер), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 28 мин. Производство ДЕФА (ГДР). 1988.
Автор сценария Регина Кюн. Режиссер Зигфрид Кюн. Оператор Петер Цише. Художник Ганс Поппе.
Роли исполняют: Коринна Харфух, Андре Хеннике, Михаэль Гвиздек, Бланш Коммерель, Юрген Ватцке, Мартин Брандт, Эдда Шварцкопф, Кристиан Штайер, Герхард Майер.
«Бум», 11 ч. Продолжительность фильма 1 час 50 мин. Производство «Гомон» — «Продюсьон Марсель Дассо» (Франция). 1980.
Авторы сценария Даниель Томпсон, Клод Пиното. Режиссер Клод Пиното. Оператор Эдмон Сешан. Художник Жак Бюфнаур. Композитор Владимир Косма.
Роли исполняют: Клод Брассер, Брижит Фоссей, Софи Марсо, Дениза Грей, Жан-Мишель Дюпюи, Фредерик де Паскаль, Жан-Пьер Кастальди и другие.
«Вальс на зыбкой почве» («Вальс на банановой кожуре»), 11 ч. Продолжительность фильма 1 час 42 мин. Производство «Гунния» (Венгрия). 1987.
Автор сценария и режиссер Петер Бачо. Оператор Тамаш Андор. Художник Тамаш Вайер. Композитор Дьёрдь Вукан.
Роли исполняют: Дороття Удварош, Михай Деш, Юли Баштн, Тери Тордаи, Дьёрдь Мелиш, Деже Гараш, Дьюла Бенке, Тибор Бичкеи, Золтан Безереди, Лайош Ковач.

«Время леопардов» (по рассказам Лисиньо Де Азеведу), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 29 мин.
Производство Национального института кинематографии (Мозамбик) — «Авала-фильм» (Югославия). 1985.
Авторы сценария Луиш Патрикви, Брана Штепанович, Здравко Велемирович. Режиссер Здравко Велемирович. Оператор Душан Нинков. Композитор Корнелие Ковач.
Роли исполняют: Сантуш Мулунгу, Ана Магайя, Симиалу Мазузе, Марселино Алвеш, Армандо Ложа.

«Второстепенные роли», 12 ч. Продолжительность фильма 1 час 52 мин.
Производство Института искусства и кинематографии (Куба) — Телевидения Испании. 1989.
Авторы сценария Освальдо Санчес, Хорхе Альварас, Орландо Рохас. Режиссер Орландо Рохас. Оператор Рауль Перес Утрета. Художник Флавио Гаркьяндья. Композитор Марио Дали.
Роли исполняют: Росита Форнес, Хуан Луис Гальярдо, Луиса Перес Ньето, Эрнесто Тапиа, Леонор Ароча, Карлос Крус, Кристобаль Гонсалес, Мириам Сокаррас, Мария Исабель Диас.

«Герой Хиралал», 14 ч. Продолжительность фильма 2 часа 18 мин.
Производство «Пла продакшнз» (Индия). 1988.
Авторы сценария Хридей Лани, Кетан Мехта. Режиссер Кетан Мехта. Оператор Джехангир Чаудхури. Художник Суреш Савант. Композитор Бабла.
Роли исполняют: Насируддин Шах, Санджана Капур, Дипа Сахи, Киран Кумар, Рохини Хаттангади и другие.

«Господа Глембаи» (по одноименным пьесе и роману Мирослава Крлежи), 12 ч. Продолжительность фильма 2 часа 01 мин.
Производство «Ядран-фильм» и Телевидения Загреба (Югославия). 1988.
Автор сценария и режиссер Антун Врдоляк. Оператор Векослав Врдоляк. Художник Желько Сеневич. Композитор Асен Дедич.
Роли исполняют: Мустафа Надаревич, Эна Бегович, Тонко Лонза, Бернарда Оман, Матко Рагуж, Жарко Поточняк, Звонимир Зоричич, Эрвинда Драгман, Ася Поточняк и другие.

«Девять смертей ниндзя», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 36 мин.
Производство «Амритрадж продакшнс» (США).
Автор сценария и режиссер Эммет Элстон. Оператор Рой Вагнер. Композитор Сесил Колайко.
Роли исполняют: Шо Косуги, Брент Хафф, Эмилия Лесняк, Реджина Ричардсон, Виджай Амритрадж, Лайза Фридман, Блекли Даммет.

«Искусство любви», 11 ч. Продолжительность фильма 1 час 44 мин.
Производство «Зебра» (Польша). 1989.
Автор сценария и режиссер Яцек Бромский. Оператор Гжегож Кендзерский. Художник Халина Добровольска. Композитор Генри Серока.
Роли исполняют: Петр Махалица, Иоанна Тшепечиньска, Анна Романтовска, Виктор Зборовский, Ежи Боньчак, Ева Зентек, Ева Салацка, Збигнев Замаховский, Петр Польк, Ядвига Янковска-Чесляк, Богуслав Линда, Ольгерд Лукашевич, Божена Дыкель, Анна Ходаковска и другие.

«Коммандос», 16 ч. Продолжительность фильма 2 часа 35 мин.
Производство «Эм Эр продакшнз» (Индия), 1988.
Автор сценария и режиссер Баббар Субхаш. Оператор Радху Кармакар. Художник Марути Раокале. Композитор Баппи Лахури.
Роли исполняют: Митхун Чакраборти, Мандакини, Хемант Бирдже, Ким, Дэнни Дензонгпа, Шакти Капур, Амриш Пури, Асрани, Шаши Капур и другие.

«Маленький свидетель», 1-я серия — 7 ч., 2-я серия — 7 ч. Продолжительность 1-й серии 1 час 09 мин., 2-й серии — 1 час 08 мин.
Производство «Гита Артс» (Индия). 1987.
Автор сценария и режиссер Коданда Рамиредди. Оператор Лок Сингх. Художник Т. Чалам. Композитор Чакраварти.
Роли исполняют: Чирандживи, Виджаяшанти, Сумалатха, Суджит, Раджа Лакшми, Мамата, Джагая, Гуммади и другие.

«Патриот», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 27 мин.
Производство «Патриот продакшнс» (США). 1986.
Авторы сценария Энди Рубен, Катт Ше Рубен. Режиссер и оператор Фрэнк Харрис. Композитор Джей Фергюсон.
Роли исполняют: Грегг Хенри, Саймон Гриффит, Майкл Дж. Поллард, Джефф Конвей, Стэйк Пирс, Лесли Нилсен и другие.

«Пляжные девочки», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 28 мин.
Производство «Мэримарк» (США).
Автор сценария Патрик Дункан. Режиссер Пэт Таунсенд. Оператор Майкл Мэрфи.
Роли исполняют: Дебра Бли, Вэл Клайн, Джина Тома Зина, Джеймс Дауторн, Адам Рорк и другие.

«Похитители мыла», 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 27 мин.
Производство «Бамбу» (Италия). 1988.
Авторы сценария Мауро Монти, Маурицио Никетти. Режиссер Маурицио Никетти. Оператор Марио Баттистони. Художник Ада Легори. Композитор Мануэль Де Сика.
Роли исполняют: Хайди Комарек, Катерина Сайлос-Лабини, Маурицио Никетти, Федерико Риццо, Маттео Ауураараци, Ренато Скарпа и другие,

«Право на выбор», 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 21 мин.
Производство «Бояна» (Болгария). 1989.
Автор сценария Любомир Чолаков. Режиссер Эмил Цанев. Оператор Димитр Лисичаров. Художник Иван Апостолов. Композитор Кирил Дончев.
Роли исполняют: Асен Гаджалов, Атанас Атанасов, Стефка Илиева, Катерина Евро, Георгий Георгиев-Гец, Иосиф Сырчаджиев, Румен Иванов, Васил Михайлов, Пламен Сираков и другие.

«Путь на юго-запад» (по мотивам произведений Джека Лондона), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 27 мин. Производство «Готвальдов» (Чехословакия). 1989.
Автор сценария Иржи Кржижан. Режиссер Зденек Сировы. Оператор Иржи Колин. Художник Петр Смола. Композитор Ондржей Соукуп.
Роли исполняют: Иржи Страх, Иржи Шмитцер, Милан Сандхаус, Зденек Подгурский, Олдржих Влах, Иван Палух, Петер Чепек, Густав Опоченский, Ян Пржеучил и другие.

«Разводы, разводы...», 8 ч. Продолжительность фильма 1 час 19 мин.
Производство «Бояна» (Болгария). 1989.
Авторы сценария Христо Илиев, Георгий Данаилов, Веселин Бранев, Александр Томов. Режиссеры Георгий Стоев, Иванка Грыбчева, Веселин Бранев, Ивайло Джамбазов. Операторы Пламен Гелинов, Христо Тотев, Ивайло Пенчев.
Роли исполняют: Тодор Колев, Румяна Рунева, Валентин Ганев, Ицхак Финци, Коста Цонев, Мария Каварджакова, Эли Скорчева, Константин Цанев, Вылчо Камарашев, Крыстю Лафазанов, Магда Шалева, Эльвира Иванова и другие.

«Секретный указ императора», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 40 мин. Производство Шанхайской киностудии (Китай).
Автор сценария Му Шэн. Режиссер Яо Шоукан. Оператор Цэн Эньли. Художники Цюй Жаньцзя, Шэнь Лидэ, Сунь Вэйдэ. Композитор Лю Яньси.
Роли исполняют: Синь Фэн, Хэ Вэй, Сунь Гэньфа, Гу Елу, Ван Чжэнюй.

«Столкновение», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 35 мин.
Производство «Алан Сакс» (США).
Авторы сценария Пол Браун, Алан Сакс. Режиссер Дэвид Уинтерс. Оператор Чак Колуэлл. Художник Катрин Хардвик. Композитор Барри Голдберг.
Роли исполняют: Джош Бролин, Роберт Раслер, Памелла Гидли, Брук Макартур, Джош Ричмэн, Бретт Маркс и другие.

«Те, кто платит жизнью» (по мотивам произведений Камила Петреску), 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 39 мин.
Производство «Бухарест» (Румыния). 1989.
Автор сценария и режиссер Шербан Маринеску. Оператор Влад Пэунеску. Художник Лучан Николау. Композитор Дэн Штефэникэ.
Роли исполняют: Шербан Маринеску, Штефан Иордаке, Адриан Пинтя, Георге Вису, Марчел Юреш, Овидиу Гинецэ, Майя Моргенштерн, Мариана Михуц и другие.

«Трагедия частного предпринимателя» (по мотивам романа Лю Хэна «Черный снег»), 9 ч. Продолжительность фильма 1 час 32 мин.
Производство Пекинского института кинематографии — Студии молодежных фильмов (Китай).
Автор сценария Лю Хэн. Режиссер Се Фэй. Оператор Сяо Фэн. Художник Ли Юнсинь.
Роли исполняют: Цзянь Вэнь, Чен Линь, Цай Хунсян, Лян Тянь, Люй Сяоцин, Лю Фу, Мэн Цзинь, Юэ Хун.

«Ты, который на небе» (по повести Виктора Паскова «Баллада о Георге Хените»), 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 42 мин.
Производство «Бояна» (Болгария). 1989.
Автор сценария Виктор Песков. Режиссер Дочо Боджаков. Оператор Иван Варимезов. Художник Константин Русаков.
Роли исполняют: Йозеф Кронер, Боян Ковачев, Любен Чаталов, Лиляна Вырбанова, Пламен Сираков, Румен Трайков, Андраш Кончалиев и другие.

«Эльвира — властительница тьмы», 10 ч. Продолжительность фильма 1 час 38 мин.
Производство «Нью Уорлд продакшн» (США). 1988.
Авторы сценария Сэм Иган, Джон Парагон, Кассандра Питерсон. Режиссер Джеймс Синьорелли. Оператор Ханан Баер. Художник Джон де Сюир-младший. Композитор Джеймс Кэмпбелл.
Роли исполняют: Эльвира (Кассандра Питерсон), В. Морган Шефаерд, Дэниел Грин, Сьюзен Келлерман, Джефф Конвей и другие.

«Эпопея шейха Буамамы» (по произведению Буалема Бессаи), 14 ч. Продолжительность фильма 2 часа 14 мин. Производство Национального телевидения Алжира.
Авторы сценария Буалем Бессаи, Бенамар Бахти. Режиссер Бенамар Бахти. Оператор Юсеф Сахрауи. Художник Махамед Кессай. Композитор Шериф Кортеби.
Роли исполняют: Атамане Ариуат, Ахмед Бенаисса, Мустафа Шуграни, Робер Базиль, Ален Жаной и другие.

«Эте и Али», 7 ч. Продолжительность фильма 1 час 11 мин. Производство ДЕФА (ГДР). 1985.
Авторы сценария Вальтрауд Майенрайс, Генри Шнайдер. Режиссер Петер Кахане. Оператор Андреас Кефер. Художник Пауль Леман. Композитор Райнер Бем.
Роли исполняют: Йорг Шюттауф, Томас Путензен, Даниела Хоффман, Хильмар Айххорн, Карин Грегорек, Отто Хайдеман, Хайнц Хупфер, Урсула Ам-Энде, Вольфрам Ле Плат, Татьяна Томас и другие.

«Я свершу правосудие», 15 ч. Продолжительность фильма 2 часа 14 мин.
Производство «Сетх Филмз Интернешнл» (Индия).
Автор сценария Фаиз Салим. Режиссер Шибу Миттра. Оператор Пракаш Антра. Художник Сачин Рой. Композитор Баппи Лахири.
Роли исполняют: Раджеш Кхоана, Падмини, Колхапуре, Тина Муним, Накти Капур, Джой Мукерджи, Ом Шивпури, Аруна Ирани, Чандра Шекхар, Тедж Сапру и другие.

«Можно ли вам верить?»

Уважаемый товарищ Щербаков!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой, правда, без особой надежды, так как таких просителей, как я, у Вас, вероятно, много, а возможности редакции, я понимаю, ограничены.

Я давняя подписчица и поклонница Вашего журнала. С нетерпением жду выхода каждого номера. Недавно получила № 12 за 1990 г. А вот № 3 1990 года у меня так и нет. Как объяснили мне на почте, нашему отделению связи этот номер не дослали. Заведующей отделением неоднократно обещали его дослать, мы, подписчики, терпеливо ждали, не теряли надежды, но так ничего и не дождались. А в № 3 — продолжение «Ребенка Розмари» и начало воспоминаний Ю. Аксель, которые я ждала с особым нетерпением...

Обидно: мы, люди, уже оплатившие журналы, получаем их в последнюю очередь — все свежие номера появляются вначале почему-то в киосках «Союзпечати», а не приходят нам по почте. Выходит, что у подписчиков нет ни малейших прав на получение уже оплаченных изданий, издатели не несут никакой ответственности перед подписчиками.

Я, конечно, понимаю, что рассылкой журнала занимаетесь не вы, редакция, но мне от этого не легче. Журнала как не было, так и нет.

Т. Нефедова

Ленинград

Уважаемая редакция «Искусство кино»!

Мне не совсем удобно обращаться к вам с этим письмом, но куда писать по этому поводу, я не знаю. Дело в том, что я не получил по подписке шестой номер журнала за 1990 год. Получив после пятого номера седьмой и восьмой, я отправился на почту, где меня успокоили, сказав, что ими не получено около ста экземпляров этого номера, но они могут поступить позже. Но уже кончился январь 1991 года, а журнала нет.

Получается странная вещь. До 1990 года я покупал «Искусство кино» в киосках. У меня есть все номера за последние четыре года, даже «забойный» № 6 за 1989 год с «Невозвращенцем». А тут решил, чтобы не рисковать, оформить подписку, и вот тебе на...

Я инвалид первой группы (с детства) и ходить по инстанциям мне трудно, да еще знать бы, куда идти.

Очень надеюсь на вашу помощь.

В конце хочу поблагодарить редакцию и авторов «ИК» за очень интересный, содержательный журнал, каждый номер которого я всегда жду с нетерпением.

С уважением

Алексей Плаунов

Дорогая редакция!

На 1990 год подписался на ваш журнал. За весь год мной было получено всего шесть номеров. Я, конечно, понимаю, что есть трудности с бумагой, печатанием и т. д. Ходил в отделение связи, где мне сказали, что журнал не поступает. Год кончился, а журналов так и нет, вот мне и хотелось бы узнать причину их отсутствия.

Можно ли вам верить?

Разумеется, на 1991 год подписываться не стал.

Кстати сказать, с остальными журналами, а я их выписываю восемь, такого нет. Правда, иногда с задержкой, но все же поступают.

В. Камынин

Волгоград

Письма, подобные опубликованным выше, увы, не исключение в нашей почте. В редакцию то и дело приходят жалобы на плохую доставку журналов «Искусство кино», огорчительные сообщения о нехватке многих номеров в подписном годовом комплекте. Получается парадоксальная вещь: журнал всеми силами старается привлечь к себе внимание читателей, стремится расширить их круг (и небезуспешно — «Искусство кино» одно из очень немногих периодических изданий,

которые не только не потеряли в этом году подписчиков, но и увеличили их число), а ведомство, отвечающее за доставку номеров, делает все, чтобы порушить эти связи, оттолкнуть от нас старых, верных подписчиков, помешать приобрести новых. Причем получает за свою подрывную работу — мы хотим, чтобы это было известно читателям — солидную сумму, в этом году, кстати сказать, сильно возросшую. Теперь с каждого номера журнала «Союзпечать», на которую возложены обязанности по распространению и доставке издания, забирает себе 50,6 процента его стоимости. 418,4 тысяч в год (а это намного больше, чем наши полиграфические расходы) отдаем мы «Союзпечати» за ее, как выясняется, не очень добросовестные услуги.

«Можно ли вам верить?» — спрашивает В. Камынин. И его вопрос оказывается резонным. Ведь в своих рекламных объявлениях мы предупреждаем читателей об ограниченной продаже журнала в розницу (действительно, из-за нехватки бумаги в розничной продаже его почти нет) и советуем оформить на журнал подписку, а подписчики, внеся плату вперед, номеров не получают. Более того, на почте им разъясняют, что «журнал не поступал». Претензии адресуются редакции. Но что значит — «не поступал»? Мы его сделали, а типография отпечатала в необходимом количестве экземпляров.

Нет, мы не хотим выступать в роли невольных обманщиков, а поэтому в свою очередь обращаемся со страниц журнала:

К министру связи СССР тов. Кудрявцеву Г. Г.

Уважаемый Геннадий Георгиевич!

Прочтите, пожалуйста, напечатанные выше письма и наш комментарий к ним и ответьте на единственный вопрос. Намерено ли вверенное Вам ведомство выполнять свои элементарные служебные обязанности? Или оно будет и впредь забирать незаработанные рубли, лишая читателей выписанного журнала, а редакцию — их читательского доверия к ней?

Редакция журнала «Искусство кино»

Фильм голландского кинорежиссера ЙОСА СТЕЛЛИНГА «Стрелочник»
Беседу с режиссером, чьи фильмы демонстрировались в рамках фестиваля «Шедевры европейского кино, не известные в СССР», читайте в номере

Цена 1р 30к
Индекс 70402
ИСКУССТВО КИНО

В следующих номерах нынешнего года и в начале 1992 года «Искусство кино» публикует:

В разделе «ИК». ИЗБРАННАЯ ПРОЗА»:
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. «Чок-Чок»
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ. «Сочинчтель»
ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ. «Малый апокалипсис»

В разделах «ЗА РУБЕЖОМ» и «ФИЛЬМ В ЖУРНАЛЕ»
ЛИЛИАНА КАВАНИ. «Ночной портье»
ИНГМАР БЕРГМАН. «Персона»
ПЬЕР-ПАОЛО ПАЗОЛИНИ. «Теорема»
ЛУИС БУНЮЭЛЬ. «Дневная красавица»
ПИТЕР ГРИНУЭЙ. Лекции о кино
РОЖЕ ВАДИМ. «Три самые прекрасные женщины» (Брижит Бардо, Катрин Денев, Джейн Фонда)
ИВ МОНТАН. Из книги мемуаров

В разделе «СЦЕНАРИИ»:
К. ЛОПУШАНСКИЙ. «Русская симфония»
П. ФИНН и С. АРАНОВИЧ. «Я служил в аппарате ЦК»

В рубрике «МИР ДУШИ»:
ФЕДОР СТЕПУН. «Бывшее и несбывшееся»

В разделе «СЮЖЕТЫ И ФАКТЫ»:
Из истории строго научного эксперимента 20-х годов по скрещиванию человека с безъяной

«Искусство кино» в розничную продажу ступает в крайне ограниченном количестве из-за нехватки бумаги. Подписка на журнал принимается без ограничений.

5 91

Цена журнала остается прежней:
1 р. 30 к. за номер.